

# ДЕНЬ ПОЭЗИИ

1980



Махматово отъ  
большой елки.

ДЕНЬ  
ПОЭЗИИ

1980

Москва  
Советский писатель  
1980

*Главный редактор — Лариса Васильева.*

*Редколлегия: Яков Белинский, Евгений Винокуров, Владимир Гусев, Василий Казанцев, Алим Кешоков, Владимир Костров, Надежда Кондакова (составитель), Светлана Кузнецова, Леонард Лавлинский, Станислав Лесневский, Сергей Наровчатов, Валентин Сидоров, Лев Смирнов (составитель), Василий Субботин, Людмила Гатьяничева, Виктор Федотов, Степан Щипачев.*

*Художники В. Медведев и В. Виноградов*

**НА ОБЛОЖКЕ — РИСУНОК АЛЕКСАНДРА БЛОКА**

Сегодняшний день нашей поэзии. Каков он? Чем отличается он от дня вчерашнего, что обещает дню завтрашнему?

На эти вопросы призван ответить очередной выпуск традиционного ежегодника московских поэтов. В нем, как всегда, участвуют поэты разных поколений.

Единство конструкции и ритм сборника основаны на чередовании поэтических и прозаических материалов, больших подборок и отдельных стихотворений. В «Дне поэзии 1980» есть несколько тематических циклов, естественно сложившихся: «Долгих четыре года...» (к 35-летию Победы), «Поле Куликово», «Творчество», раздел «Письмо поэта». Своеобразным продолжением рубрик прошлогоднего номера остаются «Наши публикации» и «В воспоминаниях современников».

Столетию со дня рождения Александра Александровича Блока посвящена «Блоковская тетрадь».

Мы благодарим всех, кто прислал свои стихи в «День поэзии 1980».

Р е д к о л л е г и я

# «Здравствуй, племя Младое, незнакомое!..»

Новый поэтический голос. Пусть услышат его те, кто любит стихи.  
Пусть полюбит его тот, кто услышит.

Открывая наш сборник стихами молодых, мы намеренно не даем оценок,  
не хвалим, не напутствуем. Нам кажется, что лучшим напутствием поэту  
служит сам факт публикации.

*Ирина Василькова*

\* \* \*

Что детские растрепанные книжки,  
их пестрый мир на плоскости стола...  
Земля моя! Тебя не понаслышке  
я знаю — на руках твоих росла,  
до одури любившая пространство,  
и суть его, и плоть его, и гул,  
с которым ветер — синий ветер странствий  
хватал меня и за руку тянул  
в зеленые распахнутые дали,  
в кочевья без начала и конца,  
где облака, как ласточки, летали  
вокруг разгоряченного лица.  
Откуда ты, моя степная воля,  
каких истоков и каких кровей?  
Сухой щепоткой океанской соли  
возьми меня и по ветру развей!  
И вот опять — стремительные вспышки  
под взмахом самолетного крыла...  
Земля моя! Тебя не понаслышке  
я знаю — по твоим дорогам шла.  
Геологи! Нам вечно в долг вменяли  
романтики неистребимый дух,  
но — вольные — мы слов таких не знали,  
а может, просто не болтали вслух.  
И вновь огонь короткого ночлега  
под вечной крышей неба и тайги.  
Конец сезона, терпкий запах снега,  
и палый лист, смягчающий шаги.  
Костры до звезд — смолой стреляют шишки,  
и сединой подернута зола...

Земля моя! Тебя не понаслышке  
я знаю — изо всех ручьев пила,  
всем соловьям ладони подставляла,  
все камни назвала по именам...  
На эту нежность — сотни жизней мало,  
но будет срок, когда одну отдам  
тебе — уйду в песок и глину,  
в морскую соль, в зеленые поля,  
в сквозные рощи...

И оставлю сыну  
твой добрый свет, прекрасная земля!

## АВГУСТ

Рассеянно щурясь, художник  
ленивой рукой рисовал  
размашистый щит-подорожник  
и сливы лиловый овал,  
крахмальную шляпку ромашки,  
дрожащую тень мотылька...  
Учись — ни единой промашки  
не сделала эта рука!  
Быть может, он пробует кисти,  
поэтому тема проста —  
зной, август, тяжелые листья  
и ягоды в гуще куста.  
Как целостно эта картина  
составлена из мелочей!  
Пруда пузыристую тину  
теснит тепловатый ручей,  
и птаха пристроилась рядом,  
на ветке — хотите, спою?  
Художник внимательным взглядом  
обводит работу свою.  
Хозяйской рукой — против правил! —  
проверил, тепла ли земля,  
две узких полоски добавил  
к тигровой шубейке шмеля,

три синих цветочка — не тесно? —  
оставил на колкой стерне  
и отбыл. Куда — неизвестно,  
но кистью доволен вполне.  
А мы, простаки, ротозеи,  
в прекрасный полуденный час  
на дивное диво глаза,  
решили, что это для нас —  
на ливнях настоящий ветер  
в таинственном вздохе травы  
и буйство плодов и соцветий  
под ясным огнем синевы —  
все это письмо без помарок,  
свет, реющий перед лицом,  
нам, избранным, послан в подарок  
каким-то безвестным творцом,  
и щедрости добрые нити  
незримо скрепляют пейзаж...  
Ну что ж вы стоите? Берите —  
бумагу, перо, карандаш,  
пишите стихи и поэмы,  
прославьте свое божество!  
Подарок прекрасен, и все мы,  
конечно, достойны его!

## ДИТЯ

Неба крутые своды яростно жгла заря  
цвета вина и меда, крови и янтаря.  
Над горизонтом плыли вдаль, не задев земли,  
облачных башен шпили, арки и корабли.  
Плыли туда, в иную, завтрашнюю страну,  
тяжесть мою земную ставили мне в вину.  
Шли облака, как кони, — миг или сотни лет,  
снова мои ладони жадно тянулись вслед,  
руки мои взлетали в небо — а я сама?  
Крепко разгадку тайны прятала та зима.  
Белых следов пунктиры, тучи в глухом огне...  
Жаркое сердце мира — билось дитя во мне.

## Владимир Евсеев

### СТАРАЯ УЛИЦА

Эта улочка как ковшик,  
Кoим брагу сладко пить.  
Я иду, шугая кошек.  
Надо жажду утолить.  
Здесь невесело и древне.  
До краев земли — поля,  
Настоящая деревня,  
Только нету журавля.  
Задаёт старуха трепку  
Шелужиной огольцу.  
Топольки стоят как стопки.  
Тени выотся по крыльцу,  
И калиткою картавой  
Машет долго мне изба.  
Под окном гуляют травы.  
Между окнами — резьба,  
И узоры-переливы —  
От крыльца и до стропил.

### ЕГОРИЙ

Вопит о войне голодуха,  
И пухнет в полях лебеда.  
Землица была мягче пуха,  
А стала, как сердце, тверда.  
Колюч горизонт, словно скатка,  
Как скатка шинельная, сер.  
В селе на четыре порядка  
Один лишь мужик —  
Акушер.  
Хвороба взяла молодуху  
Иль просто согнула беда —  
Он, трубку приладивши к уху,  
Послушает,  
Вымолвит:  
— Мда...  
А ночью, свой взгляд с облаками  
Смешавши,  
Кляня хромоту  
И голову стиснув руками,  
Он долго глядит в темноту.  
  
...Сначала все шли похоронки.  
А после пришли мужики.

\* \* \*

В телеге, свесив набок ноги,  
Сижу, блаженно разомлев.  
Стоят, как стражи при дороге,  
Шеренги строгие дерев.

Их светло и бережливо  
Город новый обступил.  
Так, в гнезде своем высоком,  
Гордым оком поводя,  
Под крылом широким сокол  
Прячет малое дитя.  
Я стираю давних граней  
Очень важным нахожу.  
Только все же утром ранним  
Этой улочкой хожу.  
Она пахнет свежим ситцем,  
Как пословица, светла.  
Я рассудком — из столицы,  
Ну а сердцем — из села.  
Брешет рыжий пес примерно.  
На окошках спит герань.  
Хорошо! Но я, наверно, —  
Нестираемая грань.

От славы военной в сторонке  
Сидит акушер у реки.  
Дождь победного Мая.  
На сердце и радость и стыд:  
Нога-то с рожденья хромая,  
А словно от раны болит.

...В морозы, когда тишиною  
Свежайшей укутался край,  
Иван постучался с женою:  
— Егорий,  
Примай урожай.  
Всплеснулись в руках полотенца,  
Стерильно белея в ночи.  
И принял Егорий младенца,  
И хлопнул по попке:  
— Кричи!  
Жизнь теплые десны разжала.  
И, в легкие воздух набрав,  
Рождалась Россия,  
Рожала  
Хозяев для нив и дубрав.

И путь проселочный и узкий  
Пролегал до утренней звезды.  
О боже,  
Ну какой же русский  
Не любит медленной езды?

## Иван Жданов

### ПОЕЗД

#### I

И снова на бегу меня пейзаж встречает,  
вдоль поезда летит, воронками крутятся,  
и валится в окно, и потолок качает,  
и веером скользит в пороховую грязь.

И крутятся, как снег, ночные перелески.  
От вальса и стогов кружится голова.  
И танец колдовства и ветра переплески  
рисует на лугах безмолвная трава.

Прозрачный снегопад весь этот бег венчает.  
Но то не снег летит, а разжимает горсть,

но то старик Харон монеты возвращает,  
но то висит, как снег, летейской стужи гроздь.

И в грохоте колес, и в пересохшей Лете,  
и в говоре морей — тревожный хор сирен.  
И вещий Одиссей, один на целом свете,  
переживает бег, задуманный как плен.

И две его руки сквозь снегопад воздеты,  
сквозь бесконечный бег, когда предела нет  
шуршащим берегам ненаселенной Леты.  
А поезд, как снежок, разбрасывает свет.

#### II

И поезд вдоль ночи вагонную осень ведет  
и мерно шумит на родном языке океана.  
Предчувствием снега блуждает огней хоровод,  
как бред шестеренок внутри механизма тумана.

И, уши закрыв, наклонившись, сидит Одиссей,  
читая кручину, один в полутемном вагоне.  
И пенье сирен надвигается тяжестью всей  
и меркнет, и реет, и слух обжигает ладони.

И, ту же кручину читая с другого конца,  
за окнами ветер проносит обрывки пейзажа

и вьется, и рвется, и чертит изгибы лица,  
и кружится холод, и небо чернеет, как сажа.

И гнется под ветром холодный рассудок часов,  
зубцами срываясь и гранями в нем цепenea.  
Все ближе и ближе неведомый хор голосов.  
Все дальше и дальше относит лицо Одиссея.

О дом Одиссея, в пути обретающий все,  
ты так одинок, что уже ничего не теряешь.  
Дорогу назад не запомнит твое колесо,  
а ты снегопад часовому рассудку вверяешь.

\* \* \*

Ты, смерть, красна не на миру, а в совести горячей.  
Когда ты красным полотном взвьешься надо мной  
и я займусь твоим огнем навстречу тьме незрячей,  
никто не скажет обо мне: и он нашел покой.  
Рванется в сторону душа, и рябью шевельнется  
тысячелетняя река из человечьих глаз.  
Я в этой ряби растворюсь, и ветер встрепенется  
в древесном шепоте моем и вспомнится не раз.  
Ты, смерть, красна или черна, не в этом вовсе дело —  
съедает мартовский туман последний мокрый снег.  
И в смертном шепоте моем уже не уцелело  
ни слов для совести моей, ни берегов для рек.  
А над оттаявшим прудом весна не городская.  
На деревянном островке вчерашний снег уплыл.  
Там, клюв упрятав под крыло, как будто замыкая  
себя в осеннее кольцо, когда-то лебедь жил.



Я вспомнил лебедя, когда, себя превозмогая  
и пряча губы в воротник, я думал о тебе.  
Мне так хотелось умереть, исчезнуть, замыкая  
в себе все прошлое мое, тебя в моей судьбе.  
О, если б вправду умереть пришлось мне в то ненастье,  
то кто послушал бы меня и кто б сумел помочь  
мне вытравить себя из глаз, пророчащих участие,  
неумолимых, как и ты, и обращенных в ночь.  
Всю память выжечь о себе — сгореть, лишиться крова,  
кричать: забудьте обо мне, меня на свете нет!  
Что будет, если я умру? Меня оттуда снова,  
оттуда вытащат опять просматривать на свет?  
О, если б камни, что мои хранят прикосновенья  
и в них живут, как в скорлупе, растаяли, как дым!  
О, если б все ушло со мной — вся память, все мгновенья,  
в которых я тебя любил отчаяньем моим!  
Где зеркало теперь мое? Бродячим отраженьем,  
не находя ответных глаз, по городу бреду.  
Грозит мне каждое окно моим прикосновеньем.  
Мне страшно знать, что я себя нигде не обойду.  
Я натываюсь на себя и там, где не был даже,  
весь город мною заражен, повержен в колдовство.  
Люблю, боюсь, зачем, кого — слова подобны краже.  
Тумаи съедает мокрый снег, мне не спасти его.

\* \* \*

Такую ночь не выбирают:  
бог-сирота в нее вступает —  
и реки жмутся к берегам.  
И не осталось в мире света,  
и небо меньше силуэта  
дождя, прилипшего к ногам.

И этот угол отсыревший,  
и шум листвы полуистлевшей  
не в темноте, а в нас живут.  
Мы только помним, мы не видим,  
мы и святого не обидим.  
Нас только тени здесь поймут.

В нас только прошлое осталось:  
ты не со мною целовалась.  
Тебе страшней — и ты легка.  
Твои слова тебя жалеют.  
И не во тьме — во мне белеют  
твое лицо, твоя рука.

Мы умираем понемногу,  
мы вышли не на ту дорогу,  
не тех от мира ждем вестей.  
Сквозь эту ночь в порывах плача  
мы, больше ничего не знача,  
сойдем в костер своих костей.

\* \* \*

Пустая телега уже позади,  
и сброшена сбруя с тебя, и в груди  
остывшие угли надежды.  
Ты вынут из бега, как тень, посреди  
пустой лошадиной одежды.

Таким ты явился сюда, на простор  
степей распростертых, и, словно в костер,  
был брошен в веление бега.  
Таким ты уходишь отсюда, с тех пор  
как в ночь укатила телега.

А там, за телегой, к себе самому  
буланое детство уходит во тьму,  
где бродит табун вверх ногами  
и плачет кобыла в метельном дыму,  
к тебе прикасаясь губами.

Небесный табун шелестит, как вода.  
С рассветом приблизятся горы, когда  
трава в небесах закружится  
и тихо над миром повиснет звезда  
со лба молодой кобылицы.

*Юрий Поляков*

ОТВЕТ ФРОНТОВИКУ

Не обожженные сороковыми,  
Сердцами вросшие в типину,—  
Конечно, мы смотрим  
  глазами пными  
На вашу большую войну.  
Мы знаем по сбивчивым,  
  трудным рассказам  
О горьком победном пути,  
Поэтому должен  
  хотя бы наш разум  
Дорогой страдания пройти.  
И мы разобраться обязаны сами  
В той боли,  
  что мир перенес.  
...Конечно, мы смотрим  
  пными глазами —  
Такими же,  
  полными слез.

ВДОВА

Она его не позабудет —	Как сердце к боли приучила,
На эту память хватит сил.	Нашла утешные слова...
Она до гроба помнить будет,	И на года, что вместе были,
Как собирался, уходил,	Она взирает снизу ввысь...
Как похоронку получила	А ведь уж как недружно жили,
И не поверила сперва,	Война — не то бы разошлись...

\* \* \*

Старик налил коричневого чая	Старик был злой, бесчестие испытанный,
И, трогая на скатерти узор,	Но твердо говоривший слово «долг»!
Мой довод слушал, головой качая:	
Добро и зло — у нас был разговор.	А чай дымился облаком горячим,
	Туманно оседая на стекле...
Старик был тертый, много повидавший,	— Со злом, сынок, не раз еще поплачем:
В добре и зле горбом узнавший толк.	Уж больно много добрых на земле!

*Александр Еременко*

\* \* \*

Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема.  
Шелестит по краям и приходит в негодность листва.  
Вдоль дороги пустой провисает неслышная лемма  
телеграфных прямых, от которых болит голова.

Разрушается воздух. Нарушаются длинные связи  
между контуром и неудавшимся смыслом цветка,  
и сама под себя наугад заползает река  
и потом шелестит, и они совпадают по фазе.

Электрический воздух завязан пустыми узлами,  
и на красной земле, если срезать поверхностный слой,  
корабельные сосны привинчены снизу болтами  
с покосившейся шляпкой и забившейся глиной резьбой.

И как только в окне два ряда отштампованных елок  
пролетят, я увижу: у речки, на правом боку,  
в паровозном чаду шевелится рабочий поселок  
и кирпичный заводик с малюсенькой дыркой в боку.

Там жена моя вяжет на длинном и скучном диване.  
Там невеста моя на пустом табурете сидит.  
Там бредет моя мать то по грудь, то по пояс в тумане,  
и в окошко мой внук сквозь разрушенный воздух глядит.

Что с того, что я не был там только одиннадцать лет?  
За дорогой осенний лесок так же чист и подробен.  
В нем осталась дыра на том месте, где Колька Жадобин  
у ночного костра мне отлил из свинца пистолет...

Я там умер вчера. И до ужаса слышно мне было,  
как по твердой дороге рабочая лошадь прошла,  
и я слышал, как в ней, когда в гору она заходила,  
лошадиная сила вращалась, как бензопила...

\* \* \*

В густых металлургических лесах,  
где шел процесс создания хлорофилла,  
сорвался лист. Уж осень наступила  
в густых металлургических лесах.

Там до весны завязли в небесах  
и бензовоз, и мушка дрозофила.  
Их жмет по равнодействующей сила.  
Они застряли в сплюснутых часах.

Последний филин сломан и распилен.  
И, кнопкой канцелярскою пришиллен  
к осенней ветке книзу головой,

висит и размышляет головой:  
зачем в него с такой ужасной силой  
вмонтирован бинокль полевой.

\* \* \*

Когда наугад расщепляется код,  
как, сдвоившись над моментальным проходом,  
мучительно гений плывет над народом  
к табличке с мигающей надписью «вход»!

Любые системы вмещаются в код.  
Большие участки кодируют с ходу.

Ночной механизмик свистит за комодом,  
и в белой душе расцветает диод.

Вот маленький сад. А за ним — огород.  
Как сильно с периодом около года  
влетала черемуха за огородом,  
большая и белая, как водород!

## Григорий Зобин

\* \* \*

Я помню зеленый дворик  
На улице Первомайской,  
Высокие, белые арки...  
За низенькими, дряхлым забором  
Цвели шары золотые,  
К домам прижимаясь нежно.  
Дома эти мне казались  
Волшебными замками. Словно  
В любом притаилась сказка.  
Мы лазали по деревьям,  
Боярышник обрывали.  
Он был невкусным и терпким,  
Но мы его долго жевали,  
Кривя втихомолку губы.  
Когда опускался вечер,  
Я в сквере садился на лавку  
И, запрокинув голову,  
Смотрел в далекое небо.  
Там звезды висели, словно  
Зеленый и горький боярышник.  
И в страшном, безмолвном гуле  
Неслась на меня бесконечность.

\* \* \*

И вновь ко мне вернулось детство...  
Луна — горящий глаз совы.  
Цветы, как древние индейцы,  
Скрывались в зарослях травы.

Они чего-то долго ждали,  
Свой яркий наклонив убор,  
Как будто духов вызывали  
На сокровенный разговор.

А я стоял, как Гайавата,  
В том зачарованном краю  
И розовым пером заката  
Украсил голову свою.

### ЭТЮД

И грезится старому тополю  
Вдали угасающий день,  
Борзые, бегущие по полю,  
Летающий по ветру олень

С глазами испуганно-белыми,  
Охотник на рыжем коне,

Звенящий пернатыми стрелами  
Колчан на широком ремне.

А в небе сиянье незримое,  
Вечерняя музыка звезд...  
И в хрупкое горло звериное  
С рычаньем вгрызается пес.

## Владимир Ведякин

\* \* \*

В суконной кепке-восьмиклинке,  
худой — из хлеба и воды,  
шел в город парень из глубинки  
хлебнуть обиды и беды.

Он по грохочущей железке  
сквозь копоть и чугунный пар  
проехал по земле полесской  
и где-то без вести пропал.

То был мой брат.  
И мне б, по сути,

\* \* \*

С музыкой и пушечной пальбою  
наступили праздничные дни.  
По небу веселою гурьбою  
разлетелись пестрые огни.

Розовыми пытая носами,  
нацепив широкие штаны,  
сотрясают воздух голосами  
рыжие от счастья пацаны.

Что за возраст —  
быстрый, невесомый.  
Детский ум, постигнувший едва  
собственной маленькой персоной  
заявлять высокие права.

\* \* \*

Мне старый цыган  
протянул виноградную гроздь,  
как будто голубку,  
что может вот-вот улететь.  
Мы рвали по ягоде —  
где уж нам было поврозь  
красавицу эту  
за кружкой вина одолеть.  
Бродили индюшки,  
чванливо трясли головой.  
Всецветный индюк  
бормотал о павлиньем родстве.  
И ветер сухой  
забавлялся травой полевой  
и вверх поднимался,  
теряясь в высокой листве.

его жалеть —  
мол, бедный брат.  
Но разминулись наши судьбы  
там  
полстолетия назад.

Но узы братские —  
в обрыве.  
Их не поправить наперед.  
Вот он, мой кровный, —  
цедит пиво,  
молчит,  
меня не узнает.

Помню, как рубаху голубую  
мне купила к празднику сестра.  
Я обнову трогал, как живую,  
утерпеть не в силах до утра.

Что рубаха!  
Это ль было главным!  
Мир вещей — мы уживались с ним.  
Праздник был.  
Я был со всеми равным.  
Я, как все, был счастлив и любим.

А сегодня молча наблюдаю  
за чужим весельем из окна.  
На плечах рубаха голубая,  
но теснит и колется она.

А мы говорили  
о мирных делах, о войне,  
о нынешнем лете,  
о тяготах прошлой зимы  
и вновь о войне.  
Он негромко серьгою звенел,  
кивал головою:  
«И мы воевали, и мы...»  
Он ел виноград,  
пил вино и заглатывал дым,  
с кряхтеньем меняя  
отлежаный старческий бок.  
Прикусывал косточки  
зубом своим золотым  
и сплевывал их  
на единственный красный сапог.

## Наталья Хаткина

\* \* \*

Выйду из дóму в мороз —  
ветер с налету облапит,  
тело продует насквозь,  
душу вчистую ограбит.

Ветер, хоть что-то оставь  
мне в эту ночь ледяную!  
Память оставил — кристалл,  
впаянный в клетку грудную.

Но обернулся чужим  
этот исхоженный город,  
и не созвучьем одним  
сщеплены холод и голод.

Знать бы, куда поверну,  
где я, откуда и кто я.

Помню лишь зиму одну  
жизни, прожитой не мною.

С кем же я лето пропела?  
Ветер толкает — пустяк!  
Вот он забрался под перья,  
в полый мой птичий костяк.

Птицами были мы в детстве,  
до человеческой судьбы,—  
холод и голод и — бедствуй,  
мерзлую землю долби.

Как же теперь возвратиться,  
как мне добраться домой?  
Так и останешься птицей,  
вмерзнешь в кристалл ледяной.

\* \* \*

Запах прели и мокрой земли.  
Гриб-чернушка и гриб-говорушка  
не в ладони, а в душу легли,  
как полушка в церковную кружку.

С длинным списком любимых и близких  
и с плетеной кошелкой без дна  
ходит женщина — голосом низким  
говорит: «Не забудь имена».

Надвигая на брови косынку  
на излюбленный Блоком манер,  
то березку подаст, то осинку,  
то кирпичного цвета карьер.

Вот копна почерневшего сена,  
вот сырых петухов голоса —  
помолись за Петра и Елену,  
помяни их усопшего пса.

Сохрани нам Азовское море —  
плоский берег, звенящий зенит...  
Не бойсь, помолись за Григорья,  
ничего, что твой голос дрожит.

И, боясь ошибиться, сорваться,  
позабьть чье-то имя назвать,  
весь словарь я читаю, все святцы  
и опять начинаю, опять.

### СТАРШИЙ

На брата я руки не подниму —  
он сам погибнет. Он оставил дом,  
где стены и козленок над огнем.  
Он дом оставил, он шагнул во тьму.  
А я не сторож брату моему.

Хотя бы хлеба он с собою взял,  
хотя бы плащ. Как страшно одному.  
И ветер, и песок — нельзя глядеть глазам.  
Но я не сторож брату моему.  
«Ты мне не сторож», — он мне сам сказал.

## Михаил Попов

\* \* \*

Ребенком я расспрашивал упрямо:  
— Кто мой отец, скажи мне, мама? —  
Мать отвечала жестко и устало:  
— Я родила тебя и воспитала.

Потом, когда немного я подрос,  
Она сама мне задала вопрос:

\* \* \*

Тот мальчик шлялся по лесам,  
По первородной страшной чаще.  
Всему давал названья сам,  
Озвучивая лес молчаливый.

Ребячья легкость языка  
Цветы названьем облекала  
И распашонкой мотылька  
В малине вымокшей мелькала.

Переплелись земля и лес  
С сырой материей словесной,  
Ребенок правил, как творец,  
Во вновь рожденной поднебесной.

\* \* \*

Промчался стремительно мой товарняк,  
Вагонами дергая гулко,  
И вздрогнули липы на гибких корнях  
В пустом рукаве переулка.

И снова надолго застыла вода  
На иглах крапивного ворса.  
Все звуки уносят с собой поезда,  
Свой бег намотав на колеса.

\* \* \*

Я себя собирал по крупице  
На дорогах и в заводях рек.  
Я себя воровал по странице  
За столами библиотек.

И не зная, как надо, не надо,  
Составлял не спеша, не годя  
Из метели и листопада,  
Из тоски, из любви, из дождя.

Я примеривал так или этак  
То, что взять был еще не готов.

— ...А твой отец... ты знаешь, что с ним  
стало?

— Ты родила меня и воспитала!

Опять прошли, забылись сотни дней,  
Живу вдали от матери своей,  
И нежность к ней со мною до конца,  
Но я ищу в толпе глаза отца.

...Теперь я повзрослел слегка  
И попытался — все сначала...  
Но странно, знание языка  
Мне ничего не облегчало.

Ночь растекается шурша,  
Невнятной жизнью обступая.  
С открытым ртом стоит душа  
У входа в обморок, слепая.

И непонятно, что и как,  
Ее и мучает и гложет  
Случайно встретившийся знак  
Того, чего и быть не может.

Забутые богом, глухие места,  
Фонарь, два вагона и... бездна...  
От странствий и мыслей на время устав,  
Здесь можно шагнуть в неизвестность.

...Поет телевизор в беспечную мглу,  
На кухоньках ужин субботний,  
И чей-то мальчишка рыдает в углу  
Огромной, как мир, подворотни.

Рвал себя, словно яблоки с веток, —  
Наглотался запретных плодов.

И из этой добычи в давящей  
Темноте я себя замесил,  
Чтобы выдались всходы обильно,  
Чтоб хватило им жизненных сил

Прорасти на непаханой глине,  
К счастью птиц и восторгу детей,  
Чтоб недвижно стоять на равнине  
И густую отбрасывать тень.

# БЛОКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

*К столетию со дня  
рождения поэта*

О, я хочу безумно жить:  
Все сущее — увековечить,  
Безличное — вочеловечить,  
Несбывшееся — воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,  
Пусть задыхаюсь в этом сне, —  
Быть может, юноша веселый  
В грядущем скажет обо мне:

*Простим угрюмство — разве это  
Сокрытый двигатель его?  
Он весь — дитя добра и света,  
Он весь — свободы торжество!*

Александр Блок

5 февраля 1914 г.

## «ДИТЯ ДОБРА И СВЕТА...»

«Сочинять» я стал чуть ли не с пяти лет», — говорит Александр Блок в автобиографии. С семи лет будущий поэт начал увлекаться писанием коротеньких стихов, рассказов, ребусов, загадок, составляя из них маленькие журнальчики, тетрабочки.

Вот, например, рассказ «Война»:

«Ночь была темная, и война была большая. Много ружей, сабель, штыков, рапир, секир, пистолетов, револьверов и барабанов просовывалось сквозь тьму.

На конце поля битвы стояла избушка. Старые стены едва держались. Потолок чуть не проваливался. Ржавые окна, то есть крючки на окнах, тоже едва держались.

Но вдруг огромная бомба разорвала избушку.

К о н е ц .

Сочинения Блока-ребенка бережно хранятся в Пушкинском Доме (орфография подлинника здесь исправлена в соответствии с современной). Не все они дошли до нас из минувшего века, но и то, чем располагают исследователи и биографы поэта, представляет боль-

шую ценность, как справедливо подчеркнула З. Минц в публикации «Рукописные журналы Блока-ребенка» («Блоковский сборник», II, Тарту, 1972).

Все, что относится к детскому творчеству, необычайно интересно — и для психологов, и для педагогов, и для литераторов, и для всех «взрослых». Конечно, особый интерес вызывают у нас сочинения будущего великого поэта.

Мне хочется обратить внимание на связь произведений Блока-ребенка с высказываниями поэта о детстве и «детском начале» в жизни и искусстве.

В 1911 году Блок в дневнике отмечает «озлобленность» одного из своих знакомых и в скобках размышляет о ее причинах: «...оттого хотя бы, что он в детстве не знал настоящей матери, настоящего уюта детства, который создает фон для будущей жизни в миру...»

Навсегда Блок запомнил «образ матери склоненный». Своей невесте он пишет: «Ты знаешь мои отношения с мамой всю жизнь — это совсем необыкновен-



ное». Первые слова автобиографии Блока: «Семья моей матери...» И далее: «Детство мое прошло в семье матери». Именно ей, говорит поэт, «свойственны были постоянный мятеж и беспокойство о новом, и мои стремления к musicie находили поддержку у нее». Тут же Блок добавляет: «Впрочем, никто в семье меня никогда не преследовал, все только любили и баловали».

М. А. Бекетова, рассказывая о детстве Блока, свидетельствует: «Он не поддавался никакой ломке: слишком сильна была его индивидуальность, слишком глубоки его пристрастия и антипатии. Если ему что-нибудь претило, это было непреодолимо; если его к чему-нибудь влекло, это было неудержимо. Таким он остался до конца... Делать то, что ему несвойственно, было для него не только трудно или неприятно, но прямо губительно. Это свойство унаследовал он от матери».

«Бесстрашная искренность» поэта начинается с его детства. И не случайно Блок видел в «детском» одно из драгоценнейших начал жизни и поэзии. В статье «О «Голубой птице» Метерлинка» (1920) Блок утверждает: «...художником имеет право называться только тот, кто сберег в себе вечное детство». В статье «Краски и слова» (1905) Блок пишет: «...чувствовал же какую-то освободительность рисунка, например, Пушкин, когда рисовал не однажды какой-то плен-

тельный женский профиль. А ведь он не учился рисовать. Но он был ребенок».

Сам образ — «дитя добра и света» — и есть для Блока синоним истинного художника. В 1910 году он настаивает на своей любимой мысли: «Должно вновь учиться у мира и у того младенца, который живет еще в сожженной душе».

И, надо полагать, это дитя не только символическое. За словами поэта — образ его собственного детства.

В 1894—1897 годы Блок-гимназист «издавал» вместе со своими друзьями и родственниками рукописный журнал «Вестник». Многие сочинения будущего поэта, помещенные в нем, вдохновлены Шахматовом. Среди них и публикуемые здесь впервые отроческие рассказы Блока — «Из летних воспоминаний» (1894) и «Летом» (1895). Нетрудно заметить в них мотивы, которые найдут продолжение в творчестве поэта (например, шахматовское застолье под липами станет символом в рассказе «Ни сны, ни явь», законченном в 1921 году). Тонкого юмора исполнена сказочка о шахматовских жуках и муравьях. В оригинале текст сопровождается рисунками автора. Эти произведения напомним нам о ребенке, который всегда жил в душе великого поэта.

Ст. Лесневский

*Александр Блок*  
1880—1921

*Наши публикации*

## ОТРОЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

### ИЗ ЛЕТНИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Вечер. Темнеет. Мы только что пообедали. Жаркий июльский день. Стол, стоящий на балконе, еще покрыт скатертью. Широкая, развесистая липа тихо шумит, покачиваясь от легкого ветерка. Все выходит на дорогу. Вот первая звездочка мелькнула на небе. Все тихо, тихо. Справа простирается поле с только что сжатую рожью, на скирдах которой золотится заря. За жнитвом сразу — крутой спуск к лесу. Слева то же поле и тот же лес. Впереди же, на горизонте, черные тучи с золотистыми краями горделиво приближаются и захватывают горизонт; вот в одной из них блеснула молния, все предвещает грозу. Воздух делается удушливым. И вот начинаешь прислушиваться: слышен крик ястреба, стук телеги на большой дороге. Станция за 15 верст: слышен свист паровоза. А тучи надвигаются. Вот трепет пробежал по верхушкам деревьев, жутко стало; когда надвигается гроза, всегда что-то таинственное обнимает природу. Но вот затихло опять все, но чувствуешь, что сейчас разразится эта туча, грянет гром, блеснет молния...

Надо повернуть домой: мы зашли уже далеко, почти к самому лесу. Мы поворачиваем. Вот опять зашумели деревья, на этот раз уже сильнее, и крупный дождь зашумел. Мы прибавили шагу. Послышался страшный удар грома...

Между тем мы достигли дома, взошли на крыльцо; дверь захлопнулась за нами, и прошла гроза...

Приветливый шум самовара, голоса, шлепанье одной, какой-нибудь, еще не заснувшей мухи об потолок, жужжание шмеля на окошке... Вот и прошел летний вечер!..

Прошло два года. Зима. Вьюга на улице. Ветер воет. Пред окнами искрится Нева, а месяц стоит столбом в глубине ее. И вспоминаешь тот вечер, и тянет снова в деревню, на волю, на чистый воздух; хочется снова выйти на пыльную дорогу. Скоро ли теплое, благодатное лето с треском кузнечиков на жнитве, с полным ликом луны, смотрящим из-за березы в саду, с душистыми липами...

А на улице снег падает хлопьями, летает и кружится в вихре...

(1894)

## ЛЕТОМ

*Посвящается моему кузену Николаю Л...*<sup>1</sup>

Солнце невыносимо жгло. Деревья бросали отчетливые тени на луг, усеянный цветами. Под горкой протекал, извиваясь, ручей. От жары он почти что высох, но почва была сырая, и целые кусты крупных незабудок были разбросаны по обоим берегам. Дикая малина, обвита зеленью павилики, выглядывала из целой чащи сорной травы, растущей на берегу ручья. Кое-где попадались цветы серебрянки, змеевик алел на лугу, цветы

<sup>1</sup> Н. Лозинскому.— С. Л.



На этой и следующих страницах воспроизводятся рисунки Татьяны Мазариной из альбома «К Блоку в Шахматово», выпускаемого издательством «Московский рабочий».

лопуха протянули свои колючки. Рой пчел жужжали между цветами, трубили комары, и огромные навозные жуки копошились на твердой дорожке, то вылезая из своих нор, то влезая туда обратно. Они часто падали навзничь и долго барахтались, работая всеми шестью ногами.

Вдруг с березы свалился тяжелый майский жук и с таким шумом шлепнулся на дорожку, что навозные жуки оторопели и попрятались.

«Ох! О-ох!» — стонал майский жук, барахтаясь на земле.

Известно, что навозные жуки — народ добрый, а потому, услыша стоны своего собрата, они сейчас же явились к нему на помощь и, приподняв за четыре ноги, подтащили его к своим норам и бережно положили на кусочек моху.

Майский жук стонал и охал. Вокруг собралось много синих навозных жуков, и даже прилетела бабочка. Наконец майский жук пришел в чувство и объявил своим братьям, что на березе поселилась ворона, которая схватила его, унесла на дерево и уронила оттуда; что он путешествовал со своим слугой, синим жучком, который пропал, что он богатый иностранец и просит отвести его домой. Что живет он на том берегу ручья, под диким шиповником, в лесу. Наконец он прибавил, что вовсе не прочь покушать. Навозные жуки очень жалели его, и один из них предложил ему пищи, свойственной навозным жукам. Но майский жук с негодованием отказался, и его усы кисточками грозно зашевелились. Он сказал, что любит розы и клубничные корни, а не такую гадость. Простодушные синие жуки, видя, какой он важный господин, стали обращаться с ним иначе. Они отвели его в отдельную норку и попросили забыться сном в ожидании обеда. Солнце уж склонялось к западу, когда наш утомленный путешественник проснулся. Он скушал целый лепесток дикой розы, которую разыскал усерд-



ный навозный жук, и попросил тотчас дать ему провожатого и провести домой. Один синий жук вызвался, говоря, что лучше всего идти к ночи, так как неподалеку есть большой муравейник. Муравьи ведь грабители и любят особенно жирных господ, а потому и воспользуются случаем напасть на майского жука. Ночью же идти более безопасно.

И они отправились.

Светляк из соседней деревни освещал дорогу. Они шли по гладкой тропинке, и последние лучи солнца освещали, бросая на траву золотистый отблеск. Вдруг послышался грозный оклик муравьиного часового.

— Кто идет?! — кричал муравей.

Путешественники молчали. У майского жука от страха затряслись усы. Впереди послышался топот многочисленного войска, скоро муравьи в блестящих латах окружили их. «Кто вы такие?» — спросил начальник. «Мы бедные путешественники, сударь», — отвечал синий жук. «По ночам не шляются, — заметил предводитель. — Солдаты! Отведите их к королю!»

На жуков надели ручные кандалы, а светляка просто скрутили веревками и потащили. Трудновато было тащить господ с такими полными желудками; надо заметить, что синий жук основательно закусил перед уходом!

Пленников ввели в залу, где сидели король и королева. Их можно было видеть только по выпуклым глазам, которые сверкали в темноте муравейника.

— Зачем вы шляетесь по ночам? — спросил король.

— Мы путешествуем, Ваше величество, — отвечали наши жуки, дрожа усами.

— Вы знаете, что по ночам нельзя заходить за границу моих владений. Писарь! Пиши приговор суда!



Тощий муравей написал бумагу и подал королю приговор:

Муравьиный король:  
за шпионство синего  
жука и содействие  
в шпионстве рыжего жука и светляка...  
Отдает их на  
**СЪЕДЕНИЕ**  
своим подданным

Король надкусил бумагу, что означало утверждение смертного приговора. Король и высшие сановники сделали то же. Узников бросили в тюрьму, а через несколько времени приговор был приведен в исполнение.....

Наступило утро. Солнце осветило бездыханные останки трех путешественников, а именно: 12 ног и 4 крыла. Муравьи не могли разгрызть этих членов, а потому бросили их. От светляка ничего не осталось... Через несколько дней пошел дождь; разлился ручей и унес бранные останки. Навозные жуки выловили их и поняли, какая участь постигла бедных путешественников. Они взяли останки и погребли их, а над курганом поставили столбик с надписью

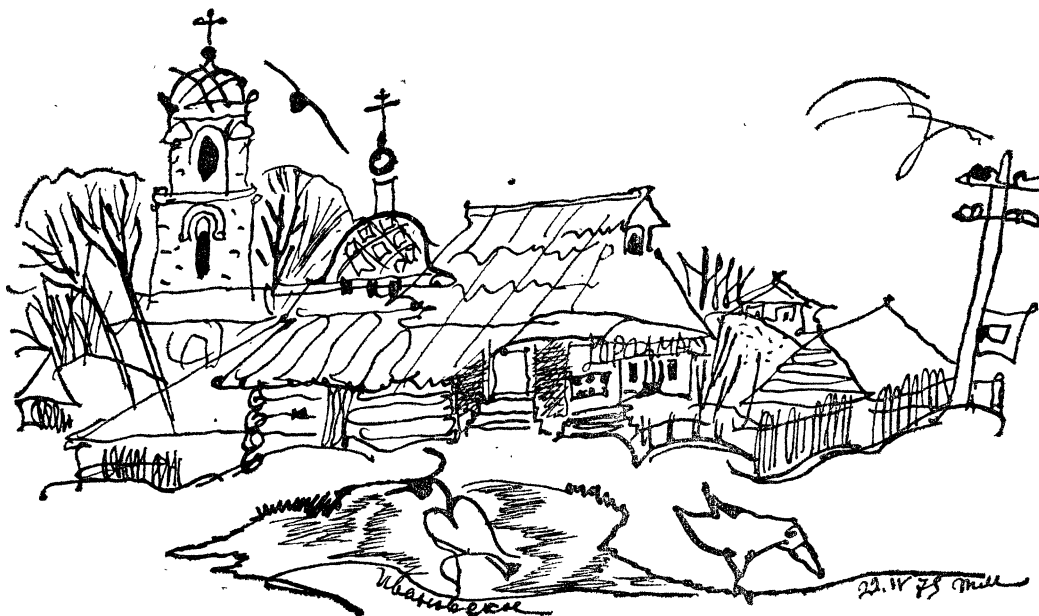
*Муравей опасней  
вороны*

Таково было их мнение!

Все плакало: даже трава прилегла на землю и горючие слезы падали с высоких стеблей одуванчиков. Но один только Бог знает, были ли то действительно слезы, или просто капли недавнего дождя?

(1895)

Отроческие сочинения Александра Блока публикуются по рукописи, хранящейся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР: фонд 654 (архив А. А. Блока), опись 1, единица хранения № 164 (комплект детского рукописного журнала «Вестник»). Публикацию подготовил Ст. Лесневский. Заголовок «Отроческие рассказы» дан публикатором.



## СЕСТРЫ БЕКЕТОВЫ

«Семья моей матери причастна к литературе и науке», — написал Александр Блок в автобиографии. Известной переводчицей была бабушка Блока — Елизавета Григорьевна, писал стихи и прозу дед поэта, известный русский ученый, профессор Андрей Николаевич Бекетов. Их дети тоже отдали дань литературному труду.

Всю жизнь писала стихи мать Блока — Александра Андреевна. Стихи Александры Андреевны, безыскусные, порой подражательные, отличаются искренностью и непосредственностью. Некоторые стихи матери Блока особенно интересны нам, потому что рассказывают о местах, связанных с жизнью ее сына. Таково, например, стихотворение «Тараканово», в котором описывается церковь, где позже Блок венчался с Л. Менделеевой.

Наибольшей известностью пользовалась старшая из сестер Бекетовых — Екатерина Андреевна (по мужу Краснова). По выходе ее посмертного сборника стихов

один из журналов писал: «Эти стихотворения, составившие небольшой том, полны любви к природе; наполнены теплом и светом весеннего солнца и ароматом цветов».

Почти все ее стихи написаны в Шахматове. Как и будущие шахматовские стихи Блока, они навеяны очарованием неповторимого пейзажа срединной России. В ее строках зримо оживает место, которому суждено было навечно остаться в истории русской культуры.

Екатерина Андреевна Бекетова была и неплохой художницей. На некоторых ее рисунках изображен тонущий в кустах сирени небольшой бекетовский дом, каким видел его юный Блок. Здесь родилось и одно из лучших стихотворений Е. Бекетовой «Сирень», на слова которого написал известный романс С. В. Рахманинова.

Владимир Енишерлов

### Александра Бекетова

1860—1923

#### ТАРАКАНОВО

Над глубоким, спокойным прудом  
Старый дом величаво стоит;  
Одинок тот покинутый дом,  
И давно, непробудно он спит.  
Тихо старые ивы кругом  
Его старческий сон сторожат,

Наклонясь над широким прудом,  
Их печальные ветви висят,  
И до окон трава доросла,  
Зеленеет на старых стенах;  
Крыша красная мхом поросла,  
Паутина на ветхих дверях.



Стройным рядом березы стоят,  
Колоннады их белых стволов  
Об аллеях еще говорят,  
Но дорожек уж нет и следов.  
Все покрыто высокой травой,  
Клумбы скрылись в цветах полевых,  
Лишь шиповника ветка порой  
Заалеет меж злаков густых.  
И в обрыве над светлой рекой  
Разрослись из сада кусты,  
Молодой изумрудной стеной  
Побежали к реке с высоты.  
Подле дома, на склоне холма,  
Позабывшая церковь стоит.

Средь деревьев белеет она,  
Тонкий крест на лазури блестит.  
Позабыты могилы. Травой  
Заросли их кресты, и камней  
Не видать под густой лебедой,  
Под навесом печальных ветвей.  
Полон тайны здесь мертвый покой,  
Навевает он грезы, мечты  
И таит грациозный их рой  
Среди тихой своей красоты.

1878 г.,  
Шахматого

*Екатерина Бекетова*  
1855—1892

\* \* \*

На бледном золоте заката  
Чернел стеной зубчатый лес,  
И синей дымкою объято,  
Сливаясь с куполом небес,  
Во все концы струилось море  
Уж созревающих полей,  
И волновалось на просторе  
В сиянье гаснущих лучей.  
Закат потух... Но свет нетленный

Уж на земле теперь сиял  
И, на полях запечатленный,  
Вечерний сумрак озарял.  
И с вышины смотрело небо,  
Одевшись мантией ночной,  
Как волны золотого хлеба  
Вносили свет во мрак земной...

1888

СИРЕНЬ

Поутру, на заре,  
По росистой траве,  
Я пойду свежим утром дышать;  
И в душистую тень,  
Где теснится сирень,  
Я пойду свое счастье искать...

В жизни счастье одно  
Мне найти суждено,  
И то счастье в сирени живет;  
На зеленых ветвях,  
На душистых кистях  
Мое бедное счастье цветет...

1878

## Валериан Бородаевский 1879—1923

Валериан Валерьянович Бородаевский — поэт, по образованию горный инженер. Речь о Блоке «Образ поэта» была прочитана в Курском союзе поэтов в 1921 году. Публикуется впервые (с некоторыми сокращениями).

### ОБРАЗ ПОЭТА

Зпмой 1909 года я в первый раз встретился и познакомился с Александром Блоком на собрании литературного кружка, группировавшегося вокруг Вячеслава Иванова.

Внешность Блока сразу выделила его среди других. Лицо античного характера под волнистой шапкой волос казалось исключительно прекрасным. Лицо Блока, знакомое читающей России по акварели Сомова, — одно из тех лиц, которые не забываются: тонкий извив губ своим изяществом напоминал лица женщины да Винчи. Глаза говорили о жизни, и два резкие штриха под ними носили печать бессонных ночей. Слышать его в этот первый раз мне почти не довелось.

Александр Блок не был словоохотлив. В модных собраниях он подолгу молчал, изредка бросая беглое, всегда меткое, изысканно-отточенное слово своим певучим, но как бы надтреснутым голосом.

Встречался я с ним позднее, мне приходилось слышать его в уединенных беседах, всегда искренних и душевных. В них преображался поэт. Его мысли, его слова приобретали плавное, вольное течение: становились как бы органическим продолжением его сокровеннейшей сущности, его благоуханной лирики.

Одна из таких бесед у меня, с глазу на глаз, памятна мне во всех словах и оттенках речи. Это было в хмурый, зимний петербургский день. Входит Блок. Заметив на письменном столе старый бисерный экран, он говорит, что эта вещь соблазнительно хороша своими немногословными тонами, и полусерьезно продолжает, что такой предмет не следует держать близко от себя. «Впрочем, — добавляет он, рассмеявшись, — это действует как наркоз, а без наркоза нынче трудно». И он перевел речь на то, что его занимало.

В ту пору... Блок очень болезненно переживал близкие и едва ли справедливые нападки на близкого ему человека и, говоря об этом, произнес характерные слова: «Я люблю русский характер, — сказал он, — особенно русскую цыганщину, не выношу только жестокость, с которой у нас принято скопом нападать на одного.

С этим я никогда не смогу смириться». Эти слова обнажали сердце Блока, в котором широкая человечность была живой неоскудевающей струей.

Перейдя снова к сине-лиловым тонам заинтересовавшего его экрана, Блок заговорил о магии некоторых красок, о Врубеле и о его судьбе. Врубель был душевной любовью Блока. Великого художника воспринимал он целиком, с его творчеством, характером, с изгибами его капризной и роковой судьбы. Во Врубеле ему мерещился близкий, как бы однотипный с ним человек, чье рукопожатье, будь оно возможно, уже переживалось бы как счастье.

В тот же день речь коснулась новых методов, примененных Андреем Белым к изучению русского стиха. Исследования Белого в ритмике Блок очень ценил, но выводами работ не увлекался, выдвигая на первое место непосредственную самоотдачу наитиям духа.

Позже я встречал Блока не раз, видел его внимательно выслушивающим чтение поэтов и вставляющим короткие замечания, изумительные по своей прямоте.

Однажды он с самым беспечным видом посоветовал мэтру модернистов Вячеславу Иванову снабдить одно очень мудреное стихотворение объяснительным чертежом. «Здесь, — сказал он, — можно бы сделать нечто вроде изящной виньетки, и сразу идея стала бы понятной. А слова не выражают задуманного». На такую шутку, у которой многому можно поучиться, великий мастер был поэт Александр Блок...

Александр Блок, так мудро и проникновенно умевший говорить о смерти, о том, «как хорошо и вольно умереть», ушел от нас в смерть. Но вечно живым останется с нами образ поэта, который по праву мог сказать о себе:

Моя душа проста. Соленый ветер  
Морей и смольный дух сосны  
Ее питал. И в ней — все те же знаки,  
Что на моем обветренном лице.  
И я прекрасен нищей красотой  
Зыбучих дюн и северных морей.

Публикация В. Енишерлова



## Мария Качалова

Мария Николаевна Качалова — двоюродная сестра Александра Блока. Живет в Москве. Свои воспоминания написала по просьбе редколлегии «Дня поэзии».

### ОДНОСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ

(Из воспоминаний о Блоке)

I

Это был театральный сезон 1915/16 года. Мои две старшие сестры и я сидели в ложе бельэтажа Петроградской консерватории, где тогда играл Театр музыкальной драмы. Шла опера «Кармен». Только что кончился первый акт оперы. Ярко осветился зал. Задвигались мягкие стулья в ложах, захлопали двери.

В нашу ложу неторопливо постучали. Я, как младшая, открыла дверь. Вошел высокий, широкоплечий мужчина, без улыбки медленно и спокойно поздоровался с моими сестрами и обернулся ко мне. «А это, Саша, еще одна твоя двоюродная сестра», — сказала моя старшая сестра. От застенчивости я едва взглянула на незнакомого брата, но заметила, что, здороваясь со мной очень вежливо, как со взрослой, он смотрел на меня каким-то поразившим меня отсутствующим взглядом.

— Как хороша Дельмас, не правда ли? — спросила вторая сестра.

— Да... хороша, — безразлично и монотонно произнес Саша, чем опять поразил меня, так как я-то была в восторге от этой актрисы.

Сестры наперебой приглашали Сашу в гости, просили назначить день. Он очень любезно обещал зайти, но дня не назначил.

Когда он ушел, сестры переглянулись и старшая сказала:

— Как он переменялся... А помнишь, какой он был веселый? Может быть, это из-за Дельмас?

— Бог его знает... А жаль... — ответила вторая сестра.

— Кто это? — спросила я.

— Это Саша Блок. Ну, Александр Блок, поэт, сын брата нашей мамы.

В этот вечер я все же больше думала о Дельмас, из-за которой, как я поняла, пришел сегодня в театр Саша, и вообще об актрисах, которых любят поэты и другие интересные люди.

Мне было 15 лет...

В нашей семье о Блоке я больше ничего не слышала, но, наткнувшись в каком-то толстом журнале на стихотворение с его подписью, я с большим интересом пробежала его глазами. Не помню ни названия, ни содержания этого стихотворения. Я просто ничего не поняла.

После встречи в театре я довольно часто,

возвращаясь из гимназии, встречала Блока на улице. Он всегда шел медленно по Офицерской и мне казался таким печальным. По своей наивности я думала, что его огорчает вид красивого, но мрачного Литовского замка, мимо которого он проходил. Я знала, что это тюрьма и там много заключенных.

Годом позже мне попался романс Вертинского на слова Блока «В голубой далекой спальне». Меня поразила таинственная странность и очарование этих слов. Вот с этого стихотворения и началось мое знакомство с творчеством Александра Блока.

II

Глубокой осенью 1919 года Юденича отогнали от Петрограда. Город возвращался к мирной жизни. С песнями разбирали баррикады, принимались за прерванные дела, школы и вузы возобновили занятия. Студенты-добровольцы, отозванные с отодвинувшихся фронтов, приезжали радостные, возбужденные и прямо с поезда врывались в аудитории, чтобы не пропустить начавшихся уже лекций. Товарищи встречали их криками «ура», наспех обнимали и, потеснившись, усаживали за столы.

Состав студентов был пестрый: петроградская барышня, окончившая гимназию, и семинарист из Петрозаводска, уездный библиотекарь и бывшая институтка, сельская учительница и беломорский рыбак, окончивший всего четыре класса...

Стране нужны были новые, свои кадры, и молодежь хлынула, беря с бою поезда, пароходы или собственными ногами грязь осенних дорог. Приехав, заполнила коридоры и аудитории, лестницы и общежития. Толпами ходили по городу, всему удивляясь, окая и цокая на всевозможные лады. Осадили библиотеки, музеи, концертные залы и театры. Стуча подкованными сапогами, цепляя за все углы деревянными сундучками всех цветов радуги, разгоряченные и вспотевшие, новые студенты расселились по общежитиям.

Зима 1919/20 года выдалась морозная, жесткая, со стужей и ветром. За некоторым исключением, студенты были плохо одеты и без всякого исключения — голодны. Но ежедневно

после занятий, кутаясь в невообразимо маскарадные утепления, они разбегались по библиотекам, где, не раздеваясь, дрожали, ползгивая стиснутыми зубами. часа два-три. После чего, пританцовывая и размахивая руками, гурьбою, прямо по снежным мостовым бежали в театры.

Мои друзья и я чаще всего посещали Дом литераторов, в котором чувствовали себя как дома, и к нам относились как к своим.

В маленьком, теплом и светлом помещении Дома литераторов на Бассейной перед нами, чередуясь, проходили Кузмин, Пяст, Ахматова, Гумилев, Шкапская. И Блок.

Вначале вкусы были различны: кто любил изысканные Александрийские песни Кузмина, кто экзотику Гумилева, многие увлекались Ахматовой, но скоро и как-то незаметно всех вытеснил Блок.

Пылились томики стихов других поэтов на самодельных полках студенческих комнат, спрессовывались в сундучках под кроватями, на столах, подоконниках; в руках и за бортом ветхих куцых курточек запестрели разноформатные книжечки стихов Блока.

Их скупали у букинистов, в киосках, выпрашивали у знакомых и, что скрывать, крали где могли.

С каждым месяцем занятия делались все труднее, голод сильнее, часто то один, то другой из студентов сваливался от чрезмерного расходования своих сил и не мог подняться с постели.

Встревоженные товарищи собирали подкрепление по горсти муки, по картошине и, накормив больного, усаживались вокруг него, пели русские и украинские песни, читали блоковские стихи. Они были страшные и печальные, а часто и унылые, но странно, что от них не было ни страшно, ни печально, ни уныло. Никому в голову не приходило разбирать эти строки вслух, мудрить, выискивая основную мысль в той или иной строфе, а просто читали, находя в них что-то нужное и необходимое для себя.

Когда легкой белой ночью не спалось, все усаживались поближе к распахнутым окнам и смотрели в белесое беззвездное небо.

Кто-нибудь тихо начинал:

О, весна, без конца и без краю —  
Без конца и без краю мечта,  
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  
И приветствую звоном щита!

Из другого этажа подхватывали громче:

Ревет ураган,  
Поет океан,  
Кружится снег,  
Мчится мгновенный век,  
Снится блаженный брег.

И все новые и новые голоса неслись по этажам:

Революционный держите шаг,  
Неугомонный не дремлет враг.

Только вмешательство заспанного коменданта водворяло тишину.

В письмах к родным, друзьям и особенно к любимым — ласковые, гневные и грустные слова перемежались со строчками Блока, разнося их по далеким селам и городам.

Незабываем образ Блока, медленно поднимающегося на кафедру и начинающего сдержанно и целомудренно рассказывать нам о своих страданиях и сомнениях, видениях и предвидениях, поражая какой-то эпической тоской.

Он стоял прямо, но без напряженности, широкоплечий, стройный, строгий, взявшись руками за края пюпитра или свободно заложив правую руку за борт пиджака и очень серьезно, глядя чуть повыше наших голов, начинал читать. Голос у него был мягкий, но без слащавости, скорее суховатый. Он произносил слова медленно и внятно, четко. Интонация — внешне однотонная, но внутренне необычайно разнообразная, до боли доходчивая своей простотой, всегда безусловно все разъясняющая. Чуть заметная задержка или убыстрение в произнесении каждого слова, глубокая выразительность тончайшей игры лица, приспущенные веки, чуть приподнятая голова.

Когда Блок читал, казалось, что он импровизирует, что мы присутствуем при самом творческом процессе. За сдержанной манерой чтения, спокойным голосом, неподвижностью позы, притушенной мимикой чувствовалась такая сила, такое чувство призвания и долга перед грядущим, что мы с благоговением впитывали каждое слово.

Он учил, предостерегал, советовал, но не свысока, а дружески, с тревогой за нас, так как он чувствовал большую ответственность, видя нашу молодость.

В антрактах он или молча ходил по соседней комнате, или стоял у окна, глядя на вечерние улицы. Он никогда не облакачивался и ни к чему не прислонялся. Как часовой.

В то время его не окружали внешние поклонения, восторженные девушки не бросали ему цветов или записок, не надоедали вымаливанием автографов. Никого из нас не занимала его личная жизнь. Мы не знали его адреса, того, какая у него семья, сколько ему лет. Мы составили его биографию по стихам, и пожалуй, это и была самая подлинная.

Когда в июле 1919 года в небольшом зале Блок впервые читал третью главу «Возмездия», у нас было ощущение, что мы присутствуем на исповеди. Блок волновался, руки его крепко сжимали края пюпитра, так, что концы пальцев побелели. Кончиком языка он часто смачи-

вал пересохшие губы, забывая о стакане воды, стоявшем рядом. Он смотрел в сторону, в окно. Голос его был так же тих и внятен, как всегда, но паузы длиннее. Иногда он глубоко вздыхал. Ему было трудно читать, но он считал своим долгом рассказать нам и об этом, самом интимном, чтобы ничего не оставалось скрытого, утаенного.

«Вот откуда идут мои сомнения, мои провалы и бездны», — казалось, говорил он. «Пусть вас это не коснется, не повторяйте моего пути, идите дальше». И мы слушали его с глубоким волнением, благодарностью и доверием. В тот вечер мы тихо разошлись, совершенно потрясенные виденным и слышанным.

Последний раз мы слышали его летом 1921 года в Большом драматическом театре, перед его поездкой в Москву. Блок был от

нас далеко, так как сидели мы позади наверху. Издали, один на огромной сцене, он казался нам маленьким и сиротливым.

7 августа 1921 года Александр Блок умер.

Никто из нас этому не верил. Но 10 августа многотысячная, в основном студенческая, толпа провожала своего Блока на Смоленское кладбище.

Долгий путь по булыжным мостовым шли медленно и молча. Мы были так сосредоточены, что даже нелепый выкрик старательного фотографа у ворот кладбища: «Родные и друзья — вперед, поближе к гробу!», зацепил, но не вывел нас из задумчивости. Опустили гроб, закопали могилу. Может быть, кто-нибудь и говорил над свежим холмом, мы не слышали. И на могилу его мы больше не ходили.

Мы не считали его мертвым...

## Сергей Соловьев 1885—1942

Сергей Михайлович Соловьев — внук историка С. М. Соловьева, племянник поэта и философа Владимира Соловьева, троюродный брат Александра Блока (по материнской линии). Он родился в Москве, с ней связана большая часть его жизни. По образованию — филолог, специалист в области древних языков.

Сергей Соловьев — автор пяти стихотворных сборников, переводчик Эсхила, Вергилия, Сенеки, Шекспира, Гёте, Мицкевича.

Активная творческая деятельность Сергея Соловьева приходится на период с 1904 года (первые публикации стихов) до 1930 года.

В своих стихах Сергей Соловьев обращался к образам древнегреческих мифов, библейских сказаний, средневековых легенд.

Публикуемое в «Дне поэзии» стихотворение извлечено мною из архива моего отца и печатается впервые.

Н. Соловьева

### ЭНЕЙ У БЕРЕГОВ ЛАЦИУМА

Последние остатки падшей Трои,  
Мы бросим якорь в этих тростниках.  
Друзья-воители, страдальцы и герои,  
Забудьте скорбь и страх.

Желтеет Тибр в своем песчаном лоне,  
И рощи лавров золотит заря.  
Поставим жертвенник и, дымом благовоний  
Пред Богом воскуря,

Вспомянем Илион! Кто полон веры,  
Пройдет, как мы, среди морей и бурь.  
Над нами — мать моя: сиянием Венеры  
Озарена лазурь.

Нас ждет борьба: еще не завоеван  
Суровый край и грозный, как Ахилл,  
Ярится дикий Турн. Но будет нам дарован  
Средь крови и могил

Весь этот мир, открытый нашим взорам,  
Все эти семь холмов, где рыскал волк.  
Пред мощью эллинов склонились мы с позором,  
Но наш Троянский полк

Руководим таинственной волей  
Святых богов. И в заключение битв  
Я вас на каменный поставил Капитолий  
Для жертв и для молитв.

Омоем в Тибре пыль и грязь дороги.  
И двинемся к сияющим холмам!  
Под тенью лавровой стоят родные боги,  
Дымится фимиам.

Асканий мой! Любви сыновней узы,  
Как твой отец, умей всегда нести!  
Но слезы застыт взор, и тень моей Креузы  
Рыдает на пути.

3 апр. 24 г.

Николай Клюев  
1884—1937

Большим событием была в свое время для Александра Блока встреча с поэтическим и человеческим миром Николая Клюева. Известна переписка Блока с Клюевым, начавшаяся в ноябре 1907 года и продолжавшаяся до 1915 года. По поводу одного из писем Клюева Блок писал 13 сентября 1908 года Е. П. Иванову: «Это документ — огромной важности (о современной России — народной, конечно), который еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеждах». Письма Клюева Блок цитировал в статьях «Религиозные искания и народ» и «Стихия и культура». Во второй статье вместе с клюевским письмом Блок привел слова народных песен, сообщенных ему Клюевым в подтверждение мысли о ненависти народа к царской власти: «У нас ножички литые, гири кованые. Мы ребята холостые, практикованные...» Несомненно, эти строки отозвались впоследствии в поэме «Двенадцать» («Уж я ножичком полосну, полосну!..»).

Личное знакомство Блока и Клюева состоялось осенью 1911 года. В дневниках Блока встречается много упоминаний о встречах с Клюевым, об интересе великого поэта к своему младшему собрату, выходцу из народа. В свою очередь Клюев сохранил на всю жизнь благоговейное отношение к Александру Блоку. Первая книга Клюева «Сосен перезвон» (1912) имела посвящение: *«Александру Блоку — Нечаянной радости»*.

ДЕРЕВНЯ

Будет, будет стократы  
Изба с матицей пузатой,  
С лежанкой единорогом  
В углу с урожайным Богом:  
У Бога по блину глазища,—  
И под лавкой грешника сыщет,  
Писан Бог зоографом Климом  
Киноварью да златым дымом.  
Лавицы — сидеть Святогорам,  
Кот с потемным дозором,  
В шелому чтоб роились звезды...  
Вот они — отчие борозды,—  
Посеешь усатое жито,  
А вырастет песен сыта!  
На образе баба с пузаном —  
Не укрыть извозным кафтаном,  
Полгода, а с телку весом.  
За оконцами тучи с лесом,  
Всё кондовым да заруделым...  
Будет, будет русское дело,—  
Объявится Иван Третий  
Попрать татарские плети,  
Ясак с ордынской басмою  
Сметет мужик бородою!

Нам любви Бухары, Алтай,—  
Не тесно в родимом крае,  
Шумит Куликово поле,  
Ковыльной, заветной долей,  
По Волге, по ясной Оби,  
Во всяком лазе, сугробе,  
Рубили мы избы, детинцы,  
Чтоб ели внуки гостинцы,  
Чтоб девки гуляли в бусах,  
Не в чужих косоглазых улусах!  
Ах, девки — калина с малиной,  
Хороши вы за прялкой с лучиной,

Когда вихорь синебородый  
Заметает пути и броды!  
Вон полоцкая Ефросинья,  
Ярославна-зегзица с Путивля,  
Евдокию — Донского ладу  
Узнаю по тихому взгляду!

Ах, парни — Буслаевы Васьки,  
Жильцы из разбойной сказки,  
Все лететь бы голюю на Буяны  
Добывать золотые кафтаны!  
Эво, как сказ схож с Коловратом,  
Кучерявый, плечи с накатом,  
Видно, у матери груди —  
Ковши на серебряном блюде!  
Ах, матери-трудницы наши,  
В лапотках, а яблони краше,  
На каждой, как тихий привет,  
Почил немерцающий свет!  
Ах, деды — овинов владыки,  
Ржаные ячменные лики,  
Глядишь и не знаешь — сыр-бор  
Иль лунный в седилах дозор!

Ты Рассея, Рассея matka,  
Чаровая, заклятая кадка!  
Что там, кровь или жемчуга  
Иль лысого черта рога?  
Рогатиной иль каноном  
Открыть наговорный чан?  
Мы расстались с саровским звоном—  
Утолением плача и раи,  
Мы новгородскому Никите  
Оголили трухлявый срам,—  
Отчего ж на белой раките  
Не звонят щеглы по утрам?  
Мы тонули в крови до пуза,  
В огонь бросали детей,—  
Отчего же небесный кузов

На лучи и зори скупей?  
Маета, как змея, одолела,  
Голову бы под топор...  
И Сибирь и земля карела  
Чутко слушают вьюжный хор,  
А вьюга скрипит заслонкой,  
Чернит сажей горшки...  
Знаем, бешеной самогонкой  
Не насытить волчьей тоски!  
Ты Рассея, Рассея матка,  
На мирской смилосердись гам:  
С жемчугами иль с кровью кадка,  
Окаянным поведай нам!

На деревню привезен трактор —  
Морж в людское жилье.  
В волсовете баяли: «Фактор,  
Что машина... Она тое...»  
У завалин молчали бабы,  
Детвору окутала сонь,  
Как в поле межкою рябой  
Железный двинулся конь.  
Желты пески, расступитесь,  
Прошуми на последках польнь,  
Полюбил стальногрудый витязь  
Полевую плакучую синь!  
Только видел рыбак Кондратий,  
Как прибрежем, не глядя назад,  
Утопиться в окуньей гати  
Бежали березки в ряд.  
За ними с пригорка елки  
Разодрали ноженки в кровь...  
От ковриг надломятся полки,  
Как взойдет железная новь.  
Только ласточки по сараям  
Разбили гнезда в куски.  
Видно, к хлебушку с новым раем  
Посошку пути не легки!

Ой ты каша да щи с мозгами —  
Каргопольской ложке родня!  
Черноземье с сибиряками  
В пупыре захотело огня!  
Лучина отплакала смолью,  
Ендова показала течь,  
И на гостя с тупою болью  
Дымоходом воззрилась печь.  
А гость как оса в сетчатке,

В стекольчатом пузыре...  
Тешерь бы книжку Васятке  
О Ленине и о царе.  
И Вася читает книжку,  
Синеглазый как василек.  
Пятясь, охая, на сынишку  
Избяной дивится восток.  
У прялки сломало шейку,  
Разбранились с бердами лыны,  
В низколобую коробейку  
Улеглись загадки и сны.  
Как белица, платок по брови,  
Туда, где лесная мгла,  
От полавочных изголовий  
Неслышно сказка ушла.  
Домовые, нежити, мавки —  
Только сор, заскорузлый прах...  
Глядь, и дед улегся на лавке  
Со свечечкой в желтых перстах.  
А гость, как оса в сетчатке,  
Зенков не смежит на миг...  
Начитаются всласть Васятки  
Голубых, задумчивых книг.

Ты Рассея, Рассея теща,  
Насолила ты лихо во щи,  
Намаслила кровушкой кашу,  
Насытишь утробу нашу.  
Мы сыты, мать, до печенок,  
Душа — степной жеребенок  
Копытом бьет в грудину, —  
Дескать, выпусти на долину  
К резедовым лугам, водопою...  
Мы не знаем нынче покою,  
Маета-змея одолела  
Без сохи, без милого дела,  
Без сусальной в углу Пирогощей...

Ты Рассея — лихая теща!  
Только будут, будут стократы  
По Дону вишневые хаты,  
По Сибири лодки из кедра,  
Олончане песнями щедрь,  
Только б месяц, рядясь в дѣмы,  
На реке бродил по палимы,  
Да черемуху в белой шали  
Вечера как девку ласкали!  
1926

---

Весной этого года в день рождения Владимира Ильича Ленина жизнь поэтов Москвы ознаменовалась волнующим событием: поэт Егор Исаев стал лауреатом Ленинской премии.

Поздравляя нашего товарища с высокой наградой, желаем ему новых вершин в поэзии.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

*Николай Нежданов*

## САМАЯ БЛИЗКАЯ ДАЛЬ

Более двадцати лет пробежало с тех пор, как на белый лист бумаги легла первая строчка «Суда памяти». Вот она — открытая, неоглядная, окоемая:

Он шел в засеянный простор...

Я знаю, как трудно дается поэту первая строчка, хотя она и приходит, казалось бы, случайно, внезапно, не найденная, а скорее угаданная вдохновением. Электрический разряд ее подготавливается годами, суммой всего пережитого поэтом. Но одна строка сама по себе мало что говорит читателю. Она, как многоступенчатая ракета, должна отделить тысячу других, подобных себе, придать им устойчивую необходимую скорость, вывести их на заданную «космическую» орбиту.

Нужная скорость была найдена сразу. Переход, или, говоря словами самого автора, «переток», одной строки в другую, рождающий непрерывное движение поэтической материи, и заключал в себе секрет открытой Егором Исаевым «скорости». В не столь давнем прошлом человек ощущал землю пространством без начала и конца. Скорость помогла ему оторваться от земли и увидеть, как она мала... Скорость помогла поэту увидеть, как мала земля в своем величии...

Великая!  
Она летит во мгле,  
Ракетной скоростью  
До глобуса уменьшена.  
Жилая вся.  
И ходит по Земле  
Босая Память — маленькая женщина.

Память не прощает. Она судит тех, кто хотел в былом, да и теперь еще хочет погубить эту, уменьшенную до глобуса, родную до боли, голубую и зеленую, черноземную и суховейную, штормовую и безветренную, единственно разумную планету, именуемую Землей. Приговор памяти суров. Даль ее необозрима. И оттуда, из дальней дали ведет свой тяжело груженный эшелон человечная, земная муза Егора Исаева.

Единство стиля заложено прежде всего в осознанном единстве внутреннего мира поэта, в целостности его ощущений, его мировоззрения, его отношения к своему времени, своей истории. Достигают этого единства лишь поэты, гармонические в том, еще блоковском смысле этого слова. Поэт болезненно улавливает малейшие дисгармонические начала в обыденной жизни, не говоря уже о нарушениях пропорций или каких-то других основ жизни. Поэзию рождает контрасты. Особенно, как то ни странно, — органическую, какою является поэзия Егора Исаева. Яркий контраст, переходящий даже в своеобразный внутренний конфликт, соединяет две поэмы в одно целое, эпическое по характеру и глубоко лирическое по «способу создания» полотно.

Нет нужды пересказывать содержание двух широко изданных поэм. В основе их лежит жизнь, в первой — послевоенная, с болевой ретроспекцией в войну, в ее мучительную и живую память, во второй — предвоенная, предгрозовая, вся освещенная солнцем зеленогорячего сенокоса, радости созидания, человеческого счастья жить на земле. И, может быть, только пройдя через «Суд памяти», можно было так остро, так неизбежно живо и безоглядно окунуться в ее даль. Говорят, пришедшие с фронта люди «не верили» в реальность той, довоенной жизни, того бывшего с ними счастья — просыпаться под мирным голубым небом, пахать и косить землю; рубить на ней избу, рожать детей... В столкновении, может быть, первоначально и произвольном, этих двух реальностей, двух рожденных действительностью стихий распахнута встал перед нами большой поэт — Егор Исаев. И вместе с ним, за плечами его музы — хрупкой «маленькой женщины» — Памяти, встало во весь свой могучий рост Время. Они почти ровесники — поэт и его время. Их диалог откровенен, он затрагивает важнейшие вопросы современности, он дает нам, читателям, возможность осмысления своей жизни,

возможность нынешнего ответа на вечные вопросы бытия. Реальность жизни — основа поэзии. Но не меньшая основа ее — поэтический вымысел. Еще в XVII веке один из первых теоретиков нашей литературы Феофан Прокопович писал: «Первое, что преимущественно требуется во всяком поэтическом произведении, это — вымысел или подражание, если его нет, то сколько бы ни сочинять стихов, все они останутся не чем иным, как только стихами, и именовать их поэзией будет, конечно, несправедливо. Или если захочешь назвать поэзией, то назовешь ее мертвой...» Поэзия Егора Исаева зиждется на двух «китах» — правде жизни и правде вымысла. Именно поэтому она живая, как кремень-слеза, протяжная, как русский гак, широкая, как тягловая река.

«Даль памяти» начинается с вымысла, почти фантастического:

Ко мне приходит облако.

И тут же, со второй строки в поэму врывается вихрь конкретной, реальной жизни:

С рожденья  
Оно мое,  
Оно идет с полей  
Не по теченью ветра — по веленью  
Души моей  
И памяти моей.

Говорят, поэзия должна быть философичной. Но мне думается, философия жизни, ее глубочайшее осмысление заложено в самом русском слове, метафорическом по рождению. Ведь если внимательно взглянуть в некоторые из обыденных наших слов, этимологическая основа которых еще не затемнена окончательно, можно вывести своеобразный кодекс отношения русского человека к жизни. Взять хотя бы слово «чело-век» — чело, ум века, — разве нет в этом самобытнейшего философского подхода к дей-

ствительности? А слово «я-зык», указывающее непосредственно на говорящего вслух, то есть громко, стройно, красиво... Мне кажется, что поэт, знающий русский язык не по учебникам и словарям, чувствующий его аромат и запах, умеющий заглянуть в его истоки, — и есть поэт истинный. Егор Исаев выделяется среди современных поэтов безукоризненным ощущением народного слова. Богат его поэтический словарь, в основе которого лежит опять-таки жизненный лексикон. «Косить как петь», — сказал однажды автор поэмы о труде, о величайшей силе народного духа, о дали человеческой памяти на земле. И петь, как косить — широко, раздольно, красочно.

И грянет праздник!  
Радостную душу  
Ты не жалея,  
А телом пропотей!

Их было — помнишь? — тридцать  
девятъ

Дюжих,  
В рубахах белых  
Ладных лебедей.  
Зарю на грудь!  
И — звончато и нежно —  
Ходи,  
Ходи,  
Оглаженная сталь!  
Не жаль косы,  
Росы не жаль, конечно,  
Да только вот цветов немного жаль.

По-русски испокон веков было в слове «жалеть» заключено слово «любить». Любовью и нежностью ко всему живому на свете, ко всему истинному и неизбежному наполнена даль поэм Егора Исаева. На «переломном рубеже Судьбы» душе дано выстрадаться в человека. И это ее превращение содержит в себе главную суть жизни. В этом, может быть, пафос всей поэзии Егора Исаева.

ПРОСТЫЕ СЛОВА

Труд и бой —  
                                вот главные детали  
Нашей жизни...  
С чем ее сравнить?  
...Школьные каникулы настали:  
Мы уходим клевера копнить.

Пахнет ветер юностью и медом,  
Но,  
                        не завершив свою весну,  
Прямо от копешек,  
                                от ометов  
Мы уходим,  
                        парни,  
                                на войну.

В мае ослепительном неспешно,  
Сдав старшинам  
                                каска и штыки,  
Прямо от седого Будапешта  
В кузницу шагаем,  
                                мужики.

Сталью и мазутом пахнет лето,  
Рожь цветет,  
                                вздываются венцы...

Прямо от горнил идем в поэты —  
Пахари,  
                                солдаты,  
  кузнецы.

Ни души,  
                        ни тела не жалеем  
Ради правды,  
                                от огня рябой...  
Прямо мы стоим пред Мавзолеем  
И вины не чуем за собой.

А ступени трудные,  
                                крутые.  
От волнения — кругом голова...  
Прямо говорим ему простые,  
Наши откровенные слова:

— Миром,  
                                ко всеобщему успеху  
Честно катим трудовые дни...  
Спи, родимый!  
                                Пашем без огрехов  
И куем без лишней трескотни.

Валентин Кузнецов

ДАЛЕКО, ЗА ПАМЯТЬЮ МОЕЙ

Если в чем-то есть моя вина:  
Не пришел. Уехал. Не утешил, —  
То тому причиною — Двина  
И глаза доверчивых скворешен.

Пахнет время памятью моей,  
Уезжаю в северную Ниццу.  
Там среди деревьев и ветвей  
Я хочу друзей увидеть лица.

Расскажи, сосна, и ты, валун,  
Древний камень, твердо вросший  
                                в сушу,  
Как гулял тайгой мороз-колун,  
Надвое раскалывая душу.

Только мы не дрейфили тогда,  
Молодые, чертом кровь кипела:  
Сек ли дождь, валила ли беда —  
Мы творили правильное дело.

У костра подачек не прося,  
Мы плотней запахивались в шубы.  
Лось бежал. Глядели на дося.  
У него захапистые губы.

На холмах угрюмых, у низин  
Или вдоль сыпучего оврага  
Мы сбивали головы осин,  
Чтобы шла осина на бумагу.

Не умели мы кричать — «ура!».  
Молча мы свою тропу торили.  
Языком пилы и топора  
Мы с тайгой открыто говорили.

Но, мохнатой грудью навалясь,  
И она на нас, пугая, перла.  
На дорогах втаптывала в грязь  
По весне, когда воды по горло!



Разметав сугробные стволы,  
Ты, весна, напрасно с хворью лезешь.  
Мы стоим. Железные стволы.  
Никакой пилюю нас не срежешь.

Мы в тебя такой загоним гвоздь,  
Выдерни попробуй-ка из тела!  
Что нам хворь? Когда всю нашу злость  
Мы вложили в правильное дело.

Нам добра и зла не занимать,  
Каждый знает: кто он и откуда.  
Если б нас, как бревна, повязать,  
Плот какой бы получился — чудо!

Если б бригадир сказал нам речь,  
Не пустую — важного значенья, —  
Мы б смогли телами в реку лечь,  
Как плотина, перекрыв течение.

Наша жизнь сурова и груба:  
Устаем. Во снах мы не летаем.  
То судьба нас ставит на попа,  
То судьбу мы за уши хватаем.

Но порой, бывает, вздрогнешь вдруг  
Перед мелкой смертью бурундучьей.  
Словно не зверек лежит, а друг,  
Что попал под кедровые сучья.

И не то чтоб зверя очень жаль,  
Что других, мол, не сыскать в округе.  
Но стойшь, завернутый в печаль,  
Опустив беспомощные руки.

Подойдет шумливая братва,  
Поглядит на горе бурундучье  
И присядет тихо, как трава,  
Шапки поплотнее нахлобучив.

Рукавицы кинет на снега,  
Подожмет обветренные губы.  
И вздохнет: тайга — она тайга,  
Что капкан зверью и лесорубу.

Я жестоких повидал людей,  
В жизни каши с ними съел немало.  
То себя губили, то зверей,  
Но слеза их крепко прошибала.

Потому что смертный человек,  
Он казнится собственной виною.  
Он добрей тогда сибирских рек,  
Он распахнут, как Двина весною.

Если встанут все они в ряды,  
Все друзья, скуластые мужчины.  
Встанут. Поглядят в лицо воды —  
На реке разглядятся морщины.

И Двина седая, точно мать,  
Сквозь хвою и едкие туманы,  
Кинется им ноги целовать,  
Омывать царапины и раны.

И тайги древесная ладошь  
На плечо опустится, как птица.  
И дождя серебряный огонь  
Голубой стеной заколосится.

Не усталость гнула нам хребет,  
Юность не от старости поблекла:  
Оттого что молодость идет  
В самое немислимое пекло!

Отдали себя мы до конца,  
Не прося у жизни лучшей доли.  
В север наши впаины

сердца,  
Оторви попробуй-ка без боли!..

## Леонид Мартынов

### ИЗ РА Н Н И Х С Т И Х О В

#### ПУТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

И не теоретические споры,  
И не примеры из литературы,  
Но горы, и соленые озера,  
И бурное взволнованное море,  
И хмурые заоблачные зори —  
Вот что влечет революционера,  
Скорее практика, чем фантазера!

Не худо,  
Сев на важного верблюда,  
Направиться и к югу и к востоку!  
Дари свободу бедному народу  
И намечай железную дорогу!

Дари свободу! Что же это значит?  
Дари им воду, букву, цифру, слово  
И все, на что ты сам имеешь право,  
Чтоб, ржаво треснув, рассыпались  
цели...

В палящий зной нивелировка степи,  
Анализ почв, промер воды в озерах —  
Вот он один, высокий и прекрасный,  
Тяжелый путь революционера,  
Одна твоя немеркнущая слава!

1926

\* \* \*

Бегут вассалы Колчака,  
В звериные одеты шкуры,  
И дезертир из кабака  
Глядит на гибель диктатуры.

А ты, Пьеро, манерный плакса,  
Ты слышишь орудийный гром,  
Ты слышишь, бьет тревожный «максим»  
Там, на холмах за Иртышом!

Неяркий снег лежал в равнинах,  
А в городе он был багров,  
И, путаясь в одеждах длинных,

Толпа крикливых Арлекинов  
Выматывалась со дворов.

И лес лилов, и снег стал розов,  
И розовая ночь была,  
И с отступающих обозов  
Валились мертвые тела.

За взрывом взрыв над полем боя  
Взлетал соперником луне,  
И этот бой покрыл былое,  
И день настал  
В другой стране.

1919

### ВОСПОМИНАНИЯ СКИТАЛЬЦА

До сих пор еще кажется: камни валяются  
Прямо на нас, карабкающихся по обрывам...

В этих воспоминаниях скитальца  
Я хочу быть только правдивым:

Был бородат и упрям он, почтенный профессор-геолог,  
За никелем, за вольфрамом был путь наш тяжел и долог.  
Дошли мы, вверх по течению рек, к стремительным водопадам,  
И к нам полудикий пришел человек, и сел он с профессором рядом  
Возле костра полугогашего на истертую шкуру джульбарса,  
И, показав на бороду начальника нашего, сказал:  
— Как у Маркса! —  
И закричал тогда наш проводник:  
— О странник в лохмотьях, покрытый пылью,  
Скажи мне, пожалуйста, нищ, полудик, откуда ты знаешь такую фамилию?

Но гость, улыбаясь, ответил нам, что бедному человеку, несчастному человеку,  
Любым неизвестным еще племенам известно то, что известно повсюду!  
И не о старом мире, не о Шварцвальде хмуром  
Я думаю. И не о Трире, который известен по гравюрам,  
Но о тех краях, что до сих пор  
Являли собой загадку,  
Тех краях, где среди неприступных гор  
Поставили мы палатку!

1925

\* \* \*

Нет у меня дурных предчувствий,  
А если были, так прошли —  
Я нахожу себя в искусстве  
Унынье гнать с лица земли.

1927

\* \* \*

О, человек поникший,  
Вслух рассуждать не привыкший,  
Робкое существо,  
Даже не ставший и рикшей  
Сам для себя самого,  
Но толкачом вагонетки,  
Блещет в которой руда,  
Не превращаясь в монетки,  
Даже мелкие, никогда,  
И, как кристаллы соли  
В человекообразном столбе,  
Едкостью поневоле  
Блещешь лишь сам ты в себе!

1930

## *Анатолий Жигулин*

\* \* \*

В гулких осенних  
Остуженных рощах  
Снова земля  
Холодна и черна.  
Снова на тропках,  
На кочках намокших  
Светится зелень  
Кукушкина льна.

Холодно травам,  
А моху привольно.  
Радостно цвет  
Ледяную росу.  
Снова разлука,  
А сердцу не больно.  
Пусто и тихо  
В осеннем лесу...

Что еще будет  
В оставшейся жизни?  
Что потеряю,  
Кого полюблю?  
Не обращаюсь  
К судьбе в укоризне,  
Но об одном только  
Бога молю:

В кружеве листьев,  
Багровых и красных,  
В жизни, которая  
Боли полна,  
Пусть до конца  
Остается, как праздник,  
Яркая зелень  
Кукушкина льна.

\* \* \*

Мой бедный мозг, мой хрупкий разум,  
Как много ты всего хранишь!  
И все большее с каждым разом  
Тревожно вслушиваться в тишь.

В глухую тишь безмолвной думы,  
Что не отступит никогда,  
Где странны, пестры и угрюмы  
Живут ушедшие года.

Там все по-прежнему, как было.  
И майский полдень, и пурга.

И друга черная могила,  
И жесткое лицо врага...

Там жизнь моя войной разбита  
На дальнем-дальнем рубеже...  
И даже то, что позабыто,  
Живет невидимо в душе.

Живет как вербы у дороги,  
Как синь покинутых полей,  
Как ветер боли и тревоги  
Над бедной родиной моей.

\* \* \*

Помню ровное поле  
И маленький наш огород —  
На окраине города,  
Где-то за Пеше-Стрелецкой.  
И высоко над нами  
Спокойно гудит самолет.  
Может, наш, но по звуку  
Скорее похож на немецкий.

Самолет высоко.  
Он не станет на нас нападать.  
Возвращается, видно,  
На базу из дальней разведки.  
И спокойно лопатой  
И тяпкой работает мать.  
И спокойно, лениво  
Ударили рядом зенитки...

На седой мешковине  
Разложен нехитрый обед:  
Пять вареных картошин,  
Ломоть кукурузного хлеба.

\* \* \*

Что будет — то будет.  
Умрем — как уснем.  
Тяжелой полынью  
В полях прорастем.

И будет над нами  
Струиться заря.  
И будет полынью  
Светиться земля.

\* \* \*

Опять в глазах колымский камень,  
Худой корявый редкий лес,  
И золотой смолистый пламень,  
И блески белые с небес.

Опять летишь ты, птица-память,  
В мои далекие года.  
От этих лет меня избавить  
Никто не сможет никогда.

Да и зачем? Все наше — с нами.  
До самой роковой черты

Самолет улетел,  
И растаял барашковый след,  
От снарядных разрывов  
Очистилось летнее небо.

И полуденным зноем  
Простор черноземный дышал.  
И желтели цветами  
Полыни пахучие грозди.  
А вдали на пригорках  
Разрушенный город лежал.  
И коробки развалин  
Белели как древние кости...

Где истоки любви  
К этой горькой и милой земле?  
Что меня навсегда  
К этим грустным полям приковало?  
Здесь родился и жил,  
Здесь навеки расту во мгле,  
Здесь полынное семя  
Нечаянно в сердце запало.

И кто-нибудь скажет:  
— Какая теплынь!  
Какая в полях  
Голубая полынь!

И горькие ветки  
Качнутся шурша.  
И в зыбкой тиши  
Встрепенется душа.

Все буду видеть это пламя  
В краю беды и мерзлоты.

Какой еще суровой мерой  
Измерю нынче жизнь свою,  
Чем тот колымский камень серый,  
Чем тот огонь в глухом краю?

И что еще на этом свете  
Яснее убедит меня  
В том, что любовь  
Сильнее смерти,  
Сильнее камня и огня?

\* \* \*

Сто лет горит лампада  
Над каменной плитой.  
И светится иконка  
Оправой золотой.

Поручик Родионов  
Лежит в чужой земле.  
Над ним горит лампада  
В соборной полумгле.

Поручик Родионов  
Со знаменем в руке  
Погиб когда-то в этом  
Болгарском городке.

Когда входили в город  
Под знаменем полка,  
Какой-то шалый турок  
Ударил с чердака.

Английская винтовка,  
Оптический прицел.  
Упал на мостовую  
Красавец-офицер...

Поручик Родионов  
Лежит в чужой земле.  
Над ним горит лампада  
В соборной полумгле.

Балканскую сиренью  
Окутан древний храм.  
И соловей балканский  
Поет по вечерам.

Скользят лучи косые  
По каменной стене...  
А что теперь в России,  
В родимой стороне?..

А здесь горит лампада  
Вторую сотню лет,  
Как той далекой жизни  
Непозабывтый след.

Поручик Родионов,  
Вы слышите меня?  
Мы по семье Раевских  
Далекая родня.

Мы все родные люди,  
Сыны одной страны.  
Огни любви и скорби  
Нам далеко видны.

Огни людской печали,  
Огни былого дня —  
От маленькой лампы  
До Вечного огня.

## *Давид Самойлов*

\* \* \*

Был ли счастлив я в любви,  
В самой детской, самой ранней,  
Когда в мир меня влекли  
Птицы первых упований?

Ах! в каком волшебном трансе  
Я в ту пору пребывал,  
Когда на киносеансе  
Локоть к локтю прижимал!

Навсегда обречены  
Наши первые любви,  
Безнадежны и нежны  
И нелепы в каждом слове.

Посреди киноромана  
И сюжета вопреки  
Она ручку отнимала  
Из горячечной руки.

А потом пенужный свет  
Зажигался в кинозале.  
А потом куда-то в снег  
Мы друг друга провожали.

Видел я румянец под  
Локоном из теплой меди —  
Наливающийся плод  
С древа будущих трагедий...

\* \* \*

*И. К.*

Мы не меняемся совсем.  
Мы те же, что и в детстве раннем.  
Мы лишь живем. И только тем  
Кору грубеющую раним.

Живем взахлеб, живем вовсю,  
Не зная, где поставим точку.  
И всё хоронимся в свою  
Ветшающую оболочку.

\* \* \*

Повтори, воссоздай, возверни  
Жизнь мою, но острее и короче.  
Слей в единую ночь мои ночи  
И в единственный день мои дни.

День единственный, долгий, единый,  
Ночь одна, что прожить мне дано.  
А под утро отлет лебединый —  
Крик один и прощанье одно.

\* \* \*

Забудь меня и дни,  
Когда мы были вместе.  
На сердце не храни  
Ни жалости, ни мести.

Но вспомни об одном —  
Как в это время года

Ходила ходуном  
Ночная непогода

И гром дерева тряс,  
Как медная десница...  
Ведь это все для нас  
Когда-то повторится.

## АКТРИСЕ

*Л. Т.*

Тебе всегда играть всерьез.  
Пусть поневоле  
Подбрасывает жизнь вразброс  
Любые роли.

Хоть полстранички, хоть без слов,  
Хоть в пантомиме,—  
Играть до сердца, до основ,  
Играть во имя.

Без занавеса и кулис  
И без суфлера,  
Чтоб только слезы пролились  
На грудь партнера;

Чтоб лишь леса поры потерь,  
Поры печали,  
Рыжеволосы как партер,  
Рукоплескали.

Играть везде — играть в толпе,  
Играть в массовке,  
Но для себя и по себе,  
Без подтасовки.

И наконец, сыграть всерьез  
В той мелодраме,  
Где задыхаются от слез  
Уже над нами.

## Василий Федоров

### НА ПАРНАСЕ

Потускнел,  
Осиротел Парнас.  
С юности стоявшие над нами,  
Вы ушли, старейшины, и нас  
Сделали до срока стариками.

Ваши троны  
В честолюбье злом  
Штурмовали неукп оравой.  
Как птенцу бывает под крылом,  
Было мне легко  
Под вашей славой.

Слово,  
А не звездный блеск венца,  
Вашу правду не в угоду стилю  
Я любить учился до конца,  
Как умели вы любить Россию.

В дни  
И ратных бед  
И в недород  
Вы учили в назиданье плутням  
Не по праздникам любить народ,  
А по горьким и тяжелым будням.

Презирая легкое словцо,  
Говорили вы без чертовщины,  
Что Природа — Родины лицо,  
Не прибавьте новые морщины.

Прорва дел!  
Но как себя ни горбь,  
Бряд ли будет чище век угарный.  
У поэта мировая скорбь  
В наше время  
Стала планетарной.

Потускнел,  
Осиротел Парнас.  
В мудром слове бывшие отцами,  
Вы ушли, старейшины, и нас  
Не успели сделать мудрецами.

Между тем  
Кипит раздоров ярь,  
И уже — вы слышите ль, поэты:  
По ночам космический звонарь  
Глухо бьет  
В колокола-планеты.

Он всю жизнь хотел походить одновременно на Марата и Маяковского. Мне всегда казалось, что Ярослав Смеляков воспитывает в себе непримиримость, которая в нравственном мире всегда богаче и определенней обыденного правдоподобия. Непримиримость — это победа над собой. И более того — над жалостью к более слабому. Он не прощал никому слабости. Он любил всех видеть сильными и независимыми. Мне часто казалось, что ему хотелось, чтобы поэты походили на вождей. Эти черты, как и свою знаменитую прямоу, Ярослав Смеляков взял у двадцатых максималистских годов. У своей молодости.

А над юностью Ярослава Смелякова всегда витал образ Маяковского. Как-то он вспомнил при мне, как еще мальчишкой, рабфаковцем ходил слушать Маяковского в Политехнический.

— Не оглушал он никого! Это нечто другое! — не то вспоминал, не то с кем-то хотел спорить Смеляков. — Я слушал его из дальних рядов. На меня накатывался гул. В зале было тихо-тихо. Если бы тишина могла гудеть — она гудела бы, как Маяковский. — И, чуть-чуть упрямо сузив левое плечо, пробурчал: — Он был нашим кумиром. Без него мы были бы другие...

Может быть, и делал себя Смеляков так же глыбисто по этому первому, строгому впечатлению. Нет, не делал, а ваял, создавал какое-то в себе железно-каменное изваяние. Поэт и сам как-то в этом признался: «Я строил окопы и доты, железо и камень тесал, и сам я от этой работы железным и каменным стал».

Такое изваяние тяжело в себе носить. Непосильно. Но у Смелякова оно было удивительно теплокровным. И никогда из него не показывался наружу этот внутренний «памятник». Но и железо, которое дышит, которое теплокровно, тоже изнашивается: так сложилась судьба у Ярослава Смелякова, что жил он на больших перегрузках. В его судьбе в чем-то «сочетались» фронтовая судьба Михаила Луконина и яркий, драматический путь Павла Васильева. Только более «густо», более трагично. На больших изломах.

Вот почему среди поэтов своего поколения он часто чувствовал себя неуютно, часто сурово-печально, а к молодым, бойким и удачливым, относился с какой-то жадной, любознательной насмешливостью. Он знал, что главные испытания у них впереди — это испытания «послеславой».

Интересно было слышать отзывы Смелякова о каждом из них. Все было в этих отзывах — и боль, и резкость, но не было злорадства. Не было и высокомерного «мы были не такие». Он судил всех сурово. Без скидок. Несуетливо. Напрямую. Так, должно быть, судил людей и самого себя Марат. И не зря написались стихи «Рязанские Мараты» в годы, казалось бы, не созвучные этой теме:

Вы с беспощадностью предельной  
ломали жизнь на новый лад  
в краю ячеек и молелен,  
среди бескорыстия и растрат.

Он редко читал эти стихи на людях. И почему-то неохотно. На аудиторию редко выносят стихи глубоко интимные.

Порою казалось, что вся смеляковская ершистость, взгляд из-под обиженных бровей, даже резкие, непривычные для литпланктона выходы — все это чуть-чуть нарочито. Но опять — в смысле чувства — это реликт двадцатых, так любимых поколением Смелякова годов. Настоящие поэты всегда в чем-то чуть-чуть старомодны. Была эта скрытная, благородная старомодность и у Ярослава Смелякова. И когда к нему обращались на «ты», он торопливо морщился и отодвигал строгими глазами от себя причинившую ему боль игрушку.

Чтобы с ним дружить, нужно было обладать чувством дистанции. Даже к старым своим товарищам он обращался на «вы». И это «вы» не было ни холодным, ни нарочитым — оно было дистанционным. На «ты» он был на моих глазах только с одним Михаилом Лукониным — и то не всегда. «Вы» отгораживало его от любопытства других, от чужой прямолинейной зависти и любви. Словно он сам себе велел навсегда: «Нельзя распахиваться. Это опасно». Он редко кого подпускал к себе. Таким был и Есенин со множеством дружков, но без друзей. Это и понятно — друзей не может быть много, как и любовей. Он был копителем, «калитой», а не транжиром.

Как-то он, удивляясь самому себе, признался:

— Когда я очутился в плену, почему-то все конвойные били меня. Как только погляжу — сразу бьют прикладом.

Должно быть, видели в его глазах, что он не хочет примириться.

Так из чего он был изваян? Из железа? А может, это ему казалось? Может, что-то в душе у него так настудило, что пар души пре-



вратился в лед? Лед крепче камня: зимой, попав в расщелины, он разрывает тело камня, скалы. Тогда где помещалось его тепло? Вздох? Оттепельная влага грусти?

Не принуждал ли он себя ежечасно, ежеминутно к настороженному чувству правды? Не знаю. Да и это не так уж важно.

\* \* \*

В старых русских сказках богатыри меняются шапками, а оказывается, что судьбами. Так должен меняться учитель с учеником. Только тогда все будет подлинным. Вот почему Ярослав Смеляков не искал учеников как восприимчивых мастеров. На совещаниях молодых если и бывал, то неохотно.

— Каждый своего тащит! — весело обмолвился как-то Михаил Луконин.

— И все какие-то бесхребетные, — с какой-то угрюмой настороженностью пробурчал Ярослав Васильевич. — Талант должен быть таким, чтобы я сразу поверил. Ты дай мне хотя бы одну строку, но строку. Вот о таланте Павла Васильева никого не надо было уговаривать...

Кстати, о Павле Васильеве. И Луконин и Смеляков любили его как поэта. Могли читать наизусть часами. Луконин — восторженно. Смеляков — прислушиваясь к звучанию стихов, как впервые. Он не все принимал в Павле Васильеве. Это был знак его высшего признания.

Вообще все поэты неохотно говорят о своих непосредственных учителях, предпочитая называть более далеких. Так, Пастернак почти никогда не называл Хлебникова, давшего его стиху особую, хлебниковскую «закваску». Было в этой любви Смелякова к поэту из Семиречья нечто ревнивое, чувствовалось, что не по Павлу Васильеву он лепит свой образ поэта. Павел Васильев, как и Хлебников, не столько влиял, сколько подчинял себе. Это уже было не влияние, а гнет. Иго таланта.

Совсем иное было отношение Ярослава Смелякова к Эдуарду Багрицкому, талант которого не был стихийным, из «нутра». Это был талант организованный, влиянию которого трудно было противиться, но он не оставлял своих «отпечатков» на стихах других. Он был всю жизнь благодарен, может быть, не столько самому Багрицкому, сколько его школе. По-моему, это от Багрицкого пошло в нашей поэзии сравнение поэзии с ремеслом. Но мало знать, как писать. Этому научит мастер. Надо знать, как жить. А здесь нужен учитель, который смог бы передать своему ученику чувство направления. Конечно, в высшем значении, учителем был для него Маяковский. Но чужому сердцу нельзя научиться. Особенно такому, какое было у Маяковского. Но он старался учиться имен-

но этому. Именно этому учила его и жизнь, не подчиненная никаким образцам.

Были ли у Смелякова ученики? Своими учениками, по-моему, он никого серьезно не считал. Правда, были молодые поэты, которые пытались встать ему в затылок, повторить все линии его стиля, все признаки его стиха. Так в танце следующие за ним повторяют па солиста. Об одном из них, очень старательном, насильственно культивирующем в своих стихах смеляковский стих, он резко, не скрывая досады, говорил:

— Три месяца был на заводе, а стихов на всю жизнь. И к тому же эти вечные деэпричастные обороты — признак малограмотности мышления. Он на равных со мной хочет себя вести. А я ведь к Багрицкому не подходил с «ты»... Пытается писать «на цыпочках».

Что такое «писать на цыпочках» — очень уж неудобная поза? Потом я понял, что имел в виду Ярослав Смеляков, говоря это: нельзя подглядывать в чужие стихи и мысли.

Это не значит, что у Смелякова не было и нет учеников как продолжателей. Очень надеялся он на стихи безвременно ушедшего от нас Николая Андиферова, с чуткой строгостью относился к стихам Владимира Кострова, упорно переучивал — и никак не мог сделать этого — стих Владимира Соколова.

По-моему, такое «ученичество» — наиболее плодотворное. В нем нет униженности повторения. Есть смелый и открытый способ поэтического общения, когда поэт себя чувствует не одиноким, а в живой цепочке поколений.

Вот почему и в молодых поэтах Смеляков больше всего боялся фальши. Подмены. Отсутствия подлинности. И его страшили эти межумья, метания туда-сюда, которые хороши только у маятника. Человек может меняться, но идея, составляющая его внутреннее существо, не меняется, она возрастает, она развивается. Переменчивость — это знак отсутствия духовного качества. И Ярославу Смелякову трудно было отречься не только от каких-то случайных черт в себе, но и от людей, которые ему чем-то поглянулись, хотя видно было, что многими из его окружения он тяготился. И здесь он отступал от своей привычной неуступчивости. Марат в нем в который раз оставался усмирленным.

Быт. Победа быта над поэтом никогда не бывает случайной, внезапной. Быт поэта засласкивает. Быт — прежде всего окружение. Уже сильно больным на даче в Переделкино он жаловался нам на чету молодых стихотворцев, которые, подкармливая орехами его белок, переманили их к себе. Сколько обиды звучало в его голосе! А мне было чуть-чуть горестно

от сознания, что мараатовское начало «отступало» перед обыденностью жизни. И все равно эта обида не унижала поэта. Есть такие «недостатки», которые очеловечивают...

Меня всегда занимало отношение такого человека, как Ярослав Смеляков, к природе. Природа в его стихах присутствует в каких-то чрезмерных, глобальных масштабах: «Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте ночную звезду». Когда я слушал такие стихи, мне начинало казаться, что великан притворился обыкновенным, среднего роста, с лицом и руками мастерового человека. Такое «гулливерство» было в Маяковском да еще в Павле Васильеве. Чтобы рассмотреть природу в подробностях, великану надо было бы встать на колени.

В мире великанов масштабы лиризма — иные... И природа сосредоточивается в самом существе человеческого. И... вдруг — белки! Кстати, ему сужден был этап успокоения лирической плазмы стихами, где было бы много подробностей. Но тогда это был бы не Ярослав Смеляков, вернее — другой Ярослав Смеляков.

В его мире не было ни листвы, ни травы, ни солнца — была работа. Вечная работа, как акт преобразования всего сущего. В природе звучат токи, в работе — ритм. Работа как вечное, напряженное неуспокоение. Он и объединил не зря работу и любовь. «Работа и любовь» — так он назвал одну из своих главных книг.

Вставал Ярослав Смеляков очень рано — тогда, на изломе суток между ночью и днем, он писал стихи. В коттедже в Переделкино в 1962 году зимой он жил надо мной. Я почти никогда не слышал его шагов — особенно ломких, утренних. Он жил не так, как ходил, может быть, он стеснялся разбудить соседей, а может, работа так приковывала его к письменному столу, что и отойти от стола было некогда. Утренние люди — ранние люди, их жизнь настороже, памятливая на все сделанное и сказанное вчера. И в этом тоже был Ярослав Смеляков. Ему нужно было отдавать стихам всего себя, еще не истраченного дневными заботами. Он не писал, а работал.

— Стих должен выписаться до конца! — как-то сказал он мне, по-деловому, не напускающая на себя загадочности и значительности. — Не успел сегодня докончить — не знаю теперь когда. У стихов должен быть жесткий регламент. Нужно высаживать десант памяти...

И это замечание, пожалуй, единственное о самом творчестве, которое я услышал от него за многие годы. А вообще Смеляков не любил говорить о своих стихах. И когда я его однажды в ЦДЛ спросил, почему он назвал свою книгу

«Декабрь», ведь в самом названии есть что-то конечное, даже прощальное, он долго молчал, очевидно заново постигая скрытый смысл этого названия.

— Наверно, это действительно книга итоговая. — В прищуре его голубых, беспомощно-беспощадных глаз светилось упорство неведомой сильной мысли.

— Стихи в ней морозные, — сказал я о своем ощущении этой книги, подумав, что именно такими должны быть последние книги настоящих поэтов — такими, где так сильно стремление к завершенности, где нет места предчувствиям. Это прощание не прощаясь. Сознание, что нужно явственней обозначить направление для других, которые придут после.

Мне было ясно, что второе дыхание, что так называемая вторая молодость проявляются обыкновенно у финиша. Так было и у В. Луговского с его «Серединной века», и у А. Твардовского с его пейзажно-философскими стихами, так было и с «Декабрем» Ярослава Смелякова. В этом прощальном обилии мобилизуются все творческие ресурсы. Природа торопится реализовать себя.

Даже в этой книге Ярослав Смеляков не позволил себе расслабиться. В ней есть все — и боль, и горечь. Нет только чувства увядания, стихов «ни о чем». По-моему, он не ставил перед собой задачи написать «главную» книгу. Это бы в какой-то мере оправдывало право на «очередную» книгу. Нет, «главная» книга создавалась им каждодневно, из часа в час, своя, личная лирическая «Библия».

\* \* \*

Поэт проверяется на значимость отношением своим к истории. В ней он отыскивает нити будущего, пытается связать воедино былое и грядущее. Так обращался к истории и Ярослав Смеляков, создавая знаменитую книгу стихов «День России». Меня удивляло в ней необыкновенное терпение мысли, пророчество назад, как любила говорить Марина Цветаева. Удивляло и то, что поэт обращался порой к «безгеройным» эпохам. На мой взгляд, отсутствие героизма во времени рождает формализм, чего всегда боялся Ярослав Смеляков.

По дороге из Югославии, куда были приглашены советские поэты, я разговорился с главой нашей делегации — Ярославом Смеляковым о прошлом, о том, что не все прошлое становится историей.

— Почему везде, где бы я ни был, нам показывают кладбища? Одни кладбища да руины. Никто не видит своего настоящего. Настоящим никто не гордится.

Потом мы говорили о двух потоках времени,

согласно некоторым древним воззрениям, потоках из прошлого в будущее и из будущего в прошлое, о том, что грядущее, даже самое отдаленное, уже сейчас влияет на людей, создает в нас самих нас, что сновидения в чем-то — орган, которым мы чувствуем будущее, что Пушкин не любил прошлого вне истории. Говорили и о Карамзине, который лучше всех, пожалуй, понял русскую историю.

— Мертвечина фактов, — говорил Смеляков, — загромождает историю. Людей не видно. Есть события. Но что за события без людей?

Тогда-то я и услышал от него стихи «Голубой Дунай»:

После бани, в день субботний  
отдавая честь вину,  
я хожу всего охотней  
в забегаловку одну.  
Там, степенно выпивая,  
я стою наверняка.  
В голубом дыму Дуная  
все колеблется слегка.  
Появляются подружки  
в окружении ребят.  
Все стучат сильнее кружки,  
колокольчики звенят.

Поезд шел через Венгрию, через степи и мелколесье такой похожей на нашу страну, и все это — разговоры об истории, стихи, недавние впечатления — сливалось в одно какое-то большое, сквозное ощущение значительности жизни, если есть в ней вот такие мысли и такие стихи. Я все это сейчас назвал бы — школой Ярослава Смелякова.

Уже гораздо позже, выступая перед работниками культуры вместе с Луконым и Смеляковым, я опять услышал эти необычные для Смелякова стихи:

Словно в небе позывные,  
с каждой стопкой все слышней  
колокольчики России  
из степей и от саеней,  
ни промашки, ни поблажки,  
чтобы не было беды.  
Над столом тоскует Машка  
из рабочей слободы.  
Пусть милиция узнает —  
ей давно узнать пора —  
Машка сызнова гуляет  
чуть не с самого утра.  
Не бедна и не богата —  
четвертинка в самый раз —  
заработала лопатой  
у писателя сейчас.

Слушая эти стихи, я вдруг понял, что Ярослав Смеляков всю жизнь боялся впустить в себя другого, умеющего жалеть человека, что часто доброту он воспринимал как особую форму лести, может быть, он по привычке воспитывал в себе недоверчивость.

Когда-то, в начале шестидесятых годов, я написал в журнале «Юность» рецензию на сти-

хи Я. Смелякова, где сделал особый упор на его доброту и отзывчивость. Может быть, тогда я был прав, хотя Смеляков решительно отвергнул ее словами «это не про меня написано».

Его всю жизнь привлекала сила и как высший ее нравственный знак — прямота, ибо ложь всегда предательство. И все же, слушая эти стихи, я ощущал, что перед нами — новый, неведомый Ярослав Смеляков.

Потом читал стихи Михаил Луконин об обелисках. И Смеляков гордо заявил:

— Я — председатель поэтов Москвы и кого попало вам не приведу!

Шли дни, даже годы, а мне не давала покоя мысль, что Смеляков сознательно пожертвовал в пользу лирического, прямого максимализма какой-то существенной частью своей души. Но я вспомнил любимых им людей — Марата, Маяковского, Долорес Ибаррури — Пасионарию, на которую, оказалось, по Смелякову, так похожа югославская поэтесса Десанка Максимович, и успокаивался на мысли, что это «отречение» от каких-то черт в себе было сделано ради сохранения в себе высшей нравственной силы «главаря» и работника.

Обыкновенно у поэтов кроме главной стези есть и побочные, возле главной любви — и сопутствующие. У Смелякова этой любовью был театр. Вот почему, когда мы опять втроем выступали в Театре имени Ермоловой, он, непривычно тщательно одетый, с торжественными глазами, читал свое любимое, и в том числе «Голубой Дунай», а когда дошел до строк:

Завтра утречком стирает  
для соседа бельецо.  
И с похмелья напеваает,  
что потеряно кольцо.  
И того не знает дура,  
полоскаючи белье,  
что в России диктатура  
не чужая, а ее,—

голос его дрогнул. Словно кто-то жестоко и несправедливо обидел его. Вернее, в нем эту самую «Машу». И опять я увидел, что это типично смеляковские стихи, что в них ни в чем не отступил он от своих убеждений, и главное — своего характера.

Да, театр он любил, как любил вспоминать о довоенной юности, когда он тайно забирался на скамьи в зале и засыпал там.

У каждого поэта есть что-то от подлинного и от легенды. Чем больше легенды, тем меньше человек похож сам на себя. Легенда как бы восполняет то, что было недодано природой. У Ярослава Смелякова нет легенды. И в стихах, и в жизни, и в своих суждениях он был и остался подлинным, терпеливо воспитавшим себя на правде, без капли лжи и фальши Ярославом Смеляковым.

## Василий Казанцев

\* \* \*

Машина ль мимо пролетала,  
Телегу ль видел на пути,  
Одно, одно в глазах стояло,  
Огнем сияло: «Прокати»!

Я в кузов тайно забирался.  
В комок сжимался на мешках.  
Я на ходу за борт цеплялся.  
Как плеть, мотался на руках.

Свистящий ветер — не помеха,  
И не помеха — дым и грязь,  
Лишь только б ехать, ехать, ехать,  
Лишь только б ехать — вдаль несясь.

Неудержимо вдаль катиться —  
Навстречу лугу, пихтачу...  
Едва прикрою веки — снится:  
Гоню, качу. Скачу. Лечу!

И вот однажды, в волнах гула,  
В разноголосье страдных дел,

### ДВА ДЕРЕВА

И размах. И простор. И свобода.  
И дрожащей реки тептва...  
Разве диво, что в глубь небосвода  
Здесь воздушная взмыла листва?

Духоты и огня средоточье.  
Истязанья и муки предел...  
Разве диво, что камня жесточе  
Здесь изогнутый ствол затвердел?

И сошлись в поединке кровавом —  
Два чужих, незнакомых досель.  
И скрестились — две доли, две славы  
Двух чужих, незнакомых земель.

\* \* \*

На тяжкий твой венец терновый  
Гляжу сквозь дымные года  
Из края дальнего, другого,  
В каком ты не был никогда.

На утешительное слово  
Надежды, гордости, стыда  
Гляжу из возраста другого —  
В каком ты не жил никогда.

На труд суровый, свод свинцовый,  
На подвиг горной высоты

Так на ухабе тряхануло —  
Что я над кузовом взлетел.

И тут же резкой, цепкой силой,  
Крылатой силой ветровой  
Меня неслышно подхватило.  
Листком взметнуло над землей.

И — над лесами и лугами,  
Над переливами полей.  
И — над степями и горами.  
И все быстрее, быстрее, быстрее...

И кровь от ветра стынет в жилах.  
И нечем глаз от звезд прикрыть.  
И тянет даль — и я не в силах  
Уже полет остановить.

Он час — и день — и годы — длится.  
За свой слепой порыв плачу.  
...Глаза прикрою — счастьем снится:  
Весенний день. И я лечу!

— Уступи — я легко и летуче.  
И рассветную свежесть даю.  
— Отступи. Я черно и колюче.  
И несметную силу таю.

— Покорись. Мне природа судила  
Украшать зеленеющий дол.  
— Преклонись! Я прошло сквозь гор-  
нила  
Есех земле предназначенных зол.

— Но за мной вековая святыня —  
Благодатное солнце мое...  
— А за мной — мировая пустыня.  
Что-то значит — зиянье ее.

Гляжу из времени другого —  
В каком и в мыслях не был ты.

Другие в мир пришли печали.  
И холод в мир пришел другой.  
И с каждым годом — дале, дале,  
Древней и дале голос твой.

И с грустной ясностью во взгляде —  
Неизбежимо в каждом дне,  
Неотвратимо в каждой пяди! —  
Ты путь подсказываешь мне.

\* \* \*

Нё взлетал высоко.  
Не пленялся с ходу.  
Как зеницу ока  
Я берег свободу.

И не лгал жестоко —  
Ничему в угоду.  
Как зеницу ока  
Я берег свободу.

Я берег свободу —  
Как зеницу ока.  
Как саму природу!  
Как исток истока!

Приосекся голос.  
Все дымком оделось.  
Отошла — веселость.  
Отступила — смелость.

Ива оскорбилась.  
Липа осердилась.  
Речка отстранилась.  
Гречка — отдалилась...

И сама свобода,  
Улыбнувшись мило,  
Мне пропела гордо:  
— Разве я — просила?

*Виктор Боков*

\* \* \*

Леса вековые  
Своею осанкой горды.  
Они — часовые,  
Охранная служба воды.

Над кронами сосен  
Недвижимый хищник парит.  
— Чего тебе, коршун?  
— Мне крови!  
— А дробь не хочешь, бандит?!

Двина обнажает  
Свой белый, сыпучий песок.  
А я уезжаю  
Сегодня  
На Дальний Восток.

Даю телеграмму,  
Помечены дата и рейс.  
А над берегами  
Старинной гравюрой лес.

Зовет меня море,  
Мой сейнер, старик «Ромодан».  
И только об этом  
Поют на столбах провода.

Какие просторы,  
Какие большие концы!  
Но их нам оставили  
Наши отцы.

А, вот и Камчатка!  
Какой голубой небосвод!  
Океан закачался,  
Колыбельную песню поет!

\* \* \*

Полная машина девок!  
Выгнута дугою бровь.  
Молодым не надо денег,  
Их могущество — любовь.

Дверью хлоп — и вышли к липам,  
Оккупировав лесок.  
Туфли модные со скрипом  
Поскрипели и — молчок!

Слышны только поцелуи,  
Охи, вздохи на закат.  
Знают ли они цену им?  
Всё для них пока за так.

Только старые на дачах,  
На своих больных ногах,  
Ходят, тонут в неудачах,  
В сбереженьях и в долгах!

## КНЯЗЕВО

Мне нравится деревня Князево  
Мычаньем, жалобой телят.  
Там летом дров готовят на зиму,  
Зимой телеги мастерят.

Хочу упомянуть Терентьича  
И заодно представить вам.  
Где встанет он, там конференция  
По всем вопросам и делам.

Он грамотный, он был под Прагою,  
Он воевал, он инвалид.  
Он донкихот в войне с неправдою,  
Душа его за все болит.

Прислушайтесь — да это колокол  
Новгородский, вечевой.  
Все делает Терентьич с толком,  
Вся жалоба: — Да ничего!

Мы выдюжим и непогодушку,  
И засуху, и недород.  
А ну, гармонь, давай «Коробушку»! —  
И первый сам плясать пойдет.

Вчера он целый день на клевере,  
Сегодня огребал рои.  
Болезнь, как молодые, ленью  
Терентьич боже сохрани!

— А Князево неперспективное! —  
Терентьич как-то мне сказал.  
И грустью летописца Пимена  
Меня под яблоней обдал.

Мычит буренушка колхозная,  
Почтарь ведет велосипед.  
А у меня душа тревожная:  
Сломают Князево или нет?!

## СВИДАНЬЕ

Что за город предо мной?  
Я стоял и думал долго.  
Что за речка бьет волной?  
Неужели это Волга?

Дорогая! Это ты  
Изумрудом изумляешь.  
Как бурлак, несешь плоты,  
Как народ, не унываешь.

В древний, русский город Тверь  
Бьешь волной тысячетонно.  
Друг мой Волга, верь не верь,  
Я люблю тебя огромно.

Ты сними с меня недуг  
Песней русскою, раздольной.

Или я тебе не друг?  
Или я не твой разбойник?

Дай мне в руки два весла.  
Пробуди восторг звериный,  
Чтоб затеяла весна  
Ток в крови тетеревиный.

По замашкам я волгарь,  
Побратим с волной-гулёной,  
Ну, давай еще ударь  
В днище лодки просмолённой!

Пароходы, корабли,  
Голубая даль рассвета...  
Жизнь, прошу тебя, продли  
Для меня свиданье это!

## Юрий Кузнецов

### СТИХИЯ

Я видел рождение циклона  
На узкой антильской гряде.  
Темнело небесное лоно,  
Морщины ползли по воде.

На ощупь свежела чужбина.  
Я видел: за несколько дней  
Уже поднималась щетина  
У сбившихся в кучу свиней.

В щетину входила щетина,  
И кровь выступала на ней.  
Все кровное в мире — едино...  
Вжимались друг в друга тесней.

Циклон, оглушая долину,  
Потом налетел и на них,  
Передних вогнал в середину,  
А ту проломил в остальных.

Но сам по себе остывает  
Порыв не от мира сего.  
И тяга земли отпускает  
Небесный избыток его...

Не так ли явление поэта  
Не знает своих берегов?  
Идет во все стороны света,  
Тревожа друзей и врагов.

Щетину находит щетина,  
И сердце о сердце стучит.  
Все розное в мире — едино,  
Но только стихия творит.

Ее изначальная сила  
Пришла не от мира сего,  
Поэта, как бездну, раскрыла  
И вечною болью пронзила  
Свободное слово его.

### БРАТ

В дырявой рубашке родился он  
И гаркнул на мать свою:  
— Почто прервала мой могучий сон,  
Ведь я побеждал в бою?!

— За что ты сражался? — спросила мать.  
— За правду, — ответил он.  
— А с кем ты сражался? — спросила мать.  
— Со всем, — ответил он.

— А где твоя правда? — спросила мать.  
— Во мгле, — прогремел ответ. —  
Я в лоно твое ухожу опять —  
Оттуда мне брежит свет.

Обратно ушел, чтоб продолжить бой.  
Сквозь лоно прошел незрим,  
Откуда выходит весь род людской;  
Но он разминутся с ним...

Когда я увидел, что я рожден,  
Я крикнул на мать свою:  
— Почто прервала мой глубокий сон,  
Ведь я побеждал в бою?!

— За что ты сражался? — спросила мать.  
— За правду, — ответил я.  
— А с кем ты сражался? — спросила мать.  
— С братом, — ответил я.

— А где твоя правда? — Ее не видать  
Отсель, — мой ответ гласил. —  
Но если я буду с тобой болтать,  
Мой враг наберется сил.

Я в недра земли ухожу свистя,  
Как сорок веков назад.  
— Останься, надежда моя! Дитя!..  
— Я жду! — отозвался брат.

### ЧИСТЫЙ СНЕГ

Все короче погожие дни,  
Все длинней моя тень за оградой.  
Снежный ком из своей простыни  
Ты слепила: — Держись или падай!

И со смехом метнула в меня.  
Передачу твою удалую

Я поймал среди ночи и дня,  
Словно белую грудь молодую.

Я поймал ее круглую дрожь.  
Как рука у меня трепетала!  
— Защищайся, а то пропадешь!..  
Защищалась, пока не пропала.

## ФОНАРЬ

Где мудрец, что искал человека  
С фонарем среди белого дня?  
Я дитя ненадежного века,  
И фонарь озаряет меня,

Полный шар распыленного света  
Поднимает в лесу и в степи.  
Не дает никакого ответа,  
Но дорогу сулит по цепи.

Вкруг него порошок и круглится  
Туча птиц и ночной мелюзги.  
Метеорным потоком роится,  
А за роем не видно ни зги.

Заливайтесь, античные хоры!  
На смолу разменялся янтарь.  
Я прошел за кудыкины горы  
И увидел последний фонарь.

И услышал я голос привета,  
Что напомнил ни свет ни зарю:  
— Сомневаюсь во всем, кроме света!  
Кто пришел к моему фонарю?

— Человек! — я ответил из ночи.  
— Человек? Заходи, коли так! —  
Я увидел горящие очи,  
Что глядели из света во мрак.

Не тужи, моя жизнь удалая,  
Коли влипла, как муха в янтарь!  
Поддержи меня, сила былая!..  
И вошел я в горящий фонарь.

Я увидел прозрачные мощи,  
Волоса или мысли оплечь.  
Я вперился в безумные очи,  
Я расслышал бессвязную речь.

Не увидеть такого от века,  
Не распутать такого вовек:  
Он искал днем с огнем человека,  
Но в огне должен быть человек!

Поддержи меня, сила былая!  
Я фонарь проломил изнутри.  
И народные хоры, рыдая,  
Заливались до самой зари:

«За приход ты заплатишь судьбою,  
За уход ты заплатишь душой...»  
И земной и небесной ценою  
Я за все расплатился с лихвой.

Сомневаюсь во всем, кроме света,  
Кроме света, не вижу ни зги.  
Но тягчит мое сердце поэта  
Тьма земной и иной мелюзги.

## МИРОН

Скажи, родная сторона,  
О чем шумит твоя сосна?..  
Кирпич плывет по морю,  
Кругом открытый горю.

Невесть откуда выпал он,  
Могучим ветром занесен,  
Иль от стены Китайской,  
Иль от горы Синайской.

На кирпиче стоит Мирон,  
Полна головушка ворон.  
Он сети разбирает  
И громко распевает:

— Эгей, мне с этим кирпичом  
Лихая встреча нипочем!  
Плыви, моя основа,  
До берега крутого!..



## Геннадий Русаков

\* \* \*

Зерно просохло и прогрелось.  
Соломой выстланы двory.  
Входи, мучительная зрелость  
моей эпической поры!

Мы будем пить с тобою воду,  
кулеш научимся варить  
и даже времени в угоду  
лукавых слов не говорить.

О, тяга быть самим собою,  
копить судьбу по пятаку

\* \* \*

У, как заплачу-завою,  
как затоскую навзрыд:  
«Где ты закидан травой,  
где ты закопан-зарыт?»

Где ты мне только помстилась,  
нянчила, пела, ждала,  
а полетела — спустилась,  
прянула — встать не смогла?

Я ваш дичок придорожный,  
корка скоромного дня!»

\* \* \*

Из былого — из темного леса —  
мне приснился последний твой путь,  
погребенье за счет райсобеса.  
Ты хоть это мне нынче забудь!

Побирушка, шептунья, черничка,  
книгодея до смертного дня,  
что ты, бабушка, малая птичка?  
Отвернись, не гляди на меня.

Вон опять, без угла и ночлега,  
малолетняя бродит душа —

\* \* \*

Ходит птица, стрижет вышину,  
на две плоскости мир рассекая.  
Я себе не возьму ни одну,  
ни к чему мне дележка такая.

и даже сердца перебои  
упрямо вписывать в строку!

На что мы в этом трудном мире,  
где мы не сеем и не жнем,  
не учим праведной цифири,  
а лишь пророчествуем в нем?

На страдном поле человечьем  
мы непричастными стоим.  
И оправдаться бы, да нечем.  
Вот разве словом... Только им.

Господи, сколько же можно?  
Освободи ты меня!

Дай мне спокойного крова,  
легкого хлеба-питья.  
Я замолчу — ни полслова.  
Что тебе память моя?

Я ведь уже забываю.  
Так, бормочу в забытьи...  
...Поздно я вас отпеваю.  
Поздно, родные мои.

три привода, четыре побега,  
гривна прибыли, взятой с гроша.

Это я у судьбы на примете.  
Ты к такому покличься, к тому!..  
Только двое нас было на свете.  
Хорошо ж мне теперь одному!

Как мне перед тобою виниться?  
Плачь не плачь — все равно не  
простишь.  
...Что ты, бабушка, малая птица,  
мне оттуда в ответ шелестишь?

Мой зеленый, лукавый, родной,  
мой пушистый, сиротский, летучий!  
Поиграй хоть немного со мной,  
пошуту, побалуйся, помучай!

А непрочная птица не в счет  
Я гляжу прожитому вдогонку —  
и смертельное время течет,  
пробивая в пространстве воронку.

Ну-ка, время, недобрая мать,  
посмотри, как я ловко умею  
у минувшего кости ломать  
и грядущему виснуть на шею!

Посмотри, как я ластюсь к нему,  
обмираю и тычусь в колени;  
только чтоб не стоять одному  
на черте между двух поколений!

Но не выиграть этой гоньбы  
и воздушной воды не напиться.  
И к ладоням огромной судьбы  
не приладиться, не прилепиться.

## Владимир Павлинов

### ЛИРИКИ

Поэты, сверстники живые  
всемирных и земных тревог,  
мы не забыли, что впервые  
Октябрь назвал Великим — Блок?

Что неустроен белый свет?  
Что мир хрипит и кровью плачет,  
кипит? И в этом мире, значит,  
слоновой кости башен — нет?

Что всюду смертный бой идет,  
слепой — и зримый. Злой — и лютый.  
Так у березы пресловутой  
чего мы водим хоровод?

Что в мире нет любви верней —  
и потому нет слов бесплотней?  
Что обпажение корней  
нужней, чем клятв привычных сотни?

И — оправданье ли для нас  
то, что пока локальны войны?  
Мы так внушительно-спокойны!  
Так зорок мастерский наш глаз!

### КОНЕЦ ПУРГИ

Вой ветра — или волчий вой?  
Душа сжимается от боли...  
Одна звезда — над головой,  
одна могила — в чистом поле.

Снег придавил к земле сады,  
наполнил уши вой унылый.  
И свету нет от той звезды,  
и нет креста над той могилой.

Змеится белая трава,  
пружина-смерч по снегу скачет,  
и слабый крик: «Уа... Уа...»  
То волк — или ребенок плачет?

Береза, ты молчишь скорбя.  
Качаешь головой зеленой.  
Ну и заездили тебя  
есенинские эпигоны!

Неужто в наши дни, скажи нам,  
свет на тебе сошелся клином?  
За наши сборники берусь:  
«береза — Русь», «береза — Русь»!

В березе ли вся мира боль?  
И есть ли смысл в неглавной боли?  
Не слышим радио мы, что ли?  
Газет не покупаем, что ль?

Мы — благодущны и тверезы.  
А век-то физика творит!  
Какне, к черту, тут березы?  
Земля и рвется и горит!

Напалм. Землетрясение. Сель.  
Нужда ли — жизнь клевать по крохе?  
Осмыслить душу, суть эпохи —  
не наша ли, поэты, цель?

Нет, это — ветер... Или волк?  
В потемки вслушиваюсь чутко:  
на низкой ноте вой умолк,  
и делается тихо, жутко.

Белесой мглой заметена  
пустая белая дорога.  
Стоит такая тишина,  
что хочется поверить в бога!

Снега, сверкая как хрусталь,  
уводят вдаль светло и прямо.  
И в сердце — легкая печаль.  
И губы сами шепчут: — Мама...

## Константин Ваншенкин

### БАЛЛАДА О ГИГАНТСКИХ ШАГАХ

Гигантские шаги! —  
С веревкой столб над лугом,  
И делают круги,  
Кто хочет, друг за другом.

Разломленная тишь,  
И в слитном пестром гаме  
Раскрученно летишь  
Гигантскими шагами.

Но вот скажите мне —  
Понятно ль для потомка,  
Что значит на войне  
Попутная трехтонка?

Мелькнула по леску,  
Потом по косогору.  
Я выскочил к мостку  
И замахал шоферу.

Он чуть притормозил,  
Но не удобства ради.  
Я ж, не жалея сил,  
Успел схватиться сзади.

Но тело через борт  
Не перекинуть сразу.  
А он, спеша как черт,  
Надал тотчас же газу.

### ЛЕГАЧЕВ

Легачев под перестуки  
Словно длящихся дождей  
Занимался на досуге  
Выпрямлением гвоздей.

Он их дергал между делом  
Во дворе, где жизнь своя,  
Из досок, крапленных мелом,  
Из обрезков и старья.

Доставал он днем осенним  
Все, что за лето нашлось,  
Лишь отбрасывал с презреньем  
Проржавевшие насквозь.

Уже стемнело чуть.  
И бедными ногами  
Я мерил этот путь  
Гигантскими шагами.

По двадцать метров шаг.  
Паря почти как птица.  
А ветер пел в ушах,  
И страшно опуститься.

Стонал карданный вал  
И на ухабах ухал.  
Я сбоку оставлял  
Дымки походных кухонь.

Я несся все быстрее,  
Мчал мимо — как спросонок —  
Зенитных батарей  
И бомбовых воронок.

Когда ж остановил  
Шофер свою трехтонку,  
Мне не хватило сил  
Дать ходу потихоньку.

Он пнул ногою скат,  
Пошел к рядку палаток.  
Заметил: — А, солдат,  
Доехал? Ну, порядок!..

А потом, пристроясь боком, —  
Вы видали чудака? —  
Распрямлял на невысоком  
Пьедестале чурбака.

Ясно, что не для продажи  
Их готовил он, сопя.  
Явно, что не для себя  
Занимался этим даже.

Чтобы я не мог забыть,  
Говорил он мне раз десять,  
Не хочу ли гвоздь забить,  
А на гвоздь пейзаж повесить?..

## ШМЕЛЬ

Винтовая лестница бутона  
Делалась все уже и тесней.  
Пестрый шмель, бубнящий  
однотонно,  
Опускался с важностью по ней.

Вскоре оказался он под спудом,  
В центре розы, в плотности ветка.  
И тогда с отчаяньем и гудом  
Стал трясти конструкцию цветка.

Падал набок и сгибал дугою  
Тонкий стебель из последних сил,  
Но, дрожа пружиною тугою,  
Тот его обратно возносил.

А когда, измотан долгой схваткой,  
Резко заглушил свой баритон  
И притих в темнице этой сладкой,—  
Сам раскрылся медленно бутон.

*Николай Тихонов*  
1896—1979

*Наши публикации*

### ПЕСНИ КАЖДОГО ДНЯ

Чем бы ни занимался в своей долгой жизни Николай Тихонов, он всегда оставался поэтом, всегда умел за повседневностью увидеть неожиданный поворот, заново пережить радость, разделить с тобой тревогу или печаль. «Марсианская жажда творить» определяла не столько творческий темперамент поэта, сколько само состояние этого удивительного человека. Ему до всего было дело, все интересно, и он раздаривал себя с радостью и щедростью, хотя и сам потрудился, пожалуй, за пятерых.

Помню, как-то мы с Сергеем Орловым просидели весь вечер у него на даче в Переделкино и читали стихи наших товарищей. Читали и не знали, что у него самого в ящике письменного стола лежит уже объемистая рукопись новой книги. Он хотел назвать ее «Песни каждого дня». Некоторые стихи из этой книги уже появились в периодической печати. «День поэзии» предлагает читателям еще два стихотворения из нее. Они написаны человеком, которому шел уже девятый десяток. Но разве есть возраст у настоящего поэта?

Д. м. Х р е н к о в

### НОЧЬ В РЕПЕТЕКЕ

Вы шли в глуши пустынной Репетека,  
Где на ветру дымит барханов строй  
И в тишине могильной лес-калека,  
Причудливо изогнутый порой.

Без листьев и без тени саксаулы...  
Вас жажда приключений привела  
В край, где зной боится только гула  
Песчаной бури грозного крыла.

Где с допотопной яростью дракона  
Варан на вас уставил тусклый взор,  
Пустынной ночью мутно с небосклона  
Летела пыль на гаснущий костер.

И смутные мечты владели вами —  
Что видите кому-то в дальнем сне,

И этот дальний жаркими словами  
Запишет сон в полночной тишине.

Но странно, что из лет далеких вынут  
Оживший ныне сходный эпизод,—  
Был надо мной такой же опрокинут  
Таинственной пустыни небосвод.

И, засыпая, смутными мечтами  
Я полон был. В пыли костер погас,  
Глядело небо звездными очами,  
Но на земле не мог я встретить вас.

Быть может, вы летели над пустыней,  
Светясь сквозь пыль в барханные ряды,  
И мне приснился этот тонкий, синий,  
Летающий свет невидимой звезды!

ПЕРЕЧИТЫВАЯ НОЧЬЮ  
СТИХИ КНИГ  
«ЗИМНЯЯ БАБОЧКА»  
И «КНИГА ПЕСЕН»

Как будто снова  
Вьюга била в очи,  
И не было вас  
Ближе и родней,  
Когда читал я  
Час за часом ночью  
Страницы жизни,  
Вашей и моей.

Шемили сердце  
Беспощадно строки,  
Бросали в жар,  
Тревогой окружив,  
Но искренность  
Была такой глубокой,  
Дух жизни был  
И в темных безднах жив.

Вы рядом жили,  
Словно за оградой,  
Но мрак разбить  
Вам было суждено,

Вы были болью,  
Светом и отрадой,  
И видел я,  
Что вам не все равно.

Я пережил  
Страницу за страницей  
Весь сложный мир,  
Что вами сотворен,  
И этот мир —  
Он мне не будет сниться  
Лишь потому,  
Что врезан в сердце он.

Он навсегда  
Останется со мною,  
Как эта ночь,  
Когда мечта была  
Такою близкой  
И такой родною  
И ваше имя  
Гордо приняла!

---

*Сергей Викулов*

ПИСЬМО ДРУГУ В ДЕРЕВНЮ

Скотившись с маминой руки,  
потом с тесового крылечка,  
давно судьбы моей колечко  
летит по улкам городским.  
Летит...

И вот уж — наяву,  
а не во сне —  
мужик вчерашний,  
теперь я в городе живу,  
недалеко от телебашни.

Но не завидуй мне, старик,  
и на судьбу свою не сетуй:  
мир — он действительно велик,  
и рай повсюду, где нас нету.

Тебе, конечно, из полей  
житуха наша городская  
виднее, брат...  
Но ей-же-ей,  
она немножко *не такая*...

Ты влезь хотя б разочек сам  
в вагон метро, набитый туго,

как мы влезаем по утрам,  
тесня и тиская друг друга;

пройдись по улице пешком,  
где зычно рыкают моторы,  
и подыши хоть час душком,  
все время дышим мы которм;

попробуй с вечера заснуть,  
когда за блочною стеною  
как будто цех какой-нибудь  
работает без перебоя;

попробуй — и тогда поймешь,  
что ты в глуши своей запольной  
счастливей все-таки живешь,  
чем я в самой первопрестольной.

Да, это так: столица — мать!  
Мечта для каждого — столица!  
...А я хотел бы утром встать,  
сойти с крыльца, лопату взять  
и хоть на часик  
заземлиться...

\* \* \*

Певцу быть малодушным не пристало!  
Не может петь и жить он, мельтеша.  
Ведь ежели талант его кресало,  
то чем же быть должна его душа?

Кремнем!  
При этом — не наполовину!  
Кремень кресалу только лишь родня.  
Но не должна быть глиною:  
из глины  
не высечь искры,  
не добыть огня!

## ГЛУБИННАЯ ВОДА

Он знал, хозяин, что творил,  
когда колодец этот рыл  
поближе к огороду.  
Не уставая грунт копать,  
хотел глубинную достать —  
не верховую воду.

«Она, и верхняя вода,  
мокра, — шутил он иногда, —  
да не поставишь рядом.  
Пол только верхней-то помыть  
да огород когда полить,  
а чтоб на чай — не надо!

По-настоящему вкусна  
вода, которая со дна  
глубокого колодца.  
Хотя понятно, что она,  
поскольку все-таки со дна,  
труднее достается.

Но ведь п рыбку из пруда  
век не поймашь без труда!» —  
напоминал он часто.  
И вновь копал. И, пласт песка  
пройдя  
еще на полштыка,  
он взял и крикнул: «Баста!»

И опустил в колодец сруб.  
И вот, наградою за труд,  
впервые поднял воду.  
Отпив немного из ведра,  
сказал с улыбкой: «Ой добра!  
Не сыщешь сладче сроду!

Эй, подходите, кто с ведром!  
Всех наделю моим добром! —  
добавил, люд сзывая. —  
Не из заглохшего пруда  
моя, сограждане, вода:  
моя вода — ж и в а я!»

*Светлана Кузнецова*

\* \* \*

Родина, родина, родина...  
Словно творю заклинание.  
Красное, словно смородина,  
Слово кладу на заклинание.  
В горькой моей неизбежности  
Пусть, хоть полоскою узкою,  
Красное слово по снежности  
Вышьется вышивкой русской.  
Слово — зарею раздавленной,  
Прямо из космоса павшее.  
Слово — любовью раздаренной,  
Сутью непонятой ставшее.

Мощный пласт зеленоватой глины  
Студит ноги мне издалека.  
Сладостью кладбищенской малины  
Родина далекая сладка.

Сладким было давнее рождение.  
Верую, что сладкой будет смерть.  
Постигая это постижение,  
Я посмела многое посметь.

Допоздна долги перебираю,  
Долгий дом дозором обхожу,  
Вновь рождаюсь я и умираю  
На земле, которой дорожу.

Как добра добычливая тризна,  
Как добротны доводы ее.

### БЕССОННИЦА

Я загулов злых не сторонница,  
Не держу вина на столе.  
За какую вину бессонница  
Поселилась в моем жилье?

Оценила глазами цепкими  
Завершенность земных затей:  
— Оглянись, за лесами редкими —  
Ни учителя, ни друзей.

Оглянись, погляди попристальной —  
Ни жалельщика, ни родни.

### ГАДАНИЕ СВЕТЛАНЫ

Не дороги, а тропинки  
Побежали по судьбе.  
Начинаются воспоминки,  
Как поминки по себе.

Зажигаю я на святки  
Сине-черную свечу,  
Без опаски, без оглядки  
С темной силою шучу.

Ставлю зеркало в оправе  
Из литого серебра.  
Неразумный разум вправе  
Ждать от нечисти добра.

Потому не захотела  
Очертить последний круг.  
Потому сказать посмела:  
— Кто явился, тот и друг!

Мне любой в друзья годится.  
Нету нечисти числа.  
Несыть жадная садится  
У накрытого стола.

Пала в долю мне дороговизна,  
Дорого оплачено житье.

Посреди домашнего гулянья  
Скоро осень догорит дотла.  
Не вернуть былого достоянья  
Деревам, раздетым догола.

Не вернуть доверчивому саду  
Те цветы, что я боготворю.  
Это не в доuku, не в досаду,  
Это я в догадку говорю.

Дорогая даль моя нахмурена.  
Долголетье светит впереди.  
Сигарета тонкая докурена.  
На долины падают дожди.

До последней рискованной пристани,  
Одинокая, дотяни.

Оглянись, все давно заказано.  
Поспеш, отходя во тьму.  
Не услышано то, что сказано,  
И не надобно никому.

...Но. Сибирь — золотое донышко —  
Замаячила в стороне.  
Выходи поскорее, солнышко,  
Помоги отоспаться мне!

Начинает нечисть чары  
Залихватским говорком,  
Подымает нечисть чары  
С заграничным коньяком.

Подымает, мне в угоду,  
Все одно и то же вновь:  
Поверх моря — непогоду,  
Поверх сердца — нелюбовь.

Дарит полную поляну,  
Дарит полную луну.  
За подарками не встану,  
Даже рук не потяну.

Полуночную порою  
Не души своей мне жаль.  
За посулом, за игрою  
Вижу позднюю печаль.

Вижу позднюю дорогу  
Да порошу во полях.  
Вижу полностью, ей-богу,  
Всю поруху во друзьях!

## Борис Слуцкий

### ВНЕЗАПНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Жилец схватился за жилет  
и пляшет.  
Он человек преклонных лет,  
а как руками машет,  
а как ногами бьет паркет  
схватившийся за свой жилет  
рукою,  
и льется по соседу пот  
рекою.

Все пляшет у меховщика:  
и толстая его щека,  
и цепь золотая,  
и белизна его манжет,  
и конфессиональный жест —  
почти летая.

И достигают высоты  
бровей угрюмые кусты

и под усами зыбко  
бредущая улыбка.

А я — мне нет и десяти,  
стою и не могу уйти:  
наверно, понял,  
что полувек не пройдет  
и это вновь ко мне придет.  
И вот — я вспомнил.

Да, память шарит по кустам  
десятилетий. Здесь и там  
усердно шарит.  
Ей все на свете ничо чем.  
Сейчас бабахнет киршичком  
или прожекторным лучом  
сейчас ударит.

### ЛЮБИМАЯ ОБИДА

Старые обиды не стареют.  
Ты стареешь, но обида — нет.  
Снова потихоньку душу греет,  
полегоньку, словно звездный свет.

Не сноситься ей, не прохудиться!  
До конца судиться и рядиться,  
до смерти качать права

она,  
старая и слабая,  
должна.

Не подвержена нисколько хворости  
и не уставая от труда,  
не имея паспортного возраста,  
старая обида — молода!

Кулаком слабеющим машу, —  
верно, недругу не быть им биту, —  
восхищенные стихи пишу  
про свою любимую обиду.

\* \* \*

Новые пороки и достоинства  
поздно заводить.  
Новые привычки еще можно.  
Даже страсти новые, к примеру —  
филателию.  
Даже мысли новые, к примеру —  
о бесцельности усилий.

Даже новую обувь —  
белые матерчатые тапочки.  
Все это  
еще мне предстоит.  
Расширять же круг друзей  
и заводить  
новые пороки и достоинства  
ни времени, ни смысла больше нет.



## ПОМЕТА ПОД СТИХОТВОРЕНИЕМ

Все равно, где написано,  
хоть в кювете,  
хоть идя на дно,  
хоть болтаясь в петле,  
можно ставить внизу:  
на белом свете —  
или даже так:  
на черной земле.

Впрочем, магия места происшествия  
входит, словно оркестр в состав полка,  
в ритуал восхождения или шествия  
до тех пор,  
восходишь ты пока.

Входит, словно твое лицо на фото,  
словно дружбы твои  
и твои вражды,  
словно то, что ты не любишь охоты,  
но зато рыбаки тобою горды.

А когда твои книги всегда в продаже,  
почему-то  
становится всем все равно,  
что тебя вдохновило,  
какие пейзажи,  
и недавно написал  
или давно.

### *Наталья Астафьева*

#### НЕ ПОВЕРЮ!

Погибнут первыми сосна и ель,  
кедр, пихта, лиственница, туя —  
их губит облученье пять рентген.  
Потом пернатые: дрозды, скворцы, синицы,  
щеглы, чечетки, зяблики, кукушки,  
и гуси-лебеди, и журавли,  
и аисты, и цапли, и пингвины,  
колибри, страусы, попугаи,  
орлы и дрофы — все другие птицы.  
А насекомые останутся звенеть,  
скакать, ползать, плавать, летать,  
жужжать, жалить, шуршать — кишеть.  
Кошмар: пашествие червей, вшей,  
жуков, стрекоз, мух, пауков,  
комаров, блох, тараканов,

клопов, муравьев, молей, тлей,  
скорпионов, сороконожек.  
Подумай только, мы не детей пугаем,  
обсуждаем всерьез  
возможное убийство мира,  
исчезновение жизни на земле.  
Пробьется жизнь,  
и снова колесо  
докатится до зверя, человека...  
Никогда я не поверю,  
что на этом обрывается развитие:  
на странном и несовершенном,  
на полугаде, полутигре,  
на дерзновенном полубоге,  
на мне — на полном силы человеке!

\* \* \*

Входила голубенка,  
выстрадала столько дней —  
будто малого ребенка,  
Иисуса из яслей.  
Открывала толстый клюв,  
изо рта поила,  
был он мал и бестолков —  
потому любила.  
Гулькал, терся тонкой шеей,  
округлялся, хорошея.  
Голубенок, голубок  
на руке пригрелся,  
улетел — словно комок  
оторвал от сердца.  
Кошка съела? Ни следа,  
пусто на балконе,  
оторвался навсегда  
от моей ладони.

Сергей Николаевич Марков — замечательный поэт, прозаик, ученый — был членом редколлегии «Дня поэзии 1979», работал до последнего дня.

В его архиве сохранились стихи, отобранные им для нашего сборника 1980 года. Воспоминания о сибирском поэте Петре Драверте Сергей Николаевич также готовил в «День поэзии» для рубрики «В воспоминаниях современников».

### КОНЕЦ АВАНТЮРИСТА. 1921 ГОД

Через реку́ на черной лодке  
С подложным паспортом в подметке  
Я плыл в Россию, как домой.  
Всю жизнь не подводила водка,  
Глотал ее, как соль селедка,  
Но вот прекрасная красotka  
Меня сосватала с тюрьмой.

Даю вам, судьи, в этом слово,  
Бродил от Данцига до Львова,  
Но не встречал такой красы.  
Увидел раз и встретил снова,  
Не бровь, а черная подкова,  
Под яркой шалью две косы.

По темным улицам ходили,  
Сидели в душном «Пикадилли»,  
Трещал мерцающий экран.  
На нем в столбах высокой пыли  
Бандит летел в автомобиле,  
Над ним кружил аэроплан.

Прошла счастливая неделя,  
И в темной комнате отеля  
Мы целовались неспроста.  
Себя ругал я: «Пустомеля,  
Не видел этакого зелья,  
Ведь похоронят без греста!»

Она шептала мне: «Доверься,  
Люблю до гроба, без затей».  
Я выдал планы всех диверсий  
И дислокацию частей.

Наутро окна стали мглисты,  
И осторожные чекисты  
Отмычкой открывали дверь;  
Потом, нажав на все регистры,  
Вошли учтивы и речисты.  
Что делать, думаю, теперь?

Один спросил, усевшись рядом:  
«Не вы ль с карательным отрядом  
Пришли однажды на Мезень?  
И там, командуя парадом,

С английским капитаном рядом  
Пугали город целый день?»

Но, чур, — не врать, нажмем на  
кнопку.

Кто брал под Оренбургом сопку  
И был представлен Колчаку?  
Кто динамит подсунул в тошку,  
Кто бомбу бросил в Центропробку  
И скрылся с пулею в боку?

Теперь пожалуйста к нам бриться,  
Вас ждет просторная светлица  
С прекрасным видом из окна,  
Натерта воском половица,  
Весь день не сможешь нахвалиться,  
Кругом — уют и тишина».

Она, наверно, хохотала,  
А в коридорах трибунала,  
Где с вечера зевал народ,  
Старуха квасом торговала...  
Гремел о кознях капитала  
Судья, меня вгоняя в пот.

А прокурор встает высокий,  
В чернилах вымазаны щеки,  
Лицо — как синяя печать.  
И, открывая рот широкий,  
Цедит оборванные строки  
И заключает: «Расстрелять».

А в зале — крашенные губы,  
Ячменным квасом пахнут шубы,  
Наперевес — тяжелый штык.  
Сейчас неволью стиснешь зубы,  
Звериный подавляя крик.

А вы, противники, хотя бы  
Уведомили наши штабы,  
Что я покинул этот свет,  
Попавшись глупо, — из-за бабы,  
И хоть и все мы в этом слабы,  
Солдатской чести в этом нет.

1929

## БОЮСЬ, ЧТО ДЛЯ ВАС, ДОРОГАЯ...

Боюсь, что для вас, дорогая,  
Я только — далекая тень,  
На карте Полярного края  
Найдите мизинцем Мезень.

О, северные пределы,  
Поморская, светлая мгла!  
Здесь женщины белотелы  
И холодны, как камбала.

Они суровы и хмуры —  
Белесые дочери шхун,

И вместо стрелы Амура  
Здесь нужен китовый гарпун.

Здесь сила любви многоликой —  
Подобье скупого огня.  
Лукавою голубикой  
Они накромят меня.

Они спокойны, как рыбы,  
Но вот уместный вопрос:  
Вы нос наставить смогли бы  
Длинней, чем Канинский Нос?

## ДРАВЕРТ

О Петре Людовиковиче Драверте я слышал еще в ранней юности от своей тетки Александры Сергеевны Козыревой, которая когда-то была слушательницей Высших женских курсов в Казани. Она рассказывала мне, что о Драверте тогда ходили легенды.

Из рассказа явствовало, что Драверт принимал участие в революции 1905 года, был отъявленным революционером, несмотря на то что он принадлежал к роду, далекому от всяких революционных идей. Его отец был главой казанской судебной палаты.

У меня сложилось представление о Драверте как о смелом революционере, который утвердил красный флаг на здании Казанского университета. И он за это подвергся ссылке в Якутский край.

В Якутском крае Драверт превратился в строгого красивого поэта Севера, там Драверт сделался ученым, там он создал свои стихотворения и там, по существу, началась его большая литературная жизнь.

Драверт — невысокий человек, очень живой, с бородой всегда, и только почему-то в очень зрелом возрасте сбрил ее, может быть, чтобы казаться более юным.

Мои встречи с Дравертом происходили в Омске, причем некоторые встречи были удивительны и необыкновенны.

Я жил у Леонида Мартынова на улице Красных зорь. У меня не хватило папирос. Я пошел покупать папиросы к железному мосту.

Вдруг некто, уже были сумерки и видно было плохо, говорит мне:

— Тише.

Человек, который мне это сказал, блестит очками, а голос замечательно знакомый, но я не могу решить, кто это. Я говорю:

— А почему тише?

— Следуйте впереди меня, я пойду сзади вас.

— Кто вы такой?

— Неужели вы меня не узнаете, я же Леонид Алексеевич Кулик.

Кулик — это искатель метеоритов, с которым я был очень хорошо знаком. Я говорю:

— Почему же такая конспирация, черт возьми?

— А вы газеты плохо читаете, не знаете, что было в Пенсильвании?

— А что было в Пенсильвании?

— В Пенсильвании один ученый вез образцы метеорита, открытого им. А один ученый напал на него и проломил ему череп.

Я говорю:

— У нас черепов ломать не станут, идемте спокойно и рядом.

— Нет, я рядом не пойду. Идите вперед.

И вот под конвоем Кулика я дошел до великолепного здания Сибирской академии.

На пороге нас встретил Драверт, торжественный и даже в сюртуке и белой манишке. Он провел нас, усадил за стол, поднял руку и сказал:

— Нарекую сей метеорит Тунгусским!

И совершилась торжественная церемония нареkania метеорита, на которой я присутствовал в качестве своеобразного свидетеля.

Я очень оценил внимание Драверта, внимание Кулика, остальное было смешным и трогательным эпизодом нашей встречи.

Потом мы пошли к Драверту. У Драверта все привлекало к себе внимание. В кабинете у него висела огромная тунгусская стрела вместе с самострелом и еще какие-то необыкновенные сибирские редкости. Мы в тот вечер долго говорили о Сибири, было очень интересно и хорошо.

Мне тогда уже показалась очень любопытной большая разносторонность интересов Драверта. Тут и изучение якутского национального театра, тут и статьи об организации исто-

рико-литературного музея в Сибири, тут и статьи о снежном человеке, как мы называем это загадочное существо теперь, а его Драверт нашел когда-то в Якутии.

Есть статьи Драверта о возможности нахождения в вечной мерзлоте останков первобытного человека в Сибири. Библиография его произведений обширна, очень волнует. Еще в 1915 году он изучал, ни много ни мало, радиоактивные элементы в Сибири. Я это особым образом подчеркиваю, и у него существуют научные работы на эту тему.

В начале нашего века он опубликовал статьи о бериллах и изумрудах в Сибири. И одновременно со всей этой большой научной работой он постепенно рождался как поэт. Еще в 1908 году он выпустил книгу «Ряды мгновений», потом выпустил книгу стихов «Под небом якутского края». В Казани вышла книга стихотворений Драверта, это было в 1913 году.

Драверт получил полную возможность публиковаться в советской печати в первые годы существования советской власти. Там мы видим его стихотворения, там мы видим его научные статьи. Они как в зеркале отражают его большую и интересную работу.

Драверт занимал общественные должности, еще в 1919 году он был членом Российского географического общества, а в 1922 году был президентом филиала этого общества в Омске. И в качестве Драверта географического я его знал, о чем вы можете судить по описанному ранее случаю с Куликом.

Помню, цветет сирень, весна, дует теплым воздухом с Оби и вдруг идет Драверт. Драверт в крылатке, уже без бороды, а с ним под руку дама в лиловом.

Я был молод, не знал, как за дамами ухаживать, даже о чем говорить, с чего начать. А Драверт говорит, обращаясь ко мне:

— Наша гостыя дорогая...

— А кто?

Он мне шепчет оглушительно:

— Графиня Витте.

Шок! Двадцатые годы...

Я и так и этак к графине. А он:

— Графиня! Бог должен вас благословлять, ибо он вам такую юдоль предоставил. Это прекрасная Сибирь!

Действительно Сибирь, действительно Драверт, действительно в крылатке, сирень, юный поэт... Она просит объяснить, что я пишу. Я что-то ей лепечу. И так мы до штаба Сибирского военного округа идем километров пять с неизвестной целью.

Графиня приехала в Сибирь в ссылку.

Чтобы окончательно прельстить графиню Сибирью, Драверт стал читать свои стихи:

Только здесь, на просторах Сибири,  
Наклонившейся к тундрам великим,  
Зреют лучшие ягоды в мире,  
Ароматом проникнуты диким.

И графиня смотрит Драверту в рот, как будто собралась варить с ним варенье из морошки.

Драверт был очень доброжелательным, очень любил литературную молодежь. Леонид Мартынов, ваш покорный слуга, Евгений Забелин, когда собирались в Омске, всегда в сопровождении Антона Сорокина шли к Драверту. Там слушали его стихи, слушали необыкновенные рассказы о его жизни, об исследованиях Сибири.

Видимо, он оставил очень заметную черту в исследовании Сибири, по-видимому не все еще собрано и теперь. Он воспел приметы нового времени: корабли Карской экспедиции, рельсы великого пути, устремившиеся в сторону Туркестана, рудокопов, проникших в недра сибирских гор...

В стихах Петра Драверта жила Сибирь со своими свершениями и чаяниями, необъятная страна с ледяными морями, темно-зеленой тайгой и полынными степями.

Стихи его просто замечательны и удивительны по своей сути.

Вот одно из стихотворений Драверта:

Самоедскую девушку с круглым лицом  
Одарю я, в знак дружбы, ножом и кольцом.  
Знаю: если полюбит она, —  
Выпьет чашу со мною до дна.

И пойду в ее дымом пропитанный чум,  
Где не слышен ни фабрик, ни города шум,  
Скажет тихо с порога «войди»,  
Знаю — буду у ней на груди.

И хотя не к своим я пришел очагам,  
Здесь не выдадут гостя для плена врагам.  
Святы тундры законы для всех,  
Грех измены — неведомый грех...

Ах, остаться бы тут до конца, навсегда  
И водить тонконогих оленей стада,  
Серебристую нельму ловить  
И на лыжах по насту скользить.

Самоедская девушка! Доброю рукою  
Полог ветхого чума скорее закрой;  
Сердце страстью забилось, избывши беду,  
От тебя не уйду!

Вот стихи «Сибирий»:

Как звенят вдохновенные крылья  
В завершающий светлый момент! —  
Неизвестный еще элемент  
В енисейском берилле открыл я.

Дал ему я Сибирий название  
В честь его материнской страны,  
Где в лучах неостывшей луны  
Намечалось хребтов очертанье...

Кто-то шепчет: «А вдруг это сон,  
И проснешься ты скорбным и бедный»;

Что венок от Паллады победной,  
Если в грезах наваян был он?»

Искушающий демон, молчи!  
Есть виденья, всех былей сильнее;  
Все равно, наяву или во сне я,—  
Мне Сибиря светят лучи!

Эти стихи написаны в Красноярске еще в 1915 году. В годы, когда воспеваются силы радия, силы атома отражаются в литературе,—эти стихи, конечно, удивляют.

А вот стихотворение «Из якутских мотивов», которое любил читать Луначарский:

От моей юрты до твоей юрты  
Горностаи следы на снегу.  
Обещала вчера навещать меня ты —  
Я дожидаться тебя не могу.

От юрты твоей до юрты моей  
Потянул сероватый дымок:  
Ты варишь карасей для вечерних гостей,  
Я в раздумье сижу, одиночек...

От моей юрты до твоей юрты  
Горностаи следы на снегу.

Ты, пожалуй, придешь под крылом темноты,  
Но уйду я с собакой в тайгу.

От юрты твоей до юрты моей  
Голубой разостлался дымок.  
Тень собаки черна, а на сердце черней,  
И на двери железный замок.

У Драверта в стихах, посвященных хорошему знакомому Драверта, исследователю Сибири и Монголии Потанину, «Среди бадаранов» мы читаем:

Как бубен священный шамана  
Повисла на небе луна.

И вот, когда кто-либо бывал в гостях у Драверта, очень часто, обращаясь к бубну, висящему на стене, произносили эти строчки.

Воспоминания помогают понять стихи, а стихи помогают воспоминаниям. Я считаю, что Драверт — это первый голос в научной поэзии в наше время. Пользуясь образом, можно сказать, поэзия Драверта — это каменная чаша, наполненная хрустальной горной водой.

Публикация Г. П. Марковой

## Новелла Матвеева

### ЭКЗОТИКА

Певцам, я знаю, не годится  
На гневных критиков сердиться.  
Но ведь зоиил, не помогая,  
Лишь нагоняет маеты,  
Между читателем мосты  
И бедным автором — сжигая...

Меня корили огорченно  
(Но в огорченье — увлеченно!)  
Экзотикой. Окаянство!  
Зоиил единство растерзал:  
Вот заказал мне даль странства,  
А даль времен — не заказал.

В чудесных вымыслах поэту  
Мешая странствовать по свету  
(Взлетать на Анды, плыть по Темзе),  
Он позволяет мне, друзья,  
Быть историчною. Зачем же  
Географичною — нельзя?!

Кто, на «экзотику» озлобясь,  
От человека спрячет глобус,—  
Лишь географию (от силы!)  
С историей разъединит;  
«Забудь, — он скажет, — Фермопилы!»  
Но там сражался — Леонид!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Известный спартанский царь, с тремьями воянов отразивший войско Дария при Фермопильском ущелье.

Сколь эти требованья странны,  
Куражливы, непостоянны!  
Уж он мне их представил — массу!  
А между прочим, запрети  
Скакать бессонному Пегасу,—  
Скакуи зачахнет взаперти!

Не грех ли, не погранье ль чести —  
Учить коня ходьбе на месте?  
Чтоб неменяющийся воздух  
Перетирал, как шестерня?  
В подобной роли и меня  
Вы, друг мой, видеть бы желали?  
Но наши вкусы не совпали:  
Мне больше нравится

без шор  
Глядеть на весь земной простор.

Кого «экзотикой» и надо  
Шпынять,— но только не Синдбада!  
И как, в передничке, за прялкой  
Сидеть не станет мореход,  
То не мечтай, что этот жалкий  
Насест — поэзия займет!

Конечно, можно всю планету  
Исколесить, катаясь по свету,  
Как будто в бочке засмоленной,  
Притом без дырочек для глаз!  
Но способ сей — для закаленных  
Паломников, а не для нас,

Людей сугубо кабинетных!  
Ведь нам для странствий кругосветных  
Не требуется ничего;  
Мечта наш парус надувает,  
Сны кормят, греза укрывает...  
Ах! Нам достаточно бывает  
Воображенья одного.

А значит, нам не разориться.  
Но то-то и зоил ярится,  
Ища: где тот бездонный кладезь,  
Тот бестоварный оборот,  
С которым можно жить не тратясь?  
(Зоил и тратясь — не живет.)

...Но мне теперь из-за такого —  
Как он! — начать придется снова.  
Итак: века кружат в пространстве.  
Пространство кружится — в веках.  
Мечтатель может жить без странствий,  
Но без мечты о них — никак!

Ты, время видящий без связи  
С пространством, точно ось без смази,  
Зоил!  
В огромных странах света  
Вещей, могу тебе сказать,  
Такая уймаща!  
Уж две-то  
Из них ты мог бы и связать!..

## Павел Мелехин

\* \* \*

Хлеб пресный — хлеб надежды и протеста  
Тех, у кого ни званья, ни угла,  
И колобка нет, чтоб поставить тесто,  
Чтобы опара малость подошла!

Покруче заболтать мучицу в чашке  
И с кончика бездомного ножа  
Рассыпать клинописные пятнашки,  
Святому чувству красоты служа.

Вкусней лепешки с оформленьем этим,  
Парящим словно в небе журавли,  
Мы — засухи послевоенной дети —  
Под прессом дивной пресности росли.

Под пышки чайные на маргарине  
Пышной, отчаянней цвели мечты:  
От сухарей не стали сухари мы  
И пресные душой — от пресноты!

Нам выпало счастливо настрадаться,  
Чтоб выпестовать, будто бы любовь,  
Всю выпечку в объеме государства  
Батонов, саяк, булок и хлебов!

И — счастье, что за кисло-сладкой сдобой,  
Которою пропахли города,  
Мы ценим пресный хлеб поры недоброй,  
В одно нас спрессовавший навсегда!

\* \* \*

К российским деревням, что с обелисками  
В единозвездном значатся родстве,  
Прибавилась деревня олимпийская,  
По-свойски обращенная к Москве.

Я был знаком здесь с липецкою Липою,  
С которой мы из области одной,—  
И по нарядам вахт ее нелиповым,  
И по ее нарядам в выходной.

Она в спортивном комплексе малярила,  
Вознесемся громадой корпусов:  
То балеринною, а то боярыней  
Маячила на сцене стройлесов.

Помашет кистью, брызгаясь белилами,  
Мне с верхотуры: здравствуй и прощай!  
И теремами русскими былинными  
Вдруг поглядится олимпийский рай.

И даже церковь, для гостей молящихся  
Отстроенная прочно, на века,  
Как бы подступит вновь крестить трудящихся  
Теодолита, кисти, мастерка.

Кто был тут первый парень на деревне и  
Кого венчали лавры? Нет чужих  
Поблизости туристов, к удивлению,  
Для мощного нашествия своих!

Не встал бы я за древней бабкой в очередь  
И в купола не вник бы до конца,  
Когда б была Олимпиада-80  
Без Липинового милого лица.

С ее улыбкой жепственно божественной,  
Однажды осенившей и меня,  
С малиновым румянцем, что тождественен  
Накалу олимпийского огня!..

## ПАМЯТНИК

Неизлечим порока род постылый  
И вечен, как в витрине манекен,  
Я у черты оплаченной могилы  
Восстану, не оплаканный никем.

И выдохну навстречу всякой тризне  
Единственный естественный завет:  
Которые меня любили в жизни,  
Пусть так же любят еще тыщу лет!

А те, кому пришелся не по нраву,  
Пусть мне и дальше будут  
не родня,

А некрофилов я лишая права  
В надгробье даже воплощать меня.

Тем более приму как указанье  
Их клики на безжизненность мою —  
Какой-нибудь мне памятник в Рязани  
Или в отцовском липецком краю!

И сам, назло им, не умру, пока я  
Не буду знать сквозь холм могильный свой,  
Что я среди вас, как прежде, неприкаян,  
Как неприкаян был я и живой!..

## *Виктор Полторацкий*

\* \* \*

Жгут ботву у реки в огородах.  
Серым войлоком стелется дым.  
Утомленно притихла Природа  
Перед новым свершеньем своим.

Где ты, золото бабьего лета?  
Потускнело, как вымокший лен.  
Поздней осени ближе приметы  
К колориту старинных икон.

Тут и охристо-темные ивы,  
И багряные кисти рябин,  
И студеной воды под обрывом  
Отуманенный ультрамарин.

Смена времени года — как сказка,  
Повторимая множество раз...  
Все вернется. И новая краска  
Ярче ляжет на старый левкас.

Еще будут январские звезды.  
Будет в майском цветении сад.  
Птицы снова вернутся на гнезда  
И горластых птенцов наплодят.

Только ты навсегда отшумела,  
Не вернешься на круги своя,  
Отзвеневшая дерзость и смелость,  
Недопетая песня моя.

## *Михаил Львов*

\* \* \*

Смотрят ракеты, готовые выстрелить,  
Лично тебе и народам грозя.  
Чтобы в трагедиях времени выстоять,  
Надо быть воином — меньше нельзя.  
Чтобы не пить коньяки, словно снадобья,  
Верить, что есть и любовь, и друзья,  
В мире вот этом быть рыцарем надобно,  
Быть Дон-Кихотом — меньше нельзя.

Полнятся книжные полки поэтами,  
Строки пришли к нам, столетья пройдя.  
Чтобы добавить хоть что-нибудь к этому,  
Надо быть богом — меньше нельзя.





## НЕСМЕНЯЕМАЯ ПРОФЕССИЯ

Услышав шаркающую походку, я оглянулся. Это действительно был Светлов. Я встал из-за столика. Со мной была красивая женщина, и мне, по мужской привычке, захотелось похвастаться:

— Смотри, Миша, картина?!

Светлов мгновенно, с ног до головы, окинул ее взглядом и, сморщившись как печеное яблоко, отсмаковал четкую фразу:

— Старик, ты, кажется, становишься передвижником.

Я захлебнулся от восхищения. Острота и впрямь поразительная. Мгновенно соединить несколько разноименных понятий — только Светлов умел такое.

Многие работают на заготовках. Острота готовится заранее, а потом, чуть подправленная по ходу дела, вставляется в разговор. В данном случае полная импровизация.

Светлов острил походя, без всякой натуги, это было для него одним из способов мышления. Острил порой зло, но не обидно.

— А ведь правда она повзрослела? — спрашиваю я об одной юной и близкой особе.

— С тобой, бродяга, постареешь.

Некоторые его фразы перерастали значение метко сказанных слов и становились своеобразными обобщениями.

— Я забочусь о твоей старости, — грустно сказал он раскритикованному им молодому поэту, на лице которого уловил тень обиды.

Такие афоризмы передавались от одного к другому и входили в педагогический кодекс литературы.

Я Светлова знал с давних пор. Меня познакомила с ним Ольга Берггольц в последнюю предвоенную зиму. Мы встретились на квартире ее сестры Муси на Сивцевом Вражке. Смешно и нелепо, но тридцатисемилетний Михаил Аркадьевич показался мне стариком. И не то что показался, я просто счел его человеком преклонных лет. Мне самому только что стукнул 21 год, каждый смотрит со своей колокольни.

Мы были изрядными задрами в молодости. Иногда задрами грубыми. Светлов появился с броской юной женщиной, по виду моей ровесницей. «Вот что делает известность, — мрачно подумал я. — Иначе зачем бы сдался ей этот старик». Примечанием на полях замечу, что в «Любке Фейгельман» совсем юный Смеляков с не меньшим раздражением помнит «двадцатитрехлетнего транспортного студента».

Раздражение искало выхода. Светлов отнесся ко мне на первых порах с добродушным безразличием. Парень, мол, как парень, приятель его приятельницы, мало ли с кем встречается на вечеринках. Исполдволь завязался разговор о поэзии. Ольга Берггольц стала нахваливать песенную интонацию «Каховки», начало которой она видела в «Гренаде». Мне надоело слушать такую белиберду. «Мы вас отменим со всей вашей песенной интонацией», — заявил я с угрюмой безмятежностью. Так как до сей поры я молчал, мое высказывание приобрело неожиданную весомость. «Каков мальчишка!» — попробовала Ольга перевести разговор в шутливый тон. Светлов, однако, принял мою сентенцию на полный серьез. Тогда, при первой встрече, я не запомнил всех этих «босяков», «бродяг», «стариков», которыми он после обильно уснащал свои обращения. Возможно, эти словечки появились позже, уже в послевоенное время, но, может быть, сама наша беседа исключала подобную фамильярность. Михаил Аркадьевич опечалился, да и разошелся. Такие ситуации всегда неприятны, сужу по собственному позднему опыту. Сидишь в честной компании, пьешь доброе вино, рядом красивая женщина, идет мирный разговор, и вдруг тебе преподносят подсыбные фразочки. Стоило бы просто дать мне по шее.

— Прежде всего, как ты представляешь себе эту отмену? — с откровенной обидой спросил меня Светлов. — Это Николая Второго можно прогнать, а Поэт — профессия несменяемая.

Собственно говоря, из всей нашей беседы только эти слова прочно врезались мне в память. От остального разговора сохранился смысл, сводившийся к двум-трем заповедям, запомненным по наглядным примерам. «Поэзия не одни Казбеки (пачка «Казбека» была под рукой) — Аполлон Григорьев дает лирическую атмосферу времени своей «Цыганской венгеркой», он не Некрасов, но стихи его необходимы». Потом Светлов остановился на средствах выражения, вокруг которых тогда было много споров. «Неожиданных и необычных римф я столько нащелкаю, что тебе тошно станет. Это штука пехитрая. Мой стих таких римф не требует. Ну куда бы я их воткнул в ту же «Каховку» или «Гренаду?» Возвратился к моей аскападе. «Никому никого отменять в поэзии не удавалось. Это самодержавие можно было отменить».

и — отменили. Даже Северянина или Надсона никто не отменял. Их просто поставили на свое место, а место это не очень значительное».

Такова была первая встреча, на которой младший собеседник вполне заслужил, чтобы ему дали оплеуху если не в прямом, то в переносном значении слова, а старший этим правом не воспользовался.

Все это выглядело достаточно нелепым еще и потому, что Михаила Светлова я любил, никогда его не видя. Добрых дюжину стихов помнил наизусть. «Гренаду» наше поколение считало лирическим манифестом интернационализма. Не уставали мы восхищаться и другими строками.

Ну, например, блестящая концовка стихотворения «В разведке»:

Ночь звенела стременими,  
Волочились повода,  
И Меркурий плыл над нами —  
Иностранная звезда.

Да, могла бы эта встреча пройти по-иному. С другой стороны, только такая спшибка и могла выбить искру той отповеди, которую я услышал от Светлова.

Я стал встречать Светлова на улицах и в компаниях. Он со мной дружелюбно раскланивался и здоровался, но близко мы с ним не сталкивались. Началась война. В одну из побывок с фронта я встретил его на площади Пушкина. Он тоже был в военной форме, сидевшей на нем не лучшим образом. «Хороший из меня вышел гусар?» — подмигнул он мне. Я посмотрел ему вдогонку влюбленным взглядом.

Светлова нельзя было не любить. Он сам по себе был олицетворенной усмешкой. В ней была бездна обаяния. Она помогала ему выходить из самых замысловатых положений. У нас давно уже установились короткие отношения, и я однажды посетовал на то, что Светлов напечатал в газете статейку об одной слабой поэтессе. Михаил Аркадьевич не стал оправдываться. Вдохнув, он сказал: «Заметка помещена по причине полной безвредности поэтессы для литературы...»

Не каждый раз он приходился ко двору со своей манерой разговаривать. Один вечер продемонстрировал это со всей категоричностью. На одно празднество я собрал гостей, среди которых были Светлов и Софроницкий. Они прежде в знакомстве не состояли. Знаменитый пианист, как известно, был человеком нервно организованным. Ну просто мимоза. И вдруг на него навалились эти светловские «босьяки», «бродяги», «старики». Конечно, при обычном застольном «тыканье». Софроницкий побелел,

покраснел и вдруг произнес дрожащим голосом: «Никакой я не босьяк, и не бродяга, и, кажется, еще не старик. Прошу прощения, я должен уйти из-за этого стола. Светлов разволновался, смутился, что с ним редко бывало, начал извиняться — ничто не подействовало. Софроницкий, не поподавая рукой в пальто, продолжал бормотать: «Никакой я не босьяк». Так и ушел, несмотря на уговоры гостей и хозяев, в первую очередь мои собственные.

Михаил Аркадьевич быстро оценивал комичность ситуации. Запомнилось, как он передавал разговор двух отцов, его собственного и Михаила Голодного, на литературные темы. Шла дискуссия о формализме, и оба поэта попали под удар. Газеты дошли до Днепропетровска. Один старик обращается к другому: «Что ты скажешь о формализме?» — «Я скажу, что мой Миша в таких вещах не может быть замешан». Молчание. «А ты думаешь, мой Миша замешается в подобную историю?»

Другой рассказ о грузинском тосте в его честь. Когда исчерпались, казалось бы, все здравицы, перечислили всех светловских тезок от Лермонтова до Кутузова, изощренный тамада не растерялся. «Кто раньше всех приветствовал Светлова в Тбилиси? Все здесь были на вокзале? Нет, не ты, не ты, не ты. Когда поезд подходил к городу, на телеграфных проводах сидели птички и щебетали: «Здравствуй, дорогой Миша Светлов». Так поднимем тост за птичек!»

Очень верил в доброе начало. Искал его даже там, где его и в помине не было.

Любил повторять смешные строки. Ну, например:

Я сижу на берегу,  
Мою левую ногу.  
— Не ногу, дурак, а ногу.  
— Все равно отмыть не могу.

До сих пор не знаю, чьи это стихи.

Утро и день Михаил Аркадьевич проводил за работой, вечер раскидывался на друзей. Они его ждали в ЦДЛ, «Национале», «Коктейль-холле», баре № 4 — постоянных местах светловской прописки. Никто не видел его пьяным, хотя рядом с ним всегда было что пригубить. В нем жила ненасытная потребность общения. Родись Светлов в Париже, он бы стал завсегда-таем кафе. У нас кафе не прививаются, они либо превращаются в забегаловки, если подается спиртное, либо в столовые, если спиртное изгнано. Трудно представить Верлена, пишущего стихи за столиком где-нибудь на Сретенке или Трубной. Московским бытом кафе у нас не становится, в Париже — это традиционный уличный быт.

Михаил Аркадьевич не так любил застолье, как атмосферу вокруг него. Негромкий шум,

тихие остроты, медленный хмель. Кутежи были не по нему. Кто был кутилой, так это Алымов. Помню, я зашел с ним в «Метрополь». Официанты нюхом почуяли, кто пришел. Все в его танцующей походке, размашистом жесте, уверенно-шалом взгляде выдавало кутилу. К столу он шел уже в окружении целой свиты, отдавая на ходу приказания. И официанты обслуживали его виртуозно, с удовольствием, чувствуя в нем человека, способного оценить их усердие. Светлов вел себя иначе — мягче, скромнее, сдержаннее.

Если выделить в Светлове главные черты, то в поэзии я назвал бы интернационалистичность, а в жизни — артистизм. «Гренада» так и осталась лучшим стихотворением поэта не потому, что после он стал писать хуже, а оттого, что такие стихи пишутся раз в жизни. Маяковский, с его безошибочным чувством масштабности, сразу увидел в «Гренаде» явление.

Красивое имя,  
Высокая честь —  
Гренадская волость  
В Испании есть!

Я хату покинул,  
Пошел воевать,  
Чтоб землю в Гренаде  
Крестьянам отдать.  
Прощайте, родные!  
Прощайте, семья!  
«Гренада, Гренада!  
Гренада моя!»

Тысячи раз цитировались эти строки и сейчас в который раз снова запросились на цитату в подтверждение главной сути светловской поэзии. Венгерский поэт Антал Гидаш ввел в обиход понятие эмоционального интернационализма. Вот он-то как нельзя более соответствует характеру творчества Светлова. Интернационалистическая эмоциональность пронизывает каждую строку, написанную поэтом.

В очерке «На той войне незначимой» я писал, как всплеск такой эмоции чуть не забросил нас с приятелем на борт республиканского судна, стоявшего в Феодосийском порту. Оно просто-таки символически называлось «Гренада». Спустя много-много лет с тех пор и еще больше с момента создания прекрасных стихов я оказался в Испании. И там в Гренаде (испанцы произносят это слово через «а») в виду снежных вершин Сьерра-Невады, мы с друзьями подняли тост памяти Михаила Светлова.

Вино было легким и кислым, но в нем ощущалась крепость и сладость истинной поэзии. Придет время, и одну из гранадских улиц назовут именем советского поэта, прославившего в далекой России испанский город.

Пробитое тело  
Наземь сползло,  
Товарищ впервые  
Оставил седло.  
Я видел: над трупом  
Склонилась луна,  
И мертвые губы  
Шепнули: «Грена...»

Последний слог оборванного слова пусть произнесут испанцы, воскресив «мечтателя-хохла» с его вдохновенной мечтой.

Стихотворение «Итальянец», повествующее об одураченном фашистами солдате, погибшем в снегах России, проникнуто тем же интернациональным чувством.

Теперь об артистизме. Удивительно артистичным человеком был Светлов. В каждом слове, жесте, поступке. В манере поведения. Мягкость, тонкость, обаяние. Красавцем его бы никто не назвал, но женщинам он нравился. Даже очень. Укорил меня однажды: «Они любят нежность, а ты, брат...»

Ему уже было сильно за пятьдесят, но привычек своих он не менял. Засиживался до рассвета с друзьями, мог запросто остаться у них ночевать.

Артистизм — трудно определяемое понятие. Оно вытеснило опороченную «богему». То же самое, но без теневых сторон. В него входит множество компонентов. Изыщество и щедрость наиболее заметны среди них. Светлов работал много, но денег у него было мало. То есть они всегда у него были с собой, но в минимуме. Причина очевидная: когда угодно и кому угодно мог одолжить. Как правило, без возврата. «Вот, старик, у меня 20 рублей, делю пополам, тебе десятка и себе оставлю».

Изящным он был, даже когда спал. Я однажды ночевал у него, проснулся рано утром, поглядел на спящего. У него была удовлетворенно усмешливая физиономия. Счастливая физиономия. Что-то хорошее ему виделось. «Вот, и во сне поэт», — подумал я.

В Елисейских полях, где ходят в обнимку души праведников, он ходит, наверное, с той же улыбкой.

# «ДОЛГИХ ЧЕТЫРЕ ГОДА...»

Шла война...

Тридцать пять лет минуло с тех пор, как она завершилась.

Поэты разных поколений говорят о войне. Говорят ее участники, победители. Говорят те, чье детство она опалила. Говорят те, кто знает о ней по рассказам отцов и дедов.

Здесь и стихи из старых военных тетрадей, и строки, написанные совсем недавно.

*Владимир Карнеко*

## ЛОКОТЬ ДРУГА

...Помнишь, сколько раз наш полк отводили на пополнение? Если посчитать всех погибших, то как раз полк получится...

*Из письма однополчанина*

В полку, ушедшем  
в невозвратный рейд,  
сначала  
с пополнением было туго.  
Потом пошли  
немного побыстрей...

Теперь идут солдаты  
друг за другом.

Летят года,  
что кадрики в кино.  
Уже не успеваешь  
оглянуться.  
И локоть друга,  
что убит давно,  
готов уж  
локтя твоего  
коснуться...

## КОЛЕСО ДЛЯ АИСТА

Над черным прахом  
кружит белый аист...

Я колесо для аиста ищу.  
Вчера кружился он  
над бывшим домом.  
Сегодня кружит он  
над бывшим домом.  
Он кажется мне  
давним тем,  
знакомым,  
хоть знаю, что — не он.  
И я грущу.

За аистом я мысленно лечу.  
По памяти  
я все здесь расставляю.

Все то,  
что здесь случилось,  
представляю.  
И, памятью той  
раны растравляя,  
одновременно  
памятью лечу.

Неужто я  
когда-нибудь прощу  
тот день, когда,  
слезами задыхаясь,  
стоял над бывшим домом,  
ужасаясь?..

Над черным прахом  
кружит белый аист.  
Я колесо для аиста ищу.

## Юрий Гордиенко

### ЕЛКА В ОКОПАХ

#### Рассказ ветерана

...Помню, зимой наши части, за Вязьмой, вышли к реке и в сугробах увязли. Хмарь белорусская — снег да вода... Бейся хоть лбом — ни туда ни сюда! В людях и технике — не без урона. Сверху команда: занять оборону! Роем землянки — убьют, не убьют, нынче ли, завтра — наводим уют.

Вход занавешен куском плащ-палатки. Лампа из гильзы от «сорокапятки». Радует каждого — пусть до поры — дух безопасности, чувство норы, чувство убежища радует души...

Но — голоса раздаются снаружи: свой под обстрелом, в метель и мороз, наш старшина обеспечил подвоз: каша в бачках и тушенка свиная. Водки — с чего б это? — норма двойная. Праздник! Какой же? Ни чисел, ни дат живший минутой не помнил солдат.

Нечто припомнилось все же пехоте: год сорок третий никак на исходе! Новый, вослед уходящему, год — сорок четвертый — в окопы грядет!

У замполита еще просветились: слух подтверждается... Засуетились. Времени на подготовку — в обрез: сползая за елкой, под пулями, в лес. Тоже почиститься надо, побриться, если и не во что принарядиться, выручат все же иголка и нить: лычки хотя б на погонах сменить. Быстро собраться солдату — не диво! Входим, толкаясь, в блиндаж командира, с ротным — за стол из неструганных плах... Субординация — это в тылах! Ну а в условиях переднего края жил: мы попросту, не козыряя, люди как люди — опора страны, в жизни и смерти окопной — равны.

В службах — при складе ли, в хлебопекарне — редко мы видели нашего парня — в пекле обычно, в атаке, в бою, с ротным своим — на переднем краю.

Злость, бесшабашность ли, кто ее знает... Это и Сталин попозже признает, вспомнит Россию он в тосте своем, маршалам нашим устроив прием. — Русский народ! Нипочем ему беды, — скажет, вернувшись с парада Победы, — труд ли в тылу, боевая ль страда... — Скажется это потом...

А тогда, над блиндажом, за деревней Лиозно, выдалась ночь по-рождественски звездной. Трубы курятся... И мы, в блиндаже, близимся к Новому году уже. Елка настольная. Водка — в бочонке. Тут же, у печки, и наши девчонки. Их не смущает махорочный чад. ...Сколько погибло их, славных девчат! В ватниках, в шапках, собой неказистых, наших девчат — медсестер и связисток, Женек и Анечек, Софок и Зой... Вспомнишь и, старый, утрешься слезой.

А между тем торжество на подходе. Все на столе, как положено вроде. Только вот елочка больно скромна — без украшений, без блесков — война... Кто-то и выступи: — Так не годится! Надо и елочке принарядиться, Пусть покрасуется тоже она. Ну-ка, на бочку клади ордена!

Ох и шутник же! Такого предмета — ордена — даже у ротного нету. Орден потешнику вынь да подай! В редкость была «За отвагу» медаль. Наперечет в обозримой округе даже и «За боевые заслуги», хоть разгерой ты и духом не нищ... Ты не гляди, что теперь — орденщик!

Все же набрали медалей изрядно. Смотрится елка светло и нарядно. Кружку — за Сорок четвертый, до дна! время поднять... Разливай, старшина! Много с тех пор, словно их не бывало, зим торопливых и лет миновало, листьев опало, воды утекло — помнится дружбы окопной тепло! Светит — не гаснет в немислимых далях елочка наша в солдатских медалях...

## Иосиф Ржавский

\* \* \*

Я узнал: на белом свете  
Не простая штука жизнь.  
Заиграл весенний ветер  
На органе медных гильз.

Я не ветра слушал стоны,  
А, как истинный пророк,

Заготавливал патроны  
Для всего окопа впрок.

К мундштукам прижмутся губы,  
Будет музыка греметь.  
Переплавится на трубы  
Мной отстрелянная медь.

## Александр Коренев

ГДЕ-ТО В ПУТИ...

Нас платформа уносит в ночь.  
Бабы-вдовы, солдатки — вповалку.  
Вот и я курсирую вновь  
В госпитальной шинелишке жалкой.

Вот прижат теснотой — к одной,  
По-крестьянски суровой, крепкой.  
В тьме лишь губ ее грубая лепка.  
Да и то повернулась спиной.

Задыхаюсь, так весь сгоряча  
Растворился бы в ней, свирепо...  
А платформа, в грохоте мча,  
Словно взносится в звездное небо...

Не как синий — к земле — звездопад,  
Не Петрарковый зов — к Лауре,  
К ней — родной, посторонней, дуре  
Жадной силой впоотьмах прижат.

Тетки спят, в головах сидорá.  
Ночь летит громогласно, грозно.  
Вон трассируют звезды, космос...  
Так и я вдруг сгорю дотла!

Прем над бездною. Мост бездонно  
Проорет!.. А она, клубком,  
Длинноногой топорной мадонной  
Спит, укутав лицо платком.

Вся война и вся высь, светясь,  
Обступают... А она, лежа,  
Мчит, от мира отворотятся:  
От детей, от потерь, от бомбежек,

Отстраняясь — ночной покой —  
От всех бед, от побед, объятий.  
И, сама пожалев: «Солдатик!»,  
Обнимает вдруг жесткой рукой. •

## Юрий Белаш

ГЛАЗА

Если мертвому сразу глаза не закроешь,  
то потом уже их не закрыть никогда.  
И с глазами открытыми так и зароешь,  
в плащ-палатку пробитую труп закатав.

И хотя никакой нет вины за тобою,  
ты почувствуешь вдруг, от него уходя,  
будто он с укоризной и тихой болью  
сквозь могильную землю глядит на тебя...

## Виктор Федотов

### ЯБЛОКО

Деревня под названием Станки  
была пустынна. Ничего живого  
нигде не видно было. Никаких  
и признаков жилья людского.  
Штаб вражеского корпуса СС  
располагался скрытно у овражья.  
Чтоб отвести удар с небес,  
подняли всюду сети камуфляжа.  
Посмотришь с неба: тощие кусты —  
иллюзия искусной маскировки,  
чего же обнаружишь с высоты,  
когда все шито-крыто ловко.  
Мы рано утром ворвались в Станки,  
увидели следы опустошенья...  
Прошли года. Хоть было не с руки,  
все ж заглянул в знакомое селенье.

Два дома восстановлено всего.  
Копала женщина картошку в огороде.  
Что ей сказать? Спросить чего?  
Обмолвиться ли словом о погоде?  
Меня опередила вдруг она:  
«Вы вроде ищете кого-то?»  
Ищу! Кого! Когда была война,  
костьми легла тут чуть не рота.  
Я рассказал, как здесь с боями шли.  
«Вы подождите...» Принесла из сада  
корзинку яблок. «Это от земли,  
освобожденной вами, вам награда».  
Я возвращался медленно назад —  
вот яблоко в руке, а не граната.  
Получено немало мной наград,  
а тут — самой земли награда!

### ВЕЧЕР В КРАКОВЕ

Этот декабрьский вечер  
памятно-неповторим.  
Топятся в Кракове печи,  
виснет над городом дым.

Пахнет дым углем и сажей,  
круто встает на дыбы.  
Как же тревожно-протяжен  
звук поднебесной трубы.

Трубит она денно и ночью,  
слышу в который уж раз,  
трубит, отмеряя точно  
каждый начавшийся час.

Трубит, чтобы вражьи кони  
не обошли стороной.  
Голос трубы маршал Конев  
слышал, готовя бой.

Быстро он вызволил Краков.  
Ударил — как с неба гром.  
Словно бы ставил на кон  
каждый спасенный им дом...

В этот прощальный вечер  
Хочется счастья, удач.  
Топятся в Кракове печи.  
Трубит и трубят трубоч.

### БАЛЛАДА О НОЧНОМ БОМБАРДИРОВЩИКЕ

*Герою Советского Союза  
В. В. Решетникову*

Черный полог поднебесья до чего же бесконечным  
кажется, и нету края — сколько в небо ни гляди.  
Всюду звезды, всюду звезды, близок путь, что назван Млечным,  
городов чужих квадраты впереди.

Неизвестности навстречу мчит ночной бомбардировщик,  
на борту приборов стрелки лихорадочно блестят,  
но вот вспыхивают трассы разлетающихся точек —  
это рвет ночную темень разорвавшийся снаряд.

Опоздал фугас... На курсе боевом и с разворота  
сбросил метко штурман бомбы на чернеющий Берлин,  
прямо в логово фашистов, в их смердящее болото —  
так он выделялся в то время, этот город-исполин.

Позади огни пожаров. Вся в огне и высь ночная —  
отовсюду бьют зенитки, не спасет от них маневр.  
Загорелся пикировщик. Еле тянет, начиная  
разрушаться. Не хватило, не хватило всяких мер.

Протянув, насколько можно, до желанной точки взлета,  
приказал корабль покинуть экипажу командир,  
но не все могли оставить борт горящий самолета.  
«Тяжело я ранен, Вася!» — молвил штурман-бомбардир.

И тогда, штурвал чуть выбрав, стал подыскивать площадку  
для посадки смелый летчик, чтоб жизнь друга сохранить,  
как он сел и спас штурмюгу — не припомнить по порядку,  
впрочем, разве в этом дело, если правду говорить!..

Отгремела. Отпылала. Но грозит назад вернуться  
злая буря...

В светлом штабе думу думает один  
он, забыв о свежем чае, остывающем на блюде,  
он — командующий станом стратегических машин.

## *Алексей Смольников*

\* \* \*

Вот и случилось: первый поцелуй...  
Думал, будет огненно и пьяно.  
Но она глядит как из тумана,  
Слезы вытирает и глядит.

Пальцецо на плечиках худых,  
Мокроступы на ногах озябших.  
Только шепчет: — Наши... наши, наши!..—  
Больше ничего не говорит.

Сколько в этой веске их, девчат!  
Сбит замок, открыты настежь двери,  
А девчонка смотрит и не верит,  
И целует, и в глаза глядит...

Больше не запомнил ничего.  
Просто Польшей шла вперед пехота,  
Просто вдруг припомнилось с чего-то,  
Как мне было восемнадцать лет...

## *Александр Ойслендер* 1908—1963

## *Наши публикации*

### КАМЕНЬ

Кривое дерево едва растет,  
Холодный ветер шуршит сырой газетой,  
И банка ржавая под дождиком гниет —  
Фашистский оккупант зарыт в могиле этой!  
И, чтобы встать он все-таки не мог,  
Старик прохожий сильными руками  
На банку грязную, газетный лист и мох,  
Как гнев народа, положил тяжелый камень!



## Марк Соболев

### ПИСЬМО В МОСКВУ

Долгих четыре года  
гулкой неразберихи,  
кашель глухих разрывов,  
мины тягучий вой...  
Трудно мы привыкаем,  
что за окошком — тихо;  
сколько бы ни проехал —  
нету передовой.  
Это ведь очень сложно —  
все начинать сначала.  
Бросила жизнь с размаху  
в странное «нет войны»...  
Раньше нам только снилось,  
будто в Москве ночами  
многоэтажных зданий  
окна освещены.  
Долго идут в Россию  
письма из энской части.  
Тихо тебе признаюсь,  
словно взгляну в глаза:  
мы еще очень робко

\* \* \*

Родная, я сошел с ума!  
Разгул весенних испарений —  
сплошной сиренью дышит тьма,  
столпотворение сирени!  
О, удушения обряд —  
какие цепкие волокна!..  
Я закрываю все подряд  
распахнутые на ночь окна.  
А в стекла бьется лунный свет,  
неугомонный и упрямый...  
Ты тоже будешь в тридцать лет  
любить весной двойные рамы,

здесь говорим о счастье —  
слишком большое слово,  
сразу и не сказать.  
Милая, мы шагали  
в невероятной стуже,  
сколько мы потеряли  
лучших ребят в бою!  
Я еще не распелся,  
хрипну, войной контужен,  
но погоди: услышишь,  
здорово я спую.  
Только давай запомним  
наш фронтовой обычай:  
что б ни случилось с нами —  
друга рука крепка.  
Только одну оставим  
из фронтовых привычек:  
если врага увидел —  
бей  
и наверняка!

16 июля 1945 г.,  
Германия

чтоб ночь — сиреневая муть —  
тебе казалась черной тушью...

Чтоб рамы —  
обе распахнуть  
навстречу этому удушью!  
Забуть о седине волос,  
презреть обычаи и сплетни  
и про меня сказать всерьез,  
что я — восемнадцатилетний.

1948

## Генрих Рудяков

\* \* \*

Я устал от раздумий и памяти горькой  
О жестоких годах фронтовой маеты.  
Мне бы ахнуть стакан и обдираную коркой  
Зажевать, забывая бои и фронты.  
Что с того, что в моем изрубцованном теле  
Притаился свинец, как слепая беда?  
Мы с тобой одолели войну неужели  
Для того, чтобы помнить об этом всегда?

Но опять и опять, нарастая в глубинах,  
Поднимается боль к побелевшим губам.  
Это — память бредет, подрываясь на минах.  
Это память моя прорывается к вам.  
Хорошо молодым в мире сладостных истин  
До рассвета блуждать по июньской Москве.  
Если б мог я, как дерево, сбрасывать листья  
И не помнить о прошлогодней листве...

## Алексей Шитиков

### РАНЫ ВОЙНЫ

Пережили. Но сердцу легко ли? —  
Истрадалось с мальчиночьих лет:  
Рядом с нашей избушкой при школе  
Размещался в те дни лазарет.  
Ничего, ничего не забыто,  
Хоть и был я тогда мелюзгой:  
Мать стирала бинты — аж корыто  
Багровело от крови людской...  
Как синели под кожей вены,  
Как сползал ее черный платок,

Как срывались в кровавую пену  
Голубые слезинки со щек,  
Как потом мы бинты относили  
На заставленный койками двор,  
Где солдаты, от ран обессилев,  
Бились, бредили, звали сестер,  
Скрежетали зубами, срывали  
С тел повязки, сипели: «Воды-ы-ы!..»  
В сердце раны утихнут едва ли,  
И уже не помогут бинты...

## Евгений Храмов

\* \* \*

Двадцать второго июня сорок первого года  
На дачу, что мы снимали в это лето на Сходне,  
Еще ничего не зная, съехалось все семейство:  
Отцы, и дети, и внуки.  
Стол был еще довоенный, праздничный, изобильный:  
С мраморной ветчиною, веселым промытым луком,  
Жирно блестящей семгой, крутобокой редиской.  
И довоенная водка добродушно желтела в графине.

И все за столом сидели.  
Младшие — мы с сестрою,  
Старшие — дед и бабка.  
А посредине их дети, наши дядя и тетки с женами и мужьями:  
Уже седой Петр Павлыч,  
Еще не убитый Костя  
И мамин брат дядя Саша со шпалами в алых петлицах.

...Сначала все было тихо, и все говорили негромко.  
А после громче и громче и даже... развеселились.  
Как будто что-то прорвалось, выяснилось, разрешилось!  
Наверное, было жутко,  
Жутко и непонятно жить с фашистами в мире,  
А теперь все встало на место...

И отец мой — он был самый штатский, инженер-капитан запаса —  
Померанцевой выпил и крикнул:  
«Ну, через месяц — в Берлине!»

А впрямь до Берлина было  
От новой границы рядом —  
Пятьсот с небольшим километров,  
Как раз на месяц похода...

## Герман Валиков

### СТЕПАНЬКОВСКОЕ ШОССЕ. ДЕКАБРЬ 1941 г.

За хлебом, дó свету, к открытью,  
В ту сволочнейшую из зим  
С голодной жадностью и прытью  
Рысцой бежал я в магазин.  
И вот он, милый, — три, четыре  
Броска, прыжка через шоссе,  
И все... Оно ничуть не шире,  
А уже, чем иные все.  
И там уж ставят на ладонях  
В три цифры синее число.  
Но я застрял...

Троих на конях  
Под самым носом пронесло,  
И прямо следом, без прогала,  
Как на прицепе у коней,  
Мотоциклетка грохотала  
В снегу по оси, а за ней,  
Будто горбаты поголовно,  
В косматой инея шерсти,  
Темно, огромно, шатоломно,  
В ряд по четыре, по шести,  
С кирзовым дроботом, сутуло,  
Как будто падая вперед...  
Как от состава, ветром дуло  
От этих плотно сбитых рот.  
Молчком, лишь крякая как сó зла.  
В морозной кутаясь пыли...  
И руки длинные как весла  
Рубили сумрак и гребли...  
А скорость пеших подпирая,  
Натужно, в смраде и чаду,  
Машина шла, за ней вторая  
На самом медленном ходу,  
А уж за ней — от полушубков  
Круглы, от валенок толсты —  
Пошли, пошли без промежутков...  
Сплошняк людской на полверсты...

Я, в общем, жил не унывая  
В свои четырнадцать... Но тут  
Застыл, впервой осозная,  
Что значит — т ы с я ч и и д у т...  
Стально, железно, деревянно,  
Без всякой воинской красы,  
Единолико, безмянно,  
Лишь в одну сторону носы.  
Да лишь сапог размах саженный,  
Такой, что полы нараспах.  
Да дикий, хриплый, оглашенный,  
Скаженный голос: — Шире шаг!

А люди шли... Мороз под сорок.  
Лишь скрип да шваркающий шаг.  
Да одубелой кожи шорох —  
Настороженный острый шарк.  
Все так и шли — побежкой волчьей,  
Дыша простудным хрипотком,  
И все молчком... О, это м о л ч а  
И не з а д у м ч и в о притом!  
Тут думать было б делом вредным,  
Тут строй держи, да честь, да скарб...  
А каково им — тем, передним,  
Коль позади такой нахрап:  
Как впопыхах, как одичали,  
Почти бегом, как вгорячах —  
Мешки и каски за плечами,  
Пешком, а лыжи на плечах.  
Штыки на дула не надеты,  
И каски не на головах...  
О, был,

он был, какой-то

где-то  
Напор — живой, не на словах.  
И, выбиваясь из силенки,  
Все мелки, буры в одну масть,  
Взвивали морды лошадепки,  
Как будто выпорхнуть стремясь  
Из сумасшедшего потока,  
Из человеческой волны,  
Где так серьезно и жестоко,  
Где даже люди не вольны.  
И тенью — ломаной, угластой,  
Весь из мослов одних да жил.  
Верблюд злосчастный голенастый  
На гибель верную спешил...

Мороз скрипел как заржавелый,  
А пар валил, он баней пах.  
Стена забора куржавела,  
Льдом обрастала на глазах.  
А снег в четыре строчки взрезан,  
До камня выбит и взметен,  
А по бульжнику — железно,  
То взвизг, то судорожный стон.  
Шоссе раздавленно хрипело,  
Не хруст, а храп,  
Не скрип, а рык...  
— Сибирь пошла!.. Ну будет дело, —  
Сказал вполголоса старик.

## Татьяна Глушкова

### ДАВНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Все называется: война.  
Все называется: «под немцем».  
Под ним и осень, и весна,  
и две зимы, и та сосна,  
и этот луг, и страх под сердцем,  
и с петухами полотенце,  
и горсть горящего зерна,  
и в речке полная луна,  
и соловьиное коленце,  
и говорят: куда подеться? —  
повсюду — о н, везде — о н а!

Все называется: Украина...  
Как будто кража или тайна,  
и край, и краткая межа,  
краюха... Шепчешь не дыша...

Все называется: весна.  
Все величается: победа, —  
и пчелы золотого лета  
летят, не гаснут дотемна.

Все называется: беда.  
Все именуется: разруха.  
Проруха, засуха, присуха  
беды... И эта свежесть духа.  
И смерть. И сердца простота.

Все вспоминается: весна...  
Все называется Россией,  
куда тропою густо-синей,  
дичась и отряхая иней,  
дойду когда-нибудь одна...

## Олег Чухно

### РИСУНОК

Дождь со щебнем играет в классы.  
Воробьи воруют макуху.  
Я черчу отчаянно красным  
43-го черный угол.

Я рисую красные танки.  
Перед ними — красные взрывы.  
Убегают фашисты в панике  
Червяками черными криво.

А за окнами тлеют развалины.  
Мама кашляет на кровати.  
Истекает, тоскою ранена,  
Самодельная плошка на вате.

Накрест — рамы, и накрест — раны.  
Как победа — любовь и смерть.  
Я рисую зло и упрямо  
Угол дома, которого нет.

## Леонид Завальнюк

### ПОСЛЕДНЯЯ ВОЕННАЯ ЗИМА

...Какой-то был он вовсе чумовой, —  
Всю зиму, помню, ходит с непокрытой головой.  
Едва ль не босиком. И ничего, здоровый.  
Ест что попало. Даже и ворон.  
Я как-то раз попробовал, да так меня скрутило,  
Что хлеб потом давали — я не ел  
Три дня.  
А на четвертый я пошел к нему.  
Он на печи лежал. Мороз стоял в дому.  
И я спросил:  
— Скажи мне, Шеремета,  
Как так, что ты не умер до сих пор?.. —  
И он сказал:  
— Не знаю, брат, не знаю!

Но научить могу. Ах, мать честная,  
 Я б мигом натаскал тебя, сынок,  
 Да это все не по тебе — ведь ты не одинок.  
 А я, брат, в похоронках весь. Вся жизнь моя побита.  
 И до того сильна в груди моей обида  
 На долю на мою,  
 Что вот сморозиться хотел, да видишь — закалился.  
 Ел что найду, ничем не подавился.  
 Души давно уж нет, а плоть не помирает,  
 Как ни казнь ее. Видать,  
 Тех, кто не держится за жизнь, господь не прибирает,  
 Шутник...—  
 И он задумался глубоко.  
 В окно струился синих звезд настой,  
 Хрипела где-то несъедобная ворона.  
 И так душа моя была тоскою обворована,  
 И так зажиточна какой-то страшной, жгучей высотой!  
 Два непосильных груза: да и нет —  
 Легли на плечи. Как же жить на свете?  
 Как дальше жить?!  
 Я встал. Очнулся Шеремета.  
 — Ну ладно, — он сказал. — Ты доживи до лета,  
 А там...—  
 На голом теле старика истлевшая рубаха.  
 Дрожащего от холода и страха,  
 Он не спеша меня к калитке проводил  
 И долго вслед глядел.  
 А может быть, не вслед.  
 А может, выше он глядел, на тот туманный свет,  
 Что рассевала сквозь февраль далекая весна,  
 Как неких новых жизнью семена.

## *Геннадий Иванов*

### СОЛДАТ

Пехота заснеженным склоном  
 Ушла на метельный закат,  
 А в поле, ночном и холодном,  
 Остался солдат.

Он умер не сразу, он долго  
 Лежал на горячей крови,  
 Он думал для жизни и долга  
 Собрать еще силы свои.

Когда понемногу стемнело,  
 Спокойные звезды взошли,  
 Хотел он разбитое тело  
 Поднять от земли.

И видел лишь ворон летевший,  
 Скосивший на война глаз,  
 Как жадно тот, но безуспешно  
 Локтями разламывал наст...

## Юрий Паркаев

### СТАРУХА

В деревне, в бревенчатом доме  
старуха весь век прожила  
и, града районного кроме,  
нигде отродясь не была.

И то если изредка, с торгом,  
когда отпускали дела,  
а собственно города  
толком  
не знала и знать не могла.

И в поле, и дома заботы —  
поди проживи без забот!  
Бывало, вернется с работы —  
и снова по горло хлопот.

И часу свободного нету,  
с рассвета как белка крутись:  
зимой — приготовиться к лету,  
а летом — к зиме запастись.

... Есть где-то в нерусской сторонке  
в фамилиях скорбный гранит.  
Два имени,  
две похоронки  
старуха в божнице хранит.

Кому довелось воротиться —  
давно воротились в колхоз...  
...Я скромный платочек из ситца  
в подарок ей как-то принес.

— Спасибо, — сказала старуха, —  
но я для обновок стара:  
ни зрения нету, ни слуха —  
давно бы уж в землю пора,

пора бы предстать перед богом,  
но думка буравит виски:  
а что, если вдруг, ненароком  
вернутся мои мужики?

Но что там!..  
Не хочешь ли чая?  
Давай заходи, коль пришел!..—  
И, сыном меня величая,  
ведет и сажает за стол:

— Испробуй домашнего хлеба,  
испей — производство свое...—  
...Я пью за Бориса и Глеба,  
за мужа и сына ее.

И думаю:  
кто ж мы такие,  
когда за обильным столом,  
журча, о земле, о России  
невнятные споры ведем,

за ниточку тянем беседу,  
но рвется упрямая нить...

— Я нынче, пожалуй, уеду.  
Спасибо, прошу извинить...

Встаю, обнимаю старуху.  
Мне помнить вовек суждено  
и горькую эту краюху,  
и скорбное это вино.

...За окнами хмурится небо,  
сгущая вечернюю мглу,  
и лики Бориса и Глеба  
мерцают в переднем углу.

## Игорь Кобзев

### МЕЛИТОПОЛЬ

Чуть только расклюнется тополь  
И вспенятся вишни в саду,  
Мне вспомнится вдруг Мелитополь  
В далеком военном году...

Там пряно цвели абрикосы,  
И сладок был их аромат,  
И пышно их белые косы  
Спадали на белый наряд.

Но нежности этой избыток  
Не мог защитить нас от бед —

От взрывов, от грома зениток,  
От вспышек сигнальных ракет.

И дума таилась в солдатах,  
Что это в садах голубых  
Деревья стоят в маскхалатах  
И порохом тянет от них.

И трудно нам было поверить,  
Что впрямь наступила весна:  
Уж очень порой лицемерить  
Любила злодейка война.

## Павел Богданов

### СТАРЫЙ ПАТРОН

Есть строгий солдатский закон,  
И тот, кто на фронте был, знает  
О том,  
Что последний патрон  
Солдат для себя оставляет.

Я был рядовым на войне...  
В кармане грудном гимнастерки  
Всегда находился при мне  
Патрон трехлинейной винтовки.

Но мне не сгодился заряд...  
Когда тяжело был я ранен,  
Меня унесла в медсанбат  
Сестренка по имени Таня.

Лет тридцать хранил я патрон,  
Как память про грозную пору.  
Стал черным, заржавленным он,  
Но цел был и капсюль и порох.

Однажды при встрече со мной  
Из школы подшефной ребята

Просили патрон дать домой:  
«Мы завтра вернем вам обратно».

Затеяли что-то друзья...  
И, чтобы беды не случилось,  
Я порох и капсюль изъял.  
Но утром мальчишки явились.

Вернули патрон... И сейчас  
Он ярко блестел полировкой,  
А в пулю, чуть виден для глаз,  
Был шарик вмонтирован ловко.

Стал ручкой мой смертный патрон!  
И ныне с поэзией дружит.  
Так все же сгодился мне он,  
И жизни, не смерти послужит.

В кармане грудном гимнастерки,  
Как прежде, у сердца лежит,  
И запах от пороха горький,  
И отблеск Победы хранит...

## Юрий Мельников

\* \* \*

Пока он жив и почестей достоин,  
Пока крепит Отечество свое...  
Но будет день —  
Уйдет последний воин  
Далекой той войны  
В небытие.

Вы, юные, позиций не сдавайте,  
Для вас он рвал захватчиков кольцо.  
Смотрите —  
и навек запоминайте! —  
Живого победителя лицо.

## Вениамин Бутенко

### ОТЦОВСКОЕ ЭХО

И в солнечный полдень, и в звездную полночь  
отцовское эхо над миром звучит.  
Оно для души моей — скорая помощь,  
когда она очень болит.

Отцовское эхо, живое-живое,  
я слышу сквозь время опять и опять.

Есть память и эхо. Их двое, их двое.  
И вечности их не разъять.

Для жизни отдельная смерть не помеха...  
Хоть слез не стереть иногда мне с лица,  
но сам я как эхо, звучащее эхо,  
посмертное эхо отца.

## Виктор Кочетков

### В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Всяко жил — и горестно и весело.  
Правил челн в широкий мах весла.  
Жизнь меня и счастьем не обвеса,  
И печалью не обнесла.

Но за всеми памятливыми датами  
Видится главнейшая, одна —  
День, когда нас сделала солдатами  
В смертный бой идущая страна.

Воевали хорошо ли, плохо ли —  
Пусть потемки спорят горячо.  
Но какую силушку разгрохали,  
Развернувшись в полное плечо.

Отдымили старые пожарница,  
Отстреляли старые форты.

\* \* \*

Роняют шелест старые деревья.  
Свистят скворцы в заброшенном саду.  
По улице покинутой деревни  
Осенним утром медленно бреду.

На голос мой никто не отзовется.  
Ведь у природы память коротка.  
На черном дне забытого колодца  
Тревожные блистают облака.

Порой метнутся спугнутые тени  
В глухой проулок, полный тишины,  
Где долгий сон дичающих растений  
Не прерывался чуть ли не с весны.

Уже решейник обступил пороги,  
Уже крапива на крыльцо взошла.  
И паутиной затканые боги  
С тоской глядят из темного угла.

И ветер рвет, нетерпелив и резок,  
С разохшимися створками окно.  
И наступает яростный подлесок  
На огород, не паханный давно.

А лопухи — те на повесть подались,  
И палисад в их власть себя отдал...

И давным-давно мои товарищи  
В благородной бронзе отлиты.

Смотрят вдаль с тревогою и верою  
С городских и сельских площадей.  
И летят над ними тучи серые  
Рериховской стайей лебедей...

Всяко жил — и горестно и весело,  
Ветеран стрелкового полка.  
Жизнь не очень густо занавесила  
Орденами лацкан пиджака.

Но когда немалый путь итожится,  
Я твержу, как заповедь, слова:  
Русь жива,  
Все прочее приложится!  
Главное, солдаты, Русь жива!

Видал не раз, как города рождались,  
Как села умирают — не видал.

Двадцатый век, ты мастер грозных ломок,  
Еще их столько будет впереди.  
Как сытый конь, не обрывай постромок,  
Российскую деревню пощади.

Она ли не была тебе опорой  
И не тебе ли силы отдала?  
Не платы, благодарности нескорой  
Она, многострадальная, ждала.

Она блюла заветы и обеты.  
Она стоять умела под грозой.  
Весь пафос твой, все беды и победы  
Омыты деревенскою слезой.

В какие дали заскочили тропы  
От этих безымянных родников.  
Цветет освобожденная Европа  
На косточках железных мужиков.

Я не могу, как пасынок лукавый,  
Зорить очаг, что грел меня вчера...  
Сплелись в клубок нетоптанные травы,  
Волнуются за речкой клевера.



## ОСЕННЯЯ ПАХОТА

Что, как сыч, сидишь в поселке?  
В степь веди строку стиха,  
Где ломти крутой посолки  
Нарезают лемеха.

Где, легки и мимолетны,  
Как сурки свистят ветра.  
Где великие полотна  
Ткут сегодня трактора,

Где туман на мягких лапах  
Меж холмов бредет вдали.  
Растревожил душу запах  
Свежевспаханной земли.

С думой светлою о доме  
Ту землю пригорни,  
Подержи ее в ладони,  
В кулаке ее помни.

Глядь, как он замешен прочно,  
Перегнутой на влаге рос.  
Вот она, живая почва,  
На которой ты возрос.

И пока живешь ты с нею  
В обязательном родстве,

\* \* \*

О, эти безгромные воды,  
Тишащие эти ручьи.  
Ворчливая нежность природы —  
Гуденье пчелиной семьи.

Скатерка гречишного поля,  
Гусей пролетающих клин.

### *Борис Примеров*

#### ОДА ХЛЕБНОМУ ЗАПАХУ

Я родился под выжженным небом,  
На земле, где на тысячи лет,  
Кроме запаха трудного хлеба,  
Никаких больше запахов нет.

Этим запахом время кричало,  
О сердца высекало огонь  
И руками корявыми брало  
За широкие крылья гармонию.

В каждой клавише пелось про жито,  
И мотив оперялся и креп.

Год от года быть сильнее  
И России и Москве.

Первый клин уже оборан.  
«Хорошо ли, поглядим», —  
Вдоль по пашне ходит ворон,  
Старый ворон-нелюдим.

А в безоблачье высоком,  
Там, где синь уже скупа, —  
То ли коршун, то ли сокол,  
То ли серая скопа.

Осторожно крылья машут,  
Даль течет из-под пера.  
Землю пахут,  
Землю пахут,  
Землю пахут трактора.

Черный пласт мерцает влажно  
Над бороздкой сквозной.  
Ах, как празднично и властно  
Этот мир владеет мной.

Как он дали раздвигает,  
Тихим светом залитой,  
Как он сердце обжигает  
Болью, радостью, мечтой.

И воля. Сарматская воля  
Окутанных дымкой долин.

Испуганный шорох блинок,  
Рассерженный клекот скопы.  
Отечества желтый суглинок  
Блестит на изломе тропы.

Ничего на земле не забыто,  
Но особенно — горестный хлеб.

Доставалась горбом  
мне горбушка,

Но была до чего же вкусна  
Малость самая, крошка, осьмушка,  
Что порой выделяла страна.

Не заиграет эта пластинка,  
Эта музыка вечна всегда,  
Вдруг прихлынет, придет из глубинки  
Что-то дальнее к нам в города.

Трудный хлебушек, промысел древний.  
И пускай мыслью якобы в лоб,  
Но скажу я, что нашей деревне  
И всему голова — хлебороб.

Царь-девица — великое жито,  
Государыня-матушка — степь.

\* \* \*

Над могилами — ветки  
Зеленой под росой.  
Спят в земле мои предки  
С небесславной слезой.

Ордена и медали  
Всевозможных побед!  
...Спят за темною далью,  
Спят, покинувши свет.

Спят вдали от рассвета,  
Спят который уж год.  
И с листа бересклета  
Сонно влага течет.

Постоянно и больно  
Песней самой земной  
Говорит колокольня  
Об умерших со мной.

\* \* \*

Переселилась на страницу,  
Дорогой дух переведа,  
Сорвавшись с оперенья птицы,  
Воздушная капель дождя.

И сразу по стихам шумиха  
Прошла, как будто бы в лесу  
Неосторожная лосиха  
Задела дикую красу.

О, сколько надобно отваги  
Для капли той при ветерке,  
Чтоб подойти к листу бумаги  
И проложить тропу к строке.

Гуляй, строка, в великолепье  
Цветов, разбросанных вокруг,  
Строка, воспитанная степью,  
Обретшая высокий слух.

Иди на цвет, спешу на запах,  
Являйся на любовь трель

Ничего нами здесь не забыто,  
Но особенно все-таки — хлеб.

И поныне горжусь я тем небом  
И землей, где за облаком лет,  
Кроме запаха русского хлеба,  
Никаких больше запахов нет.

Я ведь тоже оставлю —  
На кого и когда? —  
Эту светлую каплю  
С молодого листа.

Это золото злака,  
Толпы уличных встреч,  
Ночь, в которой я плакал,  
Стихотворную речь.

Мудро в это я верю,  
Неизбежна Она —  
Вдруг захлопнутся двери  
Да на все времена!..

Зашумит половодье,  
Завершится набег.  
Не сдержат за поводья  
Время, ветер и снег.

И пей, как шмель, из ярких шапок  
Чертополоха мед и хмель.

Входи в мое стихотворенье  
От сердца, с левой стороны,  
Непроходимую сиренью  
Непуганой голубизны.

Касайся одубелой кожи,  
Полуослепшего зрачка,  
Чтоб стал я на сто лет моложе,  
Чем над тобою облака.

О, сколько надобно отваги,  
Чтоб подойти с пером в руке  
К разбросанным листам бумаги  
И проложить тропу к строке.

И, поселившись на странице,  
Спокойно дух переведа,  
Со всем зеленым светом слиться  
В просторной капельке дождя.

## ГОЛУБЬ

Что так сердце молчаливо,  
Словно сумерки уже  
Наступили для прилива  
И отлива на душе.

И мерещится мне плаха,  
Нота на большой крови,  
На которую без страха  
С веток смотрят соловьи.

Молодые жены плачут,  
Потому что, как пятно,

Их надежды и удачи  
Просятся на полотно.

Но я боле не художник,  
Слух мой тяжко занемог.  
Я сегодня только дождик,  
У меня ни рук, ни ног.

Я стучу о ржавый короб  
Трав осенних, серых плит.  
Я, голодный, тощий голубь,  
Высотой своей убит.

## Юлия Друнина

### НА РОДИНЕ СЕРГЕЯ ОРЛОВА

*Б. Пидемскому—  
другу и земляку поэту*

1

Вологодский говорок певучий,  
Над резными домиками дым.  
Звезды, протаранившие тучи,—  
Две с орбит сошедшие звезды.

Только две. Их не видала ране,  
Может, родились они вчера?..  
Как бинты на незажившей ране,  
Считанные эти вечера.

Тропка к речке. Прорубь. Бездорожье.  
Отступает боль, светлеет грусть.  
Это руки протянул Сережа,  
Подарил мне Северную Русь.

Подарил мне над Шексною тучи,  
Две с орбит сошедшие звезды,  
Вологодский говорок певучий,  
Вьюгу, заносящую следы..

2

Теперь я увижу не скоро,  
Сергей, Белозерье твое,  
Где женщины, словно жонглеры,  
Шестами полощут белье —  
Красиво, уверенно, смело  
Полощут белье в прорубях,  
Где гуси над озером Белым  
Тревожно и грустно трубят.  
(Куда вы летите, куда же?  
Меня прихватите с собой!..)  
Здесь «Здравствуйте!» ласково скажет  
Приедем встречный любой.  
Здесь мальчик с глазами как блюдца  
Вдруг мне подарил туюсок.  
Здесь в детство Сережи вернуться  
Мне было дано на часок...

*Белозерск*

## Роберт Винонен

### ХАБАРОВСК — МОСКВА

Семь часов невесомой Сибири!  
Солнце полднем томило меня,  
будто в небе мой след полюбили  
и сподобили вечного дня.

Пешеходы, стареем жестоко  
от мгновенности всякой красы,  
а над облаком правильны только  
остановленные часы.

Против общего круговращения  
догоняя моторами свет,

подарили пилоты мгновенье,  
у которого убыли нет.

Нету края у рая любого,  
и сутулости нету у плеч,  
нету краха у нашей любви,  
слез — у смеха, прощанья — у встреч.

Я от трапа рванулся скорее,  
но со свистом, светясь у висков,  
налетело московское время  
и состарило на семь часов!

### БАЛЛАДА О ПОСЛАННОМ

Посылаю слово —  
парня молодого.

Вот идет, идет, идет  
к людям, к людям, к людям.  
А у них — забот, забот...  
Что ж, мешать не будем.

Ночью темной, ясным днем —  
поворот, овраг, подъем,

спуск, протока, мост, кювет...  
Впрочем, слову спешки нет.

Кто пошел дорогой песен,  
ту извещает печаль,  
что хоть белый свет и тесен,  
а от сердца к сердцу — даль.

Высоко летели годы,  
глубоко молчали воды.  
Услыхали слово —  
старика седого.

## Дмитрий Сухарев

### РЕКА

Напоследок — дурацкий круиз  
По прелестной и грязной реке,  
Вдоль прекрасных и грязных дворцов,  
Мимо вечных каштанов.

Кто-то техникой нас оснастил,  
Потому возле наших бортов  
Скачет свита в безумных лучах —  
Мошки, мушки, букашки.

И безумные эти лучи  
Вырывают из тьмы берега.  
И немые своды мостов  
Проплывают над нами.

А на стрелке того островка,  
Где и я, было дело, сидел,  
Там студенты в обнимку лежат —  
Дети вечных каникул.

И безумные наши лучи  
Вырывают студентов из тьмы.  
И студенты, объята разжав,  
Слепо хмурятся свету.

Не буди, ослепление, дурь!  
Не лети, мотылек, на огонь!  
Не стреляй в меня, бедный студент,  
Как пойдет заваруха!

Мой джинсовый нечесанный брат,  
Мой суровый возлюбленный сын,  
Обнимайся с подружкой своей,  
Я проехал, проехал.

Отгорели дурные лучи,  
Отгремел корабельный джазмен,  
Лишь река все течет и течет —  
И грязна, и прелестна.

\* \* \*

Суверенной и гордой державе  
Хорошо запускать дирижабли  
На небесный шатер голубой.  
Дирижабли слегка старомодны,  
И не слишком они скороходны,  
Да зато величавы собой.

Величаво умеет старуха  
Собеседника слушать вполуха,  
Но в последний пред запуском миг  
Что-то шепчет стиху суеверно,  
И уходит корабль суверенно  
На просторы неизданных книг.

В горнем царстве поэзии русской  
Аппарату работать с нагрузкой,  
И нагрузка порой такова,  
Что взрывается вся суверенность,  
И врывается в стих современность,  
Недержавно ломая слова.

А сегодня на небе просторно,  
У кораблика дивная форма,  
Тут не слышно и милостив бог.  
Всяк по-своему небо нарядит,  
В нем и мой легкрылый снарядик —  
Мой бумажный ручной голубок.

## Владимир Костров

\* \* \*

Воробей, стучащий в крышу,  
Дробный дождь в пустом корыте —  
Говорите, я вас слышу,  
Я вас слышу, говорите.

Прежде чем я стану тенью,  
Остро, как переживанье,  
Слышу, слышу свиристенье,  
Шебаршенье и шуршанье.

Эти травы, эти птицы  
На закате и в зените,

\* \* \*

Нет у живого чувства  
Проекция и сеченья.  
Есть родничок на родине  
Чистого истечения.  
Две березы у дома  
Жужелицы источили,  
Но сердце не забывает  
Добрых дерев свеченья.  
Грешную мою душу  
Тянет к свету и цвету,  
Тянет к насущным вопросам,  
Требующим к ответу,  
К тому,  
Что рассечь невозможно  
Ни скальпелю, ни ланцету.  
Что не разъять, вестимо,

Милые твои ресницы,  
Я вас слышу, говорите.

Ничего не надо, кроме  
Общей радости и боли,  
Доброй песни в отчем доме,  
Свиста вьюги в чистом поле.

Мы уйдем, но не как тени,  
В мир пернатых и растений,  
В песни, порохи и звуки.  
Нас с тобой услышат внуки.

Любой войне или драке,  
К тому, что непоместимо  
В кубе или квадрате.  
Тянет душу и тело  
К слову, в котором дело,  
К телу, в котором дышит  
Правдой душа живая.  
Если сказать точнее —  
К женщине настоящей,  
Рожденной не из шампуни —  
Из пены морской, кипящей.  
Туда, где музыка жизни  
Бродит от дома к дому.  
Тянет к всему живому.  
Тошно от механизмов!

## ПЕРЕХОДЯЩИЕ ЭКВАТОР

Венок критических «сонетов»

### Объяснение жанра

Один мудрый человек сказал: до двадцати лет все нормальные люди — поэты; от двадцати до пятидесяти — только поэты поэты; после пятидесяти — только безумцы... Не вдаваясь в спор о последнем пункте, отмечу цифру: пятьдесят. Эту черту проходит сейчас мое поколение. Рожденные между 1929 и 1941 годами, меж двумя великими переломами, они не успели на войну, но стали детьми войны; теперь они перебегают экватор жизни; вместе с живущими переходят эту черту и те, кто не дожил, — переходят стихами... Естественно попытка синтеза: понять равнодействующую четвертьвековых усилий в поэзии, полувекových — в жизни.

Но почему — в такой экзотической форме?

А почему вообще пишут в рифму? Рифма — выявление сценелений, сокрытых в реальности. Сонет тоже, венок тоже. Четырнадцать путей сцеплены незримо и прочно... Легко увеличить число поэтов — форма не дает.

Переселить такую форму в критику без потерь, конечно, невозможно. Подхваты мельче, чем положено по магистралу, и внутри «сонета» форму имитировать незачем: для моей задачи достаточно тех скреп, что соединяют четырнадцать — в одно. В этом смысл магистрала: найти общее и подвести черту. Не в том смысле, что — «конец», а в том, что — «венец». Для жизни полвека — половина, для поэзии же оптимум. Ибо, как сказал один мудрый человек... (Смотри начало.)

### 1. ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

Круг очерчен сразу — круг мечты. «И песнею, доставшейся в наследство. И крейсера «Аврора» резкой реей. Чеканным шагом. Стягом кумача». Так шли в будущее, и, прежде чем обернулось предгрозе грозой, — успело оно лечь в души ощущением фундаментального, неотменимого счастья. Война пощадила: из сибирских снегов, из голодных эшелонов, из очередей эвакуации увидели мальчишки не смертную конкретность окопного быта, им не доставшегося, но величественные сполохи мировой бури, о которой мечтали, которую получали как наследие, да не успели участвовать. Вынес Соколов из бури тихую грусть и «идеальную модель» мироздания: ощущение прекрасного мира, глубоко сокрытого под переходящей чередой дней, — словно прозрел потаенную драму на начавшемся пути.

Его взгляд — сквозь покровы и поверхности. Его рисунок — черным углем сквозь белый иней. Чисто, ясно и музыкально проступает контур романтического бытия сквозь будни. Кажется, только Соколов и умеет вот так видеть разом одно и другое, и от удвоенного зренья — колдовская прелесть его простых слов, зеркально глядящихся друг в друга.

Хотел бы я долгие годы  
На родине милой прожить,  
Любить ее светлые воды  
И темные воды любить.

Эти интонации неповторимы; с ними ушел Соколов на свою уникальную, «неслышную» тропу в русской лирике: этому он никого научить не мог. Он научил своих собратьев другому. Он подхватил великую веру и первым в поколении нашел для нее слова: очертил

изначальный горизонт. Он первый почувствовал, как это прекрасно: круг мечты, какой это масштаб, какой это праздник.

### 2. РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Какой это праздник — целую Вселенную осваивать, доставшуюся в наследство! «Над миром, над морем раздольно парить». Над Югом, над Севером. Над Дальним Западом, над Дальним Востоком. Дрейфующими проспектами Арктики идти, жаркими дорогами Африки, тесными улицами Нью-Йорка, Парижа... Со всей планетой быть на «ты». Космическими трассами бездну расчертить, время скрутить: темное прошлое — высветить, светлому будущему запросто подать руку: «Эй!..» Все тайны Вселенной освоить... нет тайн — есть только сроки раскрытия, взятые и невзятые рубежи.

Напористость плуга,  
дыханье завода,  
движенье  
скальпеля и пера...  
Мы помним о том,  
что любое Сегодня —  
всего лишь  
завтрашнее  
Вчера.

Он и жанровые рубежи берет первым: и в поэме он продуктивнее, увереннее всех поэтов своего поколения, и песней лучше всех умеет охватить массу. Он словно веки ставит на края лирики, как ставит веки на края земли и неба; жесткими прямыми углами своих ритмов, ораторской «маяковской» лесенкой, а более всего — открытой и искренней верой своей в безграничность сил человека Рождественский опоясал, очертил, ограничил свой мир, по горизонтали и вертикали промерил, пролетал, прокричал его, и все вверх, вверх, вверх, вверх — какое наращивание силы! Но заполнить мировое пространство живой душевностью — нет, тут еще и легкость нужна... Всеобщее и конкретное свести, такую мечту и опыт соединить, небо сопрячь и землю — тут и другое требуется: гибкость, подвижность, объемность души.

### 3. ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Гибкость, подвижность, объемность души. Неуемное, неостановимое любопытство. Все интересно, все нужно, все достойно душевного отклика, и все поглощается стихом: все вкусно хрустит на зубах, всему — радостный возглас: откуда вы? Пестрой толпой проходят сквозь стих люди, предметы, идеи, чувства, состояния, позы, маски, костюмы, окаяния и переполняющая душу, и стих живо меняется, делается демонстративно податливым: «натруженным и праздным», «целым и нецелесообразным»... У этого стиха мягко расшатана наследственность — всем великим русским поэтам клянется в верности Евтушенко, всех хочет вместить: от Пушкина до Маяковского, от Тютчева до Есенина, и всех — искренне! Тридцать лет спорят: где ж он сам в этом калейдоскопе, в этом гомоне, на этом базаре,

на этой ярмарке, он, всеобщее эхо и всеобщий болельщик, он, упоенный «поэт проходного двора»?

Идут белые снѣги,  
как по нитке скользят...  
Жить и жить бы на свете,  
да, наверно, нельзя.

Не здесь ли? Не в этом ли тайном вздохе сожаления, что не хватит сил длить этот праздник бесконечно? Может, такая готовность вместить все — и есть его реальный вклад в поэзию? Не содержательные идеи, слишком отвлеченные или сиюминутные у него, а эта вот чисто русская жажда: на все откликнуться? Не оттого ли так много оказалось у него попутчиков и так мало учеников: все влетали в этот широкий объем да прочерчивали в нем очень узкие и определенные линии... Безмерный объем души — заслуга Евтушенко: иначе не свести было края пестрой реальности, как исчерпав и истратив себя на таком глобальном размахе, — навь, в сущности...

#### 4. НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

Навь, в сущности, основа горячих миражей ее лирики: за фантастическими видениями, за прихотливым многоцветьем картин угадывается узор, сплетенный «яснейшим разумом»; игра интеллекта в ее странных песнях напоминает Леонида Мартынова, испытывавшего мир логикой, только тут все легче, мягче. В стихах Новеллы Матвеевой есть структурная прелесть детского рисунка: не «как выглядит», а «как устроено», не поверхности, а «души вещей», их связи, обретающие чудесную наглядность. Поэзия ее и возникает как стилизация под детский рисунок. Или как сказка волшебная, которую рассказывают ребенку, отрезанному от практических забав. Джунгли и пампасы, туманная сьерра, попугаи и обезьяны, пингвины, вигвамы и гномы — старые книги — исчезнувшие цивилизации... Красота этих картин — в изумительной, почти графичной законченности. Четкость штриха, четкость рисунка, четкость строки, строфы. Форма — рамка, форма — плотина, которая не дает растечься, расплзтись, развеяться душе. Сказка про неведомые страны становится реальной школой концентрации духа: создается образ бытия, которое пусть сказочно, пусть понарошку, но прочно держит само себя внутри.

Жил кораблик веселый и стройный;  
Над волнами, как сокол, парил.  
Сам себя, говорят, он построил,  
Сам себя, говорят, смастерил.

Что на горизонте? «Константинополь, Суэц, Канада...» Но не реальные, и даже не «географические», а — графические, спроецированные на «радужную карту земли» огнем воображения. Плывет вольный кораблик, «сам свой боцман, матрос, капитан», откатывается душа в себя, хочет удержаться одною внутреннею силою.

#### 5. БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

Внутреннею силою держится у нее дух — вывесь вознесенный или вглубь упитанный, — сокрытый от жадного мира. Лейтмотив: дитя, тайно зреющее во чреве матери, укрытое в спасительной тьме. Лейтмотив: хрупкая девочка, неприступно гордая, надменно холодная среди толпы. Лейтмотив: гений — мета во лбу! — художник, творец, одинокий среди «мышинного сброда»

жизни, сладостно высокомерный в своей отверженности. Сверкающим циркулем — кольцо, круг избранности, за пределами круга — пустота, беспредметность. Предметы лишены собственных связей, кроме тех мгновений, которыми награждает их художник в нужную ему минуту; не предметы даже, а приметы, потрешные духу; два-три излюбленных символа выделены из окружающей мглы: сад, свеча, тетрадь стихов... Антиквариат: музейные вещицы, с которыми гений согласен вступить в игру.

Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,  
я безрассудно и навеки кану,  
одна среди сияющих листов  
неся свою ликующую кару.

Обжигающе-ледяной, серебристый, кристальный стих Беллы Ахмадулиной изумительно выявляет тему внутренней неуязвимости духа; этот стих упрямо напрягается изнутри, снаружи он округл и опрятен; все чуждое с него соскальзывает, ничто к нему не пристает, не цепляется, отлетает прочь. Есть в сиянии этого стиха что-то дунное: безжалостная безучастность. «Я лишь простак, что извне приглашен для сотворенья стороннего действия. Я не хочу!» Так, ослепляя и отделяя себя, спасается и усиливается дух до гордыни, каменеет в замкнутости, словно страшась узнать, какая сокрыта в этом затворе катастрофа.

#### 6. ЮННА МОРИЦ

Сокрыта в затворе катастрофа: ежится душа, словно моллюск в раковине; кому нужен этот бескровный студень, этот музейный перламутр? Юнна Мориц распахивает створки — ножом! Контакт с реальностью в ее стихах — смертельное лезвие, рана, грань разрыва от напряжения сил. Неистовый бунт рождается в «традиционно-слабой», женской душе — восстает душа-максималистка: в юности — только на Крайний Север, на полюс желаний — «прижаться гибким своим хребтом к Яблонову хребту».

В зрелости? Жизнь пробоет душу прозой, бытом, каждодневной поденщиной, кухней. Тогда — навстречу этой некрасоте! Муза — сварливая прачка, базарная фурия, карга с клюкой, жилистая работница, дерзкая ведьма, сумасшедшая мать...

Ее строчки вызывающе прошивают суровой нитью, ее стих не боится быть грубым — никакой опрятности: лучше вакханалия, чем профанация! «Будуар с амбаром», «пекло с холодиной» и смех со слезами — ни меры, ни покоя; стих шипит, прыгает, как пламя во тьме, слепит черным: то ли ночь, то ли сажа по лицу, то ли перо вещей птицы.

С пиратским свистом, где-то в бронхах заблудясь,  
Дожди и ветры ищут выход, рвутся прочь.  
И курит мысль, ко мне за спичками пройдясь,  
И слезы, слезы, утирает слезы ночь.

Это не слезы умиления, это слезы ярости. Не ночь, а вспышка тьмы. Дисгармония как предел гармонии: жгучей мукой оплачивает возвышенная душа контакт с реальностью — бросается в жизнь, как в гибель: на гармонию уже не хватает сил.

#### 7. АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

На гармонию не хватает сил — он выстраивает свой мир как дисгармонию. Дисгармония здесь — принцип мироорганизации. Открытие Вознесенского в том, что он показал: «на антипринципе» можно заложить такую же стройную и неотличимую Вселенную.

Его тема трудноопределима. Его пафос не рискует

быть безоглядным. Поэт бунта, поэт буйства, поэт «неуправляемых», выплескивающих красок. Но и — поэт завороченной тишины, словно поражаемый мгновенным чувством меры. Созерцает в воздухе ошеломляюще современные города, неоновые их контуры воспеваает. Но и — замшелый, древний муромский сруб любит не меньше. С хиппи в битловках курит сигаретки. Но и бабами сибирскими заворочен. Зверя и бога зовет попеременно. Все охвачено, все взаимопросвечено, все отражено одно в другом. Заслуга автора «Треугольной груши» и «Вечного мяса» в том, что безразмерную, распяленную на весь мир душу, первый публицистический автопортрет которой был дан у Евтушенко, Вознесенский сумел передать в масштабе поэтической строчки: нашел интонационный код, тип словесного сцепления, первоэлемент ритмики для этой безупрочной души. И оттого именно за ним пошли подражатели: не «тему» подхватили, а «язык»: игру словесных превращений, когда высокое и низкое переключаются, теряя себя в реальности и обретая в парадоксе. Когда их не различить в строке.

Божеественно после парилки  
в реликтовом озере Рильке!..

«Потерянность» становится эстетикой; сняет в безде воздушный замок скорби. Есть Мироздание, есть Космос, есть Глобус. Но где земля?

## 8. ВЛАДИМИР ФИРСОВ

Где земля? Да под ногами, на ощупь. Под руками — под косой и плугом. Под сердцем, когда сожгешься и согреваешь землю своим теплом и от нее согреваешься. Фирсов — поэт земного тепла; небо у него холодно и враждебно; там — далекое чужое солнце; оттуда — грозы и напасти. С неба падает на эту землю война, пресекая и испепеляя детство.

Пар идет от стонущих деревьев.  
Облака обожжены вдали.  
Огненным снопом  
Моя деревня  
Медленно уходит от земли.

Фирсов воздействовал на литературный процесс преимущественно своими воинственными поэмами, полными обиды за деревню и гнева на ее врагов и, в частности, на «сакофонную» городскую поэзию. Это сделало его принципиальным «вечным антиподом» Евтушенко и Вознесенского, между тем как по психологической основе все они — дети одного времени и производные одной ситуации: та же изначальная доверчивая нежность, та же «идеальность духа», прикрывшаяся броней принципов. Понять у Фирсова смысл его борьбы с «недругами», почувствовать тот озноб, который охватывает его при слове «чужой», можно только в том случае, если знаешь тот мир, где он «свой», — тот мир, который он потерял. Ибо если есть в поколении детей войны настоящий поэт потерянного рая, то это Владимир Фирсов. Матерински-теплая, покойная земная обитель, родное крыльцо, рука отца, пахнущее медом поле, пригнувшийся под тяжестью шмеля подснежник, бездвижные облака над тихими березами — вот музыка души, вот потерянный рай, вот вечное лоно, которое пытается сохранить в памяти душа, выбрасываемая историей на ледяной ветер.

## 9. НИКОЛАЙ РУБЦОВ

Ледяной ветер, пронизывающий стихи Рубцова, знобящий, злой, сырой, неромантичный ветер — лишь часть его правды. Существенно другое: этот ветер

свистит «за воротами». За стеной, за окном. Решающий мотив рубцовой лирики — укром: комната, горница, тихий угол, невзрачный, дремлющий, покойный, безвестный, или, если брать самое ключевое у него слово, — «глухой». Этот укром непрочен: поэзия Рубцова возникает на острой грани между холодной тьмой и холодным светом; здесь секрет ее неповторимой интонации: внешний и внутренний миры как бы замирают в случайном равновесии.

В горнице моей светло.  
Это от ночной звезды.  
Матушка возьмет ведро,  
Молча принесет воды...

Вода, как и ветер, — не просто черта северного, вологодского, всегда очень точного у Рубцова пейзажа; вода — это и знак стихии; черный затон, стоячее болото — то ли след всемирного потопа, то ли предвестие его. Тишина полна знамений: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто». Скрип ворот. Стук ходиков. Доносящийся издалека тонот копыт. Лейтмотив погони: «чей-то злой настаивающий тонот». И стук в дверь: вот-вот вломятся, лишат покоя — не спрятаться! Угрюмый герой Рубцова, словно загнанный в пору зверь, ощущает в себе поднимающийся тяжелый гнев, «адский дух», жажду драки. Он кровно привязан к родному дому, но эта любовь, освещающая стихи неровным, «сплошным» светом, оборачивается у Рубцова горькой уемшкой: холодом дышит мгла мироздания. Как стерпеть, как выстрадать на таком ветру любовь к людям, любовь к миру, любовь к судьбе?

## 10. АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН

Любовь к судьбе — его ключевая тема. Уже не абстрактно-идеальная и не абстрактно-катастрофическая судьба Вселенной, но та реальная судьба, что из Утиных Двориков голубого детства бросает тебя в горящий Воронеж сорок первого года, в сиротство, в колымскую стужу. И не к абстрактному человечеству любовь испытывается, а к конкретному человеку, в чьих руках может оказаться твоя жизнь. К солдату, например, который кладет на пенек полначки спасительной махорки — не сразу решишься взять ее. И не с небес мечты сходит истина — она добывается страшным опытом: горек вкус ее. Жигулин — реалист; он не чужд и пафоса; но нерв его поэзии все-таки не пафос и не фактура реальности, а чувства, высекать волей к жизни в смертельной ситуации.

Россия... Выжженная болью  
В моей простреленной груди.  
Твоих плетней сырые колья  
Весной пытаются цвести.

Любовь — березка на руинах. Но растет. Душа — свеча на ветру. Но горит. «Жизнь — нечаянная радость, счастье, выпавшее мне». Можно назвать Жигулина поэтом смирения: смирения природы перед круговоротом жизни-смерти, смирения человека перед судьбой. Но это смирение далеко от благостности. Символ его — черная калина, ягода, всходящая на пещелище. Цвет смирения — не голубенький; это цвет золы, цвет самосожжения. Душа человеческая, исполненная тепла и добра, ты проходишь сквозь искус безжалостного, неумолимого, «природного» мира; упрямо храня любовь, ты уже мало веришь в «идеальное мироздание», хотя тоскуешь по нему и всею судьбой помнишь духовную задачу: почувствовать и открыть целостный план бытия.



## 11. ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ

Почувствовать и открыть целостный план бытия? Где? В этом тихом городке, с детства привычном? В деревянном, среднерусском, подмосковном «посаде» каком-нибудь, с петушиным криком и стуком поезда, с капустой в кадках и водокачкой на окраине? Или в этой одинокой немолодой женщине, стрелочнице, в выходной день празднично стоящей на крыльце своего домика? В ней?..

Класть ли шпалы, копать ли землю  
хоть несладко, да не впервые.  
Вот и выдалось воскресенье,  
о плечистая дева Мария...

Трогательно-понятный, здешний, «райцентровский» быт с его нехитрыми секретами — прямо содвинут, сопряжен у Чухонцева со «звездным небом над нами», с библейской символикой, загадывающей этому миру высокий смысл и высшее единство, и от этого возникает в стихах ощущение тревоги, тайны и значимости всякого бытия. Это тайна, разделяющая и соединяющая быт и бытие. Чухонцев поэт такой незримой связи. Поэт любви, терпящей и обретающей себя в несчастных встречах. Поэт духовных скреп, прочных и непрочных в жизненной пестроте, — как непрочно, неслышна и неведома кладбищенская тишина мальчикам, играющим за оградой в хоккей, — но эта тишина не менее реальна, чем их игры. Как же это примирить? «Не знаю». Чухонцев первый, у кого хватило сил на такой ответ. Развоплощен, раздроблен дух, разъят в пестроте обыденности, пленен и связан — дремлет, как Илья до вторых петухов. «О истина, темно твое служенье». Секреты обыденной жизни все на ладони, а тайну целого — как вместишь теперь и охватишь? От этой тайны покоя нет, душа цепенеет.

## 12. СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

Душа цепенеет и яростной, жестокой, злой силой сжимает себя в кулак. Выгорают иллюзии; исчезает в этом пламени далекий предвоенный калужский мальчик — безлюбье мира навсегда уязвило его. Жизнь не прощает ни пустых грез, ни наивных чувств; в жизни так: око за око! А раз так, то с надмирных высот и с далеких звезд — обратно на землю, на прочную, реальную, ощутимую на удар, на напор.

У Куняева — е с т ь твердая концепция мироздания:

Этот мир со зверьми и людьми —  
он давно бы рассыпался прахом,  
если жизнь вдруг пошла бы под знаком  
бескорыстной и вечной любви.

Выйдя из такого же среднерусского, войной опустошенного городка, проходит тем же окопем дорог, эшелонами и очередями, казармами и зимовьями, многолюдьем и пустышностью — и, пройдя земные горизонты, возвращается к родному порогу с душой, чугушной от усталости, не мальчик, но муж, изверившийся и вооружившийся тяжелым опытом. И потому дом его — не затвор, а крепость. И воля его — не простор, а обруч: это воля, сама себя связавшая, это необходимость, равная свободе, это добро, откованное из зла, это безжалостный порядок, сознательно поставленный над хаосом сталкивающихся природных сил. Иллюзий нет. Холоден взгляд истины. Куняев — поэт зимы и предзимья, льда и метели, камня и железа; у него и листья гремит, хрустит, скрипит и скрежещет, как скрежещет самый стих его, тяжелый и негибкий. Не любовь, не добро вынес он из скитанья, но терпенье и

силу: силою воли согнуть природную силу. А если добро, то кулаками пригнуть мир к добру. Прочно ли? Энергия закована и ждет часа.

## 13. ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

Ждет часа и взрывается энергия души, не знающей иных начал, кроме закона борьбы, и не заставшей иных очагов, кроме тех, что едва теплились посреди холодных развалин войны. Уже нет в памяти довоенного рай, и не с чем сравнивать эту ледяную пустышность — она дана как точка отсчета. Не было иллюзий, нет и постальгии, и традиций нет: ни «книжных», городских, ни вековых, деревенских. Есть детский дом и сиротство, лес и одиночество, простор и воля, свист и синева. Поэт риска и удачи, форта и фортуны, Шкляревский видит жизнь как столкновение с сильным противником; путь только один: согнуть, переломить эту землю и эту усталость. «Я молодой и сильный враг твоей тоски, твоей печали».

Идут годы, и молодых победителей сменяют в его поэзии молчаливые старики, согнутые работой, прошедшие жизненную школу. Тогда ощущается в просторном и гулком мире предел, которому он не находит названия. Перед этим неведомым барьером возникает в нем неведомое чувство: «Нет бога в пустоте, но обожаю страх». Страх силы перед силой, смутно ощущаемой вне себя. Но и здесь — пощады не просит, готовится к бою. Как когда-то в детдоме, где втемную били слабые:

Остепенились вы и постарели.  
Отворовались, в небо отвистели.  
Пустьрь за домом, строй далеких лет,  
доверья не лишай — нести ответ.

Звонкий голос Шкляревского становится глуше, резкая интонация глубже и трезвее. Но не мягче. Азарт победы сменяется готовностью стерпеть поражение: чует душа над собой неназванную силу; вот-вот и а з о в е т ее и прогонит последние следы тумана.

## 14. ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

Следы тумана сгорают в магне его поэзии. Кузнецов — фигура предельная, пограничная — на рубеже. Роденный в 1941 году, он получил войну как единственную реальность. Он написал о погибшем отце безжалостные строчки, не мыслимые ни у кого из «предвоенных мальчиков»: «Отец!.. Ты не принес нам счастья!..» Кузнецов не просто обновил систему мыслей и настроений — он обновил саму ткань стиха.

Он отказался от таких фундаментальных для поколения поэтических понятий, как Разум, Путь, Свет в конце пути. У него д у р а к режет для науки царевну-лягушку; поезд идет не по рельсам, а по змеям; пути нет; движение — это движение «поперек»; впереди — не свет, а жар, пекло, апокалиптический огонь. Он отказался от поэтики Лица, Личности, Любви. Его видения: пустота на месте лица, пустая одежда, столб пыли, идущий в образе человека. Он отказался от музыки стиха, от самого принципа организации в стихе гармонического или дисгармонического пространства. У него «неощутимое» материализовалось, символы сцепились и царапаются, кровавятся, трутся друг о друга, идет дым, летят искры, ползет всепоглощающая мгла.

Через дом прошла разрыв-дорога,  
Купол неба треснул до земли.  
На распутье я не вижу бога.  
Славу или пыль метет вдали?..

«Равнодушный» взор его поэзии — это не просто приговор чувствительности, это новый базис: провозвестие жестокой правды, вулканическое обновление космоса, окончательное освобождение от пустой «идеальности». Это конец: развеян сон, экватор пройден, низвергается душа на изначальный круг, не желая знать, что круг очерчен.

## 15. МАГИСТРАЛ. ПЕРЕХОДЯЩИЕ ЭКВАТОР

Круг очерчен сразу: круг мечты. Какой это праздник, какая уверенность, какое наращивание силы! Заполнить мировое пространство живой душевностью, мечту и опыт соединить, небо сопрячь и землю — тут гибкость нужна, подвижность, объемность души, иначе не свести краев пестрой реальности... Искерпав себя на таком глобальном размахе — наив, в сущности! — откатывается душа в себя, хочет удержаться одною внутренней силой. Усиливается дух до гордыни, каменеет в замкнутости, страшась узнать, какая со-

крыта в этом затворе катастрофа, и жгучей мукой оплачивает контакт с реальностью. На гармонию уже не хватает сил, потеряность становится «эстетической»; сияет в воздухе воздушный замок скорби: есть Мироздание, есть Космос, есть Глобус — но где земля? Да под ногами, на ощупь. Под руками, под косой и плугом — вот потерянный рай, вечное лоно, которое пыгается сохранить в памяти душа, выбрасываемая историей на ледяной ветер. Холодом веет от горизонта мгла мироздания: как стерпеть, как выстрадать на таком ветру любовь к судьбе? Всею судьбой ты помнишь духовную задачу: почувствовать и открыть целостный план бытия. А тайну целого — как вместишь теперь и охватишь? От этой тайны покоя нет, душа цепенеет, яростной, жестокой, злой силой сжимает себя в кулак. Выгорают иллюзии, а если добро — то кулаками пригнуть мир к добру. Прочно ли? Энергия закована, и ждет часа, и чует над собой неназванную силу — вот вот назовет ее, прогонит последние следы тумана. Это — конец: развеян сон, экватор пройден, низвергается душа на изначальный круг, не желая знать, что круг очерчен.

## Сергей Подделков

### УТРО НА ОКЕ

Спелый август.  
Утро. И в пару  
сизая Ока — и с неба ветер  
облачность сдирает, как мездру.  
Рыбаки забрасывают сети.

Лес шипит.  
По гуще хвойных грив  
дрожь идет, перебегают тени.  
Я гляжу на глинистый обрыв,  
стоя на береговом колене.

Здесь река сломалась, обнажив  
угол берега.  
В крутом откосе  
вскрыта яроводьем тайна жил —  
корни поднимающихся сосен.

Сутолока мыслей...  
Как мне быть  
в этом мире, сладком и суровом?  
Мне бы силу сердцу раздобыть,  
корни жизни обнажать бы словом...

1933

\* \* \*

Походить ли мне по свету за тобою  
исподволь, сторожко, тише тонкой тени?  
Ах, как теплится, мелькает над тропею  
кофта красная в березняке весеннем!

1934

\* \* \*

Погляди в окошко —  
ходит волчий глаз...  
Ветер, как заноза,  
воя, лезет в паз.  
Звезды — как слезятся  
на щеке у ночи,  
и в душе неприбрано  
в этот поздний час...

1938

## КРАЖА

Никого на опушке,  
лишь кустарников сход,  
по дубовой макушке  
облак сонно ползет,  
травы блеклые сохнут,  
паутина как бязь,  
я стою там, где согнут  
в три погибели вяз.  
Пахнет гнилостью дягиль,  
мошкеры толчея,  
я таюсь, как на тяге,  
с думой цепче ресья.  
А в листве уйма скважин,  
взгляд вставляю, как ключ,  
брежу яростной кражей,  
час разбойный тягуч.  
Яд какой-то боязни,  
луч тревоги в крови, —  
или горести праздник,  
или праздник любви.  
Ветви словно пружины,  
глазомер — сквозь кусты,  
из-за волчьей крушины

появляешься ты...  
Хаос листьев на платье,  
ситца зыбь, перелив,  
нет коленей крылатей —  
сокровенный порыв!  
Ты — и разум и тело —  
как в огне купина.  
Да какое мне дело,  
что чужая жена!  
Обвиваю руками,  
нам трава что постель,  
осыпаю словами,  
будто свадебный хмель.  
Мир оглох и невнятен,  
в головах ходит чад,  
слитки солнечных пятен  
меж стволами лежат.  
Кто рассудит острожий  
вечной страсти разбой?  
Кража — промысел божий,  
если это любовь.

1940

## ОБРАЩЕНИЕ К СУДЬБЕ

Люди — судьба, это старый рассказ.  
Жил я и чувствовал тысячи глаз:  
пристальных, жадных, когтистых, берложьих.  
Я ликовал, сам собой становясь,  
ты ж — барабанней, порожней и строже...

Как Росинанта, я честь свою пас,  
был я доверчив, как кролик... И что же?  
Ты же смолила души моей ясь,  
ты меня, правдой оборотясь,  
била с надсадом, как мачеха, ложью.

Что б ни сказала ты — вечно права,  
пишешь доносы, диктуешь уставы...  
Гуси в отлет, и пожухла трава,  
и потускнела моя голова,  
сердце, как зимнее солнце, устало.

Что ж еще надо? Ты внемлешь словам,  
пьявка ухмылки скользит по губам.

1952

## ИЗДАЛЕКА

Ночь с острою луной,  
весь дом наполнен снами.  
Бессонница со мной —  
что делается с нами...

Во власти тех же звезд  
наш Павловск в зимних сводах...  
И память, будто мост,  
легла вдруг через годы.

Я ею взят в полон.  
Дымится чашка кофе.  
Во мне — то ль крови звон,  
то ль голос Нины Гоффер.

Воображенья дар  
как бы из пепла лепит  
душевный, странный жар,  
переходящий в трепет.

1976

ИЗ КНИГИ «ПИСЬМА КАТЕРИНЕ,  
ИЛИ ПРОГУЛКА С ФАУСТОМ»

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПРОЛОГУ

И все-таки смог. Вознамерился. Стрелки, решил, передвину.  
Все сроки нарушу.

Привычные связи разрушу. Начну все сначала, решил.

И дьяволу душу не продал, а отдал за милую душу  
и с Фаустом вместе ту самую чашу до дна осушил.

Ну что же, в дорогу, душа моя, с богом, начнем понемногу.  
Приступим к прологу. Мгновенье, воскликнем, гряди!  
...И, под вечер из дому выйдя, пустился я тихо в дорогу,  
и странный попутчик мой шел со мной рядом и чуть впереди.

Уже нас виденья в ночи окружают причудливым роєм.  
Багровая молния где-то за нами проводит черту.  
Какие ж мы тайны с тобою откроем, едва приоткроем  
ту звездную занавесь неба, завесу заветную ту!

Сферический купол над нами качается, ночь еще длится,  
размеренно движутся сонмы бесчисленных звезд и планет.  
И вот постепенно из тьмы проступают какие-то лица.  
Тебя еще нет среди них, Катерина, пока еще нет.

Но все, что вокруг, — удивительно так, необычно и ново,  
и все это значит, что ты уже есть и ты где-то в пути,  
пылинка, туманность, дождинка, снежинка из века иного,  
и суть, и загадка его, и разгадка, и дух во плоти.

Снежинка и ветер, легчайшее облачко, смутная дата,  
дыханье, мерцанье, мгновенье какого-то дня,  
то самое лучшее что-то, что будет когда-то  
со мною, при мне, и потом еще, после меня.

Мое очищенье, мое искупленье, мое оправданье,  
мое испытанье — заведомо знать и не думать о том,  
каким быстротечным окажется позднее это свиданье,  
как скоро приходит за ним неизбежное это потом.

И все-таки жду и ловлю благодарственно первый твой шаг  
осторожный.

Иди и не бойся, душа моя, день наступает, пора.  
И легок руке моей посох — как перышко легок мой посох дорожный,  
и тысячекрат тяжелее свинцовая тяжесть пера.

\* \* \*

Остановилось время. Шли часы,  
а между тем остановилось время,  
и было странно слышать в это время,  
как где-то еще тикают часы.

Они еще стучали, как вчера,  
меж тем как время впрямь остановилось,  
и временами страшно становилось  
от мерного тиктуканья часов.

Еще скрипели где-то шестерни,  
тяжелые постукивали стрелки,  
как эхо арьергардной перестрелки  
поспешно отступающих частей.

Еще какой-то колокол гудел,  
но был уже едва ль не святотатством  
в тумане над Вестминстерским аббатством  
меланхолично плывший перезвон.

Стучали падуанские часы,  
и педантично страсбургские били,  
и четко час на четверти дробили  
Милана мелодичные часы.

Но в хоре этих звучных голосов  
был как-то по-особенному страшен  
не этот звон, плывущий с древних башен  
по черепицам кровель городских,—

но старые настенные часы,  
в которых вдруг оконце открывалось  
и из него так ясно раздавалось  
лесное позабытое ку-ку.

## СЦЕНА У ОЗЕРА

Озеро Тракай в Литве. Берег. Старинный замок вдаль.  
Раннее утро. На берегу — П о э т и Ф а у с т.

Ф а у с т

Мне кажется, что вновь я нахожусь,  
как в дни былых скитаний многотрудных,  
у вод Эгейских, нежно-изумрудных,  
на бесподобном празднестве морском.  
Вновь nereиды в этот ранний час  
гуляют, как купальщицы по пляжу,  
а после снова примутся за пряжу  
и сядут прясть на пряхках золотых.  
Восходит солнце. Снова будет день,  
еще один из множества бесчисленных  
обычных наших дней и дней бессмертных,  
которым кануть в Лету не дано.  
А нам все мало, мало, нас опять  
куда-то вдаль влечет — ворочать горы,

Певунья механическая та  
зрачками изумленными вращала  
и, смыслу вопреки, не прекращала  
смешного волхвованья своего.

Она вела свой счет моим годам,  
и путала, и начинала снова,  
и этот звук пророчества лесного  
всю душу мне на части разрывал.

И я спросил у Фауста: — Зачем,  
на целый мир воскликнув громогласно  
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»,  
забыли вы часы остановить!

И я спросил у Фауста: — К чему,  
легко остановив движенье суток,  
как некий сумасбродный предрассудок,  
вы этот звук оставили часам!

И Фауст мне ответил: — O mein Herr,  
живущие во времени стоящем  
не смеют знать о миге предстоящем  
и этих звуков слышать не должны.

К тому же все влюбленные, mein Freund,  
каким-то высшим зреньем обладая,  
умеют жить, часов не наблюдая.  
А вы, mein Herz, видать, не влюблены?!..

И что-то в этот миг произошло.  
Тот старый плут, он знал, куда он метил.  
И год прошел — а я и не заметил.  
И пробил час — а я не услышал.

искать волшебный корень мандрагоры,  
иль камень философский добывать...

П о э т

Да вы поэт, мой Фауст, видит бог!  
Я дам сейчас вам перья и бумагу,  
и вы, мой друг, садитесь и пишите,  
и сочиняйте все, что вам угодно,—  
канцону, пастораль или сонет,—  
сей дар похоронить в земле преступно!

Ф а у с т

Ну что ж, кому прекрасное доступно,  
кто любит — тот действительно поэт.

П о э т

Да, вы поэт, мой Фауст, в этом суть,  
и потому вы так великодушны,

и я не знаю, что мне должно сделать,  
чтоб вам воздать за вашу доброту.  
И все-таки,

и все-таки опять  
я смею вас беспокоить просьбой,  
последней моей просьбою смиренной  
и самой сокровенною моей.  
Мне очень нужно, о мой добрый Фауст,—  
да, мне это, как жизнь, необходимо,—  
хотя бы раз, хотя бы на мгновенье  
воочию увидеть Катерину  
в том времени, немисливо далеком,  
в том будущем, в котором неизвестно,  
смогу ли увидеть ее хоть раз...

Фауст

Хотя, насколько помнится, mein Herz,  
подобным обещаньем я не связан,  
но раз вам это нужно — я обязан,  
и вашу просьбу выполню тотчас.  
Глядите ж!..

Возникает утро какого-то дня две тысячи первого года.  
Комната Катерины. Катерина, молодая женщина  
лет двадцати семи, в кресле, с раскрытою книгой на ко-  
ленях.

Катерина

Не первый раз листаю эту книгу.  
Когда-то мне казалось необычным  
ее название — «Письма Катерине,  
или Прогулка с Фаустом», а вот  
привыкла и читаю, словно адрес,  
написанный однажды на конверте,  
в котором до сих пор хранятся письма,  
когда-то адресованные мне.  
(Читает наизусть.)

«Я дьяволу души не продавал —  
хоть с Фаустом сошлась моя дорога,  
но он с меня не спрашивал залога,  
моей души не требовал взамен...»

Конечно, нынче так уже не пишут.  
И верно, слог немного старомоден.  
И эти рифмы — кто ж теперь рифмует!  
Ах, день минувший, мой ушедший век,  
вчерашнее уже тысячелетье,  
извечный спор архаики с модерном,  
их бурные ристалища и распри,  
и странный их в итоге симбиоз...  
И все же я к тебе, мой прошлый век,  
то странное испытываю чувство,  
которое подобно ностальгии,  
и сладок его вкус, и горьковат...  
(Раскрывает книгу и начинает читать.)

Поэт

Вы посмотрите, Фауст, посмотрите —  
слезинка по щеке ее скатилась!  
Я к ней пойду! Хотя бы на мгновенье!  
Я только ее волосы поглажу,  
слезинку набежавшую утру!..

Несмотря на запрещающие знаки, которые подает ему  
Фауст, бросается к Катерине. Виденье тотчас исчезает.  
По щекам Поэта текут слезы.

Фауст

Увы, нам только кажется порой,  
что сами мы свой жребий выбираем.  
А мы всего лишь слезы утираем,  
чужие ли, свои — не все ль равно!

Иван Савельев

\* \* \*

Прекрасно сердце матери моей.  
Оно на расстояние согревает.  
Его тепла на всех детей хватает,  
Как словно сердце не одно у ней.

Прекрасны руки матери моей.  
Проворные, они не суетливы.  
Как устье Волги — синевы синей —  
Их вен неторопливые разливы.

Прекрасна память матери моей,  
Что все хранит, чего не помнят дети.  
Огни побед и пламя лихолетий,  
Как на посту, в глазах стоят у ней.

НАВСЕГДАШНИЙ КАМЕНЬ

*Памяти матери*

1

Ни морщинки еще  
на лбу,  
но уже — ни живинки в теле.  
Ты покачивалась  
в гробу,  
словно девочка в колыбели.

Помню холмики и кресты,  
фотокарточку чью-то в нише.  
А кладбищенские цветы  
были ростом с меня  
и выше.

Чей-то вздох:  
«Больно сын-то мал...»  
И никто не щунял мальчонку.  
Я по кладбищу  
побежал  
за лимонницею вдогонку.

По-ребячески лопоух,  
замер там,  
где зияла яма...  
Я тебя с той минуты вслух  
окликать разучился,  
мама.

А легко ли пришлось мальцу,  
как он выжил —  
не на авось ли?  
Я остался лицом к лицу  
перед всем, что изведал после.

А остался я, твой родной,  
в мире грозном и многоликом,  
пред мальчишеством и войной,  
перед счастьем  
и перед лихом.

А беда-то не мать родна́  
и не мед из лесной колоды...  
Как ты смела средь бела дня  
да в твои молодые годы?!

Подрасту, наберусь ума  
и друзей заведу,  
но вскоре  
похоронками в их дома  
понагрянет  
за горем горе.

Напластуеться боль на боль,  
и удар за ударом — в душу.  
Боль на боль —  
позабуду, что ль,  
тех парней  
и тебя — роднушу?!

В сердце места живого нет,  
а побитое место бóлько.  
После столького — не секрет —  
я живучестью жив, и только,

жив живучестью потайной —  
так под камнем  
родится Кама.  
Никому —  
лишь тебе одной  
как-нибудь я поплачусь, мама.

2

«Кинь земли!»  
Я и рад кидать...  
Кто-то — в слезоньки:  
«Несмысленыш,  
ты же маму,  
родную мать,  
ты же счастье свое хоронишь...»

Кто-то гладил, жалел меня...  
Я не знал их — родня ли, кто ли...  
Как ты смела средь бела дня  
по своей ли по вольной воле?!

На сыновью мою беду,  
ты уснула, да так уснула,  
что просыпа уже не жду,  
хоть земля  
изведись от гула,

хоть изной на семи ветрах,  
хоть сожмись она вся во жмульку,  
хоть рассынься она во прах,  
хоть сварись она вся в сосульку —

в чертов палец,  
когда с небес  
низвергаются струи молний...  
Вот и Кама.  
А где же лес —  
тот, кладбищенский?  
Где же холмик?

Иль застроили тот погост?  
Или русло спрямила Кама?  
У кого разузнать?  
У звезд?  
У людей уже поздно, мама.

Сколько раз я ни прилетаю,  
нет надежды и ни на волос, —  
лишь за кликами птичьих стай  
примерещится мне  
твой голос.

Вдоль Урала — лесная синь,  
и бок о бок с тобою — Кама.  
Вековечнее всех святынь

этот Каменный Пояс,  
мама.

Где б ни жил, я повсюду знал:  
ты со мной,  
если я с Прикамьем.

Так уж вышло,  
что весь Урал  
стал твоим навсегдашним камнем.

...Мне пора на аэропорт.  
Спи, родимая, дорогая...  
А лимонница — порх да порх, —  
та же самая  
иль другая?

## *Александр Межиров*

\* \* \*

Вспышкой памяти мгновенной  
Повторил случайно ты  
Вдоль полуторки военной  
Указатель — Решеты.

Никакой на свете силой  
Не переломить судьбы —  
Решеты на речке Синей,  
Деревушка — три избы.

За рекой спасенья нету,  
Нет спасенья никому.  
Там земля навстречу небу  
Поднимается в дыму.

Холодна, как в Иордане,  
Эта синяя вода.  
Запоздалое прощанье  
Перед встречей навсегда.

\* \* \*

Ах, лицедей, какой же ты мастак,  
Когда опять накладочка на сцене:  
Ты не хотел, — но получилось так,  
Не думал, — но такое впечатленье.

Накладка. Не сошлось. И вот опять  
Ты вроде стал без умысла Мазепой.  
Как все предположить, предугадать  
В своей игре ненужной и нелепой?



\* \* \*

Когда за окнами свищет вьюга  
И ничего не видеть кругом,  
Он впотьмах, на ощупь находит друга,  
Чтобы справиться с ним, как с врагом.

Среди врагов он врага не ищет,  
Потому что с врагом тяжелей совладать,  
Когда за окнами вьюга свищет  
И ничего кругом не видеть.

\* \* \*

Весь вечер из окна — до, ре,  
Ми, фа, соль, ля, си, до —  
и туго  
На синтетическом шнуре  
Полуоткрытая фрамуга.

Весь вечер из окошка — до,  
Ре, ми, фа, соль, ля, си —  
и снова  
Тысячекратно — от и до —  
Вся гамма бытия земного.

## *Евгений Евтушенко*

\* \* \*

Поэты стихов не бросают —  
стихи бросают поэтов,  
когда они враз обретают  
по трусости парус под ветром.

А те, кто в обнимку заспались  
с рецензийной жалкой копилкой,  
давно подпилили свой парус  
чужой маникюрною пилкой.

Не стоят в стихах своих точек  
и авторских инициалов  
предатели собственных строчек  
и собственных идеалов.

Напрасно какое-то тело  
из вялого белого сала  
в сплошных завереньях вспотело,  
что эти стихи написало.

Обрезанный парус — не знамя.  
Нет бывших заслуг в нашем деле.  
А самое страшное с нами,  
когда ремеслом овладели.

Заболтанность хуже молчанья.  
Кончаются взлеты паденьем.  
Болтливое измельчанье  
становится перерожденьем.

Отплевываясь от сосок,  
стихи объявляют нам войны.  
Так дети лишают отцовства  
отцов, что детей недостойны.

И кто из нас что-нибудь значит,  
став трусом, трухою, мякиной,  
и наши стихи не заплачут  
над нашей, им чуждой, могилой.

## СГУЩЕНКА

Мечты о сладком —  
детства горькие мечты  
среди безрадостной,  
бессладостной Москвы.  
Я бредил тортами,  
грильяжем и халвой  
и сахар сыпал в глотку  
ложкой суповой.  
Конфеты «Мишки»  
мне во сне просились в рот.  
Вот почему так любит  
Шишкина народ.  
Я пачку «Норда»  
с краю ловко надрывал  
и рассыпные папиросы  
продавал,  
но в сорок пятом,  
в День Победы, у Кремля  
их раздавал,  
в толпе давая кругалю.  
И видел я:  
у инвалидов, у солдат  
мои салютинки,  
светясь, в зубах сидят.  
Американец «Кэмел»  
выдернул из губ  
и взял мой «гвоздик»  
с уваженьем: «Вери гуд!»  
Он жвачку дал мне  
и обертку открутил.

А я подумал, что конфета.  
Проглотил.  
И мир казался мне  
ирисочной горой  
над белым озером  
сгущенки даровой.  
Я отоварился  
сгущенкой как-то раз.  
Ее я вылил из бидона  
в медный таз,  
и огольцы,  
что и не слышали коров,  
хлебали ложками ее  
со всех краев.  
На демонстрацию  
наутро шли мы все,  
боясь попасться  
карамели, монпансье.  
Мы поднимали  
пионерские флажки,  
а от сгущенки этой  
слиплись все кипшки.  
Ты мне урок  
дала пожизненный, Москва,  
что сладость может быть  
пожизненно мерзка.  
С тех пор, как тонкостями  
кто-то ни тоньшит,  
меня от сладенькой поэзии  
тоньшит...

## Сергей Кошечкин

### С ЛЮБОВЬЮ И ДРУЖБОЙ...

...Мария Антоновна Чагина достаёт из старого портфеля большой, выдавший виды конверт, вынимает оттуда пожелтевший от времени лист бумаги и кладёт его передо мной:

— Посмотрите вот это...

Текст, напечатанный фиолетовыми буквами. Внизу знакомая подпись: Сергей Есенин. Сомнений быть не может — рука поэта. Неужели неизвестное есенинское стихотворение? Читаю:

Очарованье вечера, что снами  
Сберег до солнца. Золото лучей  
В лазури зимней. Слившись с небесами,  
С зарей, с огнем — восторг все горячей.

И вдруг напев в кадилльном фимиаме,  
И пламя бьет из восковых свечей,  
А воск, в гробу застыв, живых очей  
Залил навек угаснувшее пламя.

Так — солнце, юг; благоуханье роз,  
И кипарисы, и узор магнолий.  
Очарованье вечера. — И боли

В груди нет прежней... — А наутро пес  
У ног завоет. Вынесут с постели...  
Ах, где ты, где? Жива ли в самом деле?

Сергей Есенин

Мария Антоновна говорит:

— Этот лист, как вы понимаете, из архива Петра Ивановича. Мой муж очень дорожил им. Кстати, вы знаете литературное творчество Чагина?

— Наверно, не очень, — осторожно отвечаю я. — Известны мне его статьи — воспоминания о Ленине, о Кирове. Еще — о Есенине, Всеволоде Иванове, Сейфуллиной...

— Вы знаете, что он с юношеских лет писал стихи?

— Нет.

— В архиве Петра Ивановича хранится много стихотворений. Некоторые были в свое время опубликованы под псевдонимом «Ник. Алексеев». Сам он весьма скромно оценивал свои стихотворные опыты, почти никогда не говорил о них. В кругу близких людей он любил читать стихи своих кумиров: Пушкина, Лермонтова, Тютчева...

— Есенина, — вставляю я.

— О, есенинские стихи он мог читать часами. Помните строки письма Есенина из Баку: «Чагин меня встретил, как брата. Живу у него. Отношение изумительное». В 1925 году вышла в свет книга «Персидские мотивы». Стихи предварялись посвящением: «С любовью и дружбой. Петру Ивановичу Чагину».

На обратной стороне широкоизвестной совместной фотографии Есенина и Чагина читаю: «М. А. Примите душевный дар двух рыцарей пера — верного скандального Сергея и бурного Петра.

Баку, 1 октября 1924».

Это написано рукой Чагина. Ниже — почерк Есенина:

«P. S.

Дорогая Марья Антоновна!

Сказать истинно

и не условно —

Можно поклясться вашей

прелестью глаз:

Не забывайте грешных нас.

Скандальный верный Сергей.

3 окт. 1924».

Есенинская приписка, по словам Марии Антоновны, сделана в день рождения поэта; за праздничным столом тамадой был Петр Иванович.

— В тот вечер, — добавляет моя собеседница, — Есенин был, что называется, в ударе и читал стихи с особым подъемом...

— Чагин тоже читал свои?

— Нет, он — Маяковского, Хлебникова, Баратынского, Фета...

— А не помните, Есенин тогда не читал вот это стихотворение, под которым стоит его автограф?

Мария Антоновна задумалась:

— Вы допускаете, что он мог читать его среди своих?

— Нет, — говорю я, еще раз пробегая глазами фиолетовые строчки. — Что-то не похоже оно на есенинское — ни стилистикой, ни интонацией...

— Ну, вот мы и подошли к истории этого листа. Действительно, стихотворение написано Чагиным. И однажды оно, среди многих, было прочитано Есенину. Поэту этот сонет понравился больше других, и, к удивлению автора, он тут же поставил под текстом свою подпись.

— Мне кажется, в этом сонете Есенина привлекло изображение диалектики бытия. Некоторые собственные его стихи последних лет несут в себе нечто похожее. Например, «Мы теперь уходим понемногу...» Вы как думаете?

— Возможно и такое суждение. И все-таки, мне кажется, в том, что Есенин как бы авторизовал чужое стихотворение, немалую роль сыграла симпатия поэта к его автору.

— Так сказать, «с любовью и дружбой» к Петру Ивановичу Чагину...

— Вот именно: «с любовью и дружбой»...



\* \* \*

Любовь мешает побеждать!  
И ночью возле торфзавода  
я крикнул ей:  
— Не надо ждать!  
Мне позарез нужна свобода.

Потом вокзальная возня.  
Мы быстро выпили портвейна.

Она смотрела на меня,  
на дурака, благоговейно.

В оврагах пряталась зима.  
А на холмах цвели пролески.  
И с дымом отнесло слова:  
— Прощай, Шкляревский...  
1963

## Николай Дмитриев

\* \* \*

Тень упала в реку, зной не давит, не душит,  
И с надеждой лопочет ожившая зелень,  
Может, в облаке этом — родителей души,  
Возвратившиеся, обогнувшие Землю?

Не поднялся отец до господних пределов,  
Тяжело — не пустили грехи и медали,  
Через десять годков мать легонько взлетела,  
И друг друга их души в пути угадали.

И поплыли в закат, на Смоленск и на Прагу,  
Вслед за пушкой отца, над Европой мощеной,  
И вернулись в Россию, в июльскую брагу,  
Где раскинулась родина мамы — Мещёра.

### ОТЦОВСКИЙ ДОМ

Усталое сердце твое замолчало,  
Но дом ты поставил, отец.  
И это подворье не кол и мочало,  
Не просто конек и венец.

Спасибо за поскрип сухой половички,  
За смутную в сумерках печь,  
Где слово от слова, как спичку от спички,  
Ломая, пытаюсь зажечь.

Не пришлось им при жизни поездить,  
поплавать —  
Проверяли тетрадки, сажали картошки,  
На крыльцо выходили — о сыне поплакать,  
Не с того ли подгнили у дома порожки?

А сейчас, надышавшиеся океаном  
И вдыхая тепло сенокосных угодий,  
Засветили глаза свои в облаке странном.  
«До свиданья, сынок. Мы пошли». Не уходят.

То глаза ль от слепящего неба устали,  
Или дремную сказку стрижи навистели?  
Но из облака крупные капли упали,  
И щипали, и пресными быть не хотели.

Поднимется крыша, раздвинутся стены,  
Чердак облюбует звезда,  
И впустит изба перелески и степи  
И отсвет войны и труда.

Оставить бы людям, простым и веселым,  
Заветную песню свою,  
Как нужное что-то, как дом у проселка  
В сосновом отцовском краю.

\* \* \*

Сейчас наступит темнота,  
До глаз и сердца доберется.  
Мне двадцать шесть. Я сирота.  
Усынови меня, береза.

Нам будет весело вдвоем  
Ронять листву на сад и крышу, —

Я в шуме ласковом твоём  
Опять родительское слышу.

В одной укроемся мы мгле,  
Одной окрасимся мы зорькой.  
И корни у меня в земле,  
Как и твои, — в родной и горькой.

## Сергей Поликарпов

### БОЛЬ

Знать, не скоро баек древних  
Хмель избудешь из крови,  
Мнится все: в чужой деревне  
Девки слаже, чем свои,  
Жизнь в соседней веси — справней...  
Блюлся искони в чести  
Дедовский уклад — за правдой  
Под звезду полей идти.  
Что ж, обычай есть обычай,  
Освящен веками он...

Самовар сопит по-бычьи,  
Свежим углем распален.  
Меднотелый, трехведерный,  
С незапамятной поры  
Лечит жителей нагорных  
Он от скуки и жары,  
От усталости свинцовой,  
Накопившейся в страду...  
Сахар, тверди леденцовой,  
Ленно за щеку кладу,  
Всей неспешкой выражая,  
Что не сладостью влеком,  
А заваристостью чая  
Да беседой за столом  
Об автомобильных хворях  
И печалях шоферов...

Грусть всплывала в разговоре  
Жизнью пытаных отцов  
О своих мужавших детях,  
Не слюбившихся с землей...  
Чем усушивает ветви  
Время в кроне вековой?  
Вышло ль время ладить плуги  
В русле новых скоростей,  
Иль космические вьюги  
Сносят нас с родных полей?  
Вроде б пасынком отроду  
Не был пахарь у народа.  
Или праздной жизни эхо  
Вдаль уводит молодых?..

Не надейся век объехать  
На оглобельках кривых,  
Все равно заденешь боком,  
Исцарапаешься в кровь...  
Тут, в горах, я ненароком,  
Но и здесь услышал вновь  
То, что на родимых долах,  
В среднерусской стороне,  
В обездетевших селах  
Приходилось слышать мне.

Знали крепко да забыли,  
Не сказать по чьей вине...  
Сколько окон позабыли  
В избах в отчей стороне!  
Деды сходят в глушь земную,  
Внуки, оперившись, в лёт!  
Старость списана вчистую,  
Юность по ветру плывет...

А захватливые ветры  
Не сегодня взяли дуть.  
Я дотошно, метр за метром,  
Свой оглядываю путь.  
Там, в босом его начале,  
В озорничестве босом,  
В назиданье прозвучали  
И повторены потом  
Были нам не раз училкой,  
Знавшей больше нас едва,  
Но в блюдене нравов пылкой,  
Как ожог кнута, слова:  
«Не налажена учеба,  
Так и будете потом  
Хвост быку крутить до гроба  
Да навоз хлебать лаптем!..»

А уж коли вышло к слову,  
И о том сказать нужда:  
Время выдалось сурово  
Повоенное тогда,  
Все держалось на примете,  
Всем бедна была земля,  
Нарасхват везде газеты,  
Книги и учителя.  
Не тогда ль сказалось с болью  
И не стерлось в наши дни:  
«Весь посев на божьем поле,  
Нам — осевочки одни...»

Разве вылинял с полотен  
Лозунг, Октябрем рожден:  
«В жизни всякий труд почетен,  
Был бы людям нужен он!»  
Как в родителях, не вольны  
Мы в наставниках подчас...  
Не сказать чтоб своевольный  
Дух кипел в ту пору в нас,  
Да и, верно, не мудрее  
Были нынешних юнцов,  
Но мы шли с деревней всею  
Выгонять с зарей коров,  
Копны ставить, взявши вилы,  
Вывозить в поля навоз,—

Это нас самих кормило,  
Крепче делало колхоз.  
Не училке строгой назло  
Обходили школьный класс:  
«Голод точит — не до масла!  
Корку б хлеба — в самый раз...»  
А уж с маслом-то — речется —  
И хомут что твой пирог!..

Видит бог, ни в чьем колодце  
Я не мыл своих сапог!  
Не отстали мы от плуга,  
Не чураемся и впредь  
Хлебопашеского друга, —  
Хлеб нужде не одолеть!  
Кто-то скажет: «Эка проза  
В наш-то просвещенный век...»  
Если прозу скинешь с возу —  
Голым станет человек!..

Боль пропелась не со слухов —  
С детства в памяти легло:  
«Бьешь баклуши — в ремеслуху,  
Туп к наукам — в ФЗО!..»  
Словно каторгой, стращали

Полям, фабрикой детей...  
Утоли мои печали,  
Мысль, что лишь в судьбе моей  
Эти беды бедовали,  
Эти намети мели.  
Утоли мои печали  
Платьем свадебным земли  
И не месяцем медовым,  
А столетьями любви,  
Жарким пламенем любовным  
В юной пахарской крови.

Утоли мои печали!..  
Утолятся, час придет, —  
Неспроста за чинным чаем  
Ищет ключ к тому народ.  
Неспроста на первом месте,  
Высшей славой нынче чтут  
Дело доблести и чести,  
Дело праведное — труд!  
Чтим он, верю, не случайно,  
Значит — с хлебом быть стране!..  
В том и пропись правды главной,  
В нас она — в тебе, во мне,  
В каждой нашей стороне.

*Борис Ковынёв*  
1903—1970

*Наши публикации*

Стихи Бориса Ковынёва стали мне известны в конце 20-х годов, когда я посещал литкружок «Вагранка». Я стал часто бывать в доме у Ковынёва. Он был в то время очень популярен среди молодежи. Многие его стихи молодежь заучивала наизусть.

Никогда ни в стихах, ни в прозе он не хвастался тем, что в 1920 году был в Закавказье комсомольцем-подпольщиком, организатором, затем секретарем первого райкома ВЛКСМ в Тбилиси, а в 1921-м — делегатом Кавказского и Всероссийского съездов комсомола. При власти меньшевиков сидел в тюрьме.

В годы Отечественной войны Ковынёв, по состоянию здоровья, не был в армии, но он отказался эвакуироваться из Москвы и до Дня Победы писал боевые стихи, печатавшиеся в наших дивизионных и армейских газетах.

Павел Железнов

## ЧАСЫ

Немного странные и бледные как будто,  
Мои часы висели на стене.  
Двенадцать лет  
Секунды и минуты  
Не торопясь отсчитывали мне.

Двенадцать лет!  
А после еле-еле  
Их стрелки совершили круг.  
Мои часы смертельно заболели.  
Мои часы остановились вдруг.

И вот теперь я чувствую недаром,  
Когда стою в раздумье у стены,  
Что и в груди сердечные удары,  
Как у часов секунды, сочтены.

Когда-нибудь,  
В неведомой пустыне  
Иль, может быть,  
В трезвоне голосов,  
Мое лицо задумчиво застынет,  
Как циферблат испорченных часов.  
1924

## САПОГИ

Веселей, молоточки, трезвоньте,  
Сыпьте в уши веселый горох!  
На Каляевской,  
В коопремонте,  
Мы работаем до четырех.

По окну и рекламной картинке  
Мастерскую нетрудно найти.  
Коль у вас захворали ботинки,  
Заходите ко мне по пути...

Я разглажу морщинки на коже,  
Подровняю подошвы края.  
У ботинок, товарищи, тоже  
Есть скрипучая старость своя.

Если раньше положенной нормы  
Истекает их жизненный путь,  
Я могу им изящество формы  
И фабричную юность вернуть.

Усадив на скамейку клиента  
(Дескать, сами с усами, не ной),  
Осторожно, как врач пациента,  
Я исследую туфель больной.

И сейчас же  
С проворностью бойкой  
Набиваю набойку иль две,  
Чтобы, цокая новой набойкой,  
Вы уверенно шли по Москве.

Посмотрите в минуту покоя  
На носок сапога-удальца.  
Есть у обуви что-то такое...  
Ну... почти выраженья лица.

Преодо мной эlegantные туфли.  
Их потрепанный облик не врет:  
Порыжели они и пожухли,  
До упаду танцуя фокстрот.

Без желания туфли такие  
Я беру, чтобы выправить рант.  
Но вчера сапоги боевые  
Мне принес молодой лейтенант.

Загорелые, смуглые лица,  
Голенища сверкают как жемчуг,  
В них упругая стойкость границы  
И холодное мужество есть.

На тропинке, от слякоти ржавой,  
Не они ль проверяли посты?  
И шпион агрессивной державы  
Убирался обратно в кусты.

Рвали их дождевые потоки,  
Обжигала шальная пальба.  
Но стояли они на Востоке  
Будто два пограничных столба.

Отдыхали в походном жилище,  
Где тревогой пропитана мгла,  
И не зря попереk голенища  
Многодумная складка легла.

Добродушно нахмурившись бровью,  
Лейтенант говорит: — Помогите! —  
И конечно, с особой любовью  
Починю я его сапоги.

1938

*Публикация Е. Б. Ковыньвой-Долиной*

## *натоллий Парпара*

### МАГНИТКА

Вот она, Магнитка, перед нами,  
Словно крейсер, трубами дымит  
И плывет меж синими холмами  
В зоревый, невидимый зенит.

Вот она — заступница России,  
Непробойная ее броня,  
Флагман всесоюзной индустрии,  
Быль и небыль будущего дня.

В недрах, словно в глубине колодца,  
Звездами высокими пыля,  
Золотое, мужественно бьется  
Сердце огневого корабля.

Вот они — лишь успевай дивиться  
Пластике отточенной людей! —  
Озаренные талантом лица  
У высоких пламенных печей.

Только пламя все ж не опалило  
Тех сердец, что через боль прошли.  
Вот она — решающая сила,  
Волевой ресурс моей земли.

Знаю: никогда мне не простится,  
Если я в стихах своих солгу...  
Отсвет их высоких дел ложится  
На меня и на мою судьбу.



## Владимир Савельев

### ДОЛГАЯ НОЧЬ

За всем, что поблизости или вдали,  
я в долгую ночь слежу.  
Я слышу и взрыв на краю земли,  
и то, как за дверью моей прошли  
соседи по этажу.

Пораньше заснула моя жена,  
попозже — заснула дочь.  
На градусник в левом углу окна  
похожа младенческая луна,  
мерцающая сквозь ночь.

Всем людям мерцающая без виз.  
В разреженной полумгле  
на вихре, царапающем карниз,  
обрывок газеты взмывает ввысь,  
как ведьма на помеле.

Взмывает и сер, и помят слегка.  
Я выстужен до костей  
обрывком, не вмерзшем пока в снега,  
обрывком, вмещающим вороха  
стареющих новостей.

Инфаркт миокарда. Глобальный стресс.  
Афины. Пекин. Мадрид.  
Эффект. Конъюнктура. Прогресс. Регресс.  
А дом мой подъездом глядит на лес,  
а лес — на Москву глядит.

Одним концом голубая лыжня  
касается низких туч,  
вторым — захлестывает меня.  
Но день становится день ото дня  
светлее на целый луч.

Но рыжему солнцу приходит срок  
вставать и в седьмом часу.  
Оно, порываясь не вверх, а вбок,  
как белки, сцепившиеся в клубок,  
мелькает в немом лесу.

В лесу, где не стало больших зверей.  
Обрывок газеты прочь  
уходит все выше и все скорей.  
Я стал утомленней, а век — мудрей  
на долгую эту ночь.

## Станислав Золотцев

### ДАВНЕЕ ФОТО

Под старую кряжистой сливой,  
июньским загаром одет,  
сидит мускулистый счастливый  
мальчишка семнадцати лет.  
Он сел поутру на скамейку  
в потеках ночного дождя,  
склонясь над блокнотом в линейку,  
из цеха ночного придя.

Не властна любая расческа  
волос укротить торжество.  
И лихо горит папироска  
в зубах рафинадных его.  
Улыбка не знает отбоя  
в игре зацелованных губ.  
Донельзя хорош он собою  
и столь же, наверное, глуп...

Но мускулов бронзовый панцирь  
недаром покрыл ему грудь.  
Слесарная пыль в его пальцы  
так въелась — иглой не проткнуть.

На шее вздуваются жилы,  
перо заплясало само —  
впервые сегодня сложил он  
рифмованное письмо.

Под солнцем как будто в латуни  
садовых деревьев верхи...  
Другие наступят июни,  
забудутся эти стихи —  
смешенье наивных и добрых  
словес о великой любви...

Лови же натуру, фотограф,  
мгновение останови.  
Ведь скоро ни этого сада  
не будет, ни пней от него.  
Но горше и хуже досада —  
не будет мальчишки того.

А будет —  
без всяких амбиций  
столетье проживший на треть,  
мужчина, который боится  
на давнее фото смотреть.

## Александр Ливанов

\* \* \*

Там, где плоскости высоких этажей,  
Белой птицей вьется первый змей.  
Где реклам неоновых галоп,  
Вижу бабкин я вельветовый салоп.  
Где неспешно облака плывут,  
Стал высокий нейроинститут.  
Парк культуры. Стадион. Горторг...  
Подожди ты источать восторг!  
Где пустырь? Я лебеду здесь рвал.  
Чуть бы с места сдвинулся вокзал.  
Где, неширока, неглубока,  
Та, из детства, милая река?  
Земляку, конечно, город рад —

Новых улиц развернул парад.  
Небо полоснул высокий звук —  
Белый лайнер мне напомнил вдруг:  
Крест церквушки в сетке паутин,  
Ералаш поминок и крестин...  
Пыль и стадо, полуденный час.  
Ты прости, невесел я сейчас!  
Помолчи, минутку помолчи:  
Брех собак и пьяный крик в ночи,  
Хлип волынки, пыль на лопухах —  
Знать, не зря вдруг мой восторг зачах.  
Ни при чем здесь августовский зной —  
Детства волхвованье надо мной...

## Александр Юдахин

### СЫНУ

Что ж, от судьбы никуда не деться.  
Я, виноват без вины,  
запоминал свое жесткое детство  
с голода, горя, войны.  
Я начинал развивать свои чувства,  
слабый, ревнивый малец,  
с зависти к тем, у кого было пусто  
в доме, но был отец.  
Не побоялся поденной работы.  
И потянул за двоих.  
Сына пускай одолеют заботы  
чуть посветлее моих.  
Пусть он свободнее, выше летает,  
ведь с колыбели, с крыльца,  
с мирного времени  
жизнь начинается —  
с белого хлеба, с отца.

\* \* \*

### Памяти Сергея Маркова

На Ваганьковском рынке цветы  
на все случаи жизни и смерти...  
Он предвидел: среди суеты  
пониманье посмертное встретит.

«Замечательный русский поэт,  
и прозаик, и первопроходец,  
и ученый...»  
Могильный просвет  
засыпался как будто колодец.

Невозможно на это смотреть.  
Почему-то надолго запомнил,  
как сказали: «Хорошая смерть —  
трудно жил, без мучения помер».

Одинокое ему вдалеке  
ото всех. Одинокое и дико.  
Я стоял на ветру в столбняке  
и держал в деревянной руке  
в этот раз не стихи, а гвоздики...

## Андрей Дементьев

\* \* \*

Жизнь прожита...  
Но все еще в начале.  
Я выйду в поле.  
Как я полю рад!  
Здесь тыщу солнц подсолнухи качали,  
посеянные сорок лет назад.

Ничто уже не может измениться.  
Село мое, сожженное в войну,  
по-прежнему рассветами дымится,  
не нарушая дымом тишину.

Сейчас пастух на луг коров погонит.  
И ранний дрозд откликнется в лесу.  
И тихие стреноженные кони  
повалятся в прохладную росу.

## Олег Шестинский

### ВЛАДИМИРУ ТОРОПЫГИНУ

Открыто и сурово,  
продуманно, не вдруг  
произношу я слово:  
«Мой свет,

мой брат,  
мой друг...»

Какие молодые  
с тобою были мы,  
красивые какие  
среди зари и тьмы!

Мы побратались сразу,  
блокады сыновья,

ты был зеленоглазый  
и синеглазый я.

А кроме дружбы было  
у нас чего-нибудь?  
Коль было, так и сплыло.  
Остались жизнь и путь,

остались жизнь и слава  
да память — говорю...  
Глянь, милый, величаво,  
как равный, на зарю.

## Кирилл Ковальджи

\* \* \*

В каждом возрасте  
есть свои странности.  
Умудряется только поэт  
так испытывать  
приступы старости  
чуть ли не с восемнадцати лет.  
А случись —  
седина достанется,  
не зачислить его в старики.  
оң-то с юностью  
не расстанется,  
все всегда у него —  
вопреки...

\* \* \*

В прах превращусь. Но я-то не из праха  
Был сотворен. Душа — не из огня..  
Мне кажется, что смерть — всего лишь плаха,  
Где отсекают тело от меня.

В живую пряжу солнечная пряжа  
Вплела мой луч. Живую связь храня,  
Я вижу свет. Комок любви и страха,  
Любая дура-птаха мне родня.

Вся твердь земная — смерть. Металл и камень.  
А я из тех, кто наделен глазами,  
В которые Вселенная течет,

Чтоб стать живой, чтоб выйти из горнила  
Глазастой... Смерть меня не породила,  
Но как смириться, что меня сожрет?

## *Игорь Грудев*

\* \* \*

Все явственней  
Закат осенних дней,  
Но мучает  
Далекая тревога.  
И тени памяти  
Назад — длинней,  
Чем впереди  
Лежащая дорога...

\* \* \*

Все отразит —  
И ливни, и морозы,  
Покажет всем,  
Как почки расцвели.  
С насечками на серебре  
Береза  
Стоит в лесу,  
Как градусник Земли!..

# ПОЛЕ КУЛИКОВО

Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:  
Не вернуться, не взглянуть назад.  
За Непрядвой лебеди кричали,  
И опять, опять они кричат...

Александр Блок

8 сентября 1980 года исполняется шестьсот лет со дня Куликовской битвы — исторической победы русского воинства над полчищами Мамая. Среди стихотворений, написанных поэтами Москвы в последнее время, многие посвящены этому событию.



*Гравюры художника Вл. Медведева. Из иллюстраций к книге «За Непрядвой лебеди кричали», выходящей в издательстве «Московский рабочий».*

ГОЛОСА С КУЛИКОВА ПОЛЯ

ПЕРЕСВЕТ

— Нам не нужно победы без правды,  
нам без истины радости нет! —  
крестным знаменем небо Непрядвы  
осеняет чернец Пересвет.

Нет на нем ни меча, ни кольчуги —  
только ряса и только копые.

Кони топчутся... Стонут подпруги...  
В небе с криком кружит воронье.

Бьет копытами конь Челубея,  
Пересвет подобрался в седле.  
— С нами правда! — уже холодея,  
он шептал, припадая к земле...

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

— Я под знамена Москвы не пойду,  
знать не желаю Москвы,  
так же как знать не желаю Орду —  
не преклоню головы.

Я — вольный Новгород! Вече мое —  
медные звоны Кремля,  
вот она воля — и только ее  
славлю и пестую я!

Вижу грядущее: Грозного лик  
ляжет как тень у ворот...  
Знаю, что вырвут мой звонкий язык,  
чтоб не тревожил народ.

Что ж, я останусь как призрачный сон  
о золотых временах...  
Впрочем, и не было этих времен,  
разве что в призрачных снах.

СМЕРД

— Боярин, я плечом к плечу  
в сей миг стою с тобой.  
Но чем тебе я отомщу,  
когда вернусь домой?

За то, что на тебе броня,  
а я холоп и рвань,  
за то, что ты содрал с меня  
семь шкур, собирая дань.

Из них три шкуры для Орды,  
четыре — в свой сундук...

А у меня за все труды  
мозоли черных рук.

Я для тебя холоп и смерд,  
но в этот страшный час  
не золото, не хлеб, а смерть  
выравнивает нас.

Но чтобы не ходить в долгу,  
коль, даст господь, вернусь, —  
твои хоромы подожгу  
и — в северную Русь!



## СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

— Народ, держись своих вождей —  
как сыновей своих,  
что вырастали от корней,  
от пращуров твоих.

Чтоб твой язык и твой размах  
был кровен вожаку,  
чтоб мог осаживать вожак  
тебя на всем скаку.

Народ, ты вечное дитя,  
в плену житейских дел  
все жаждешь золотого дня,  
все рвешься за предел,

тебе положенный судьбой...  
В хмелю своих страстей  
ты так владеешь сам собой,  
что не собрать костей.

Ты хочешь воли — будет жизнь  
и долгий спор племен.  
И потому вождей держись  
и не порочь имен.

## ОЛЕГ РЯЗАНСКИЙ

А ты, Рязанский князь, Олег,  
обиду сверх Руси поставил,  
зло затаил, ушел в побег  
и княжество кому оставил?

Спешешь в литовские края,  
в земле Ягайлы ищешь доли,  
а княжеские сыновья  
лежат на Куликовом поле.

С волками жить — по-волчьи выть,  
ну что ж, внимай чужим указам.  
Тебе отчизну не забыть —  
она тебя забудет разом.

Пока заря горит во мгле,  
решайся, чем дышать отныне:  
терпеньем на своей земле  
или гордыней на чужбине!

*Михаил Беляев*

## КУЛИКОВСКАЯ СЕЧА

На поле Куликовом свет  
на лезвиях мечей дробится,  
травы не покрасневшей нет,  
телами ширь земли клубится.  
Уже повержен Челубей,  
и Пересвет упал, повержен.  
От выпавших из рук мечей,  
земная твердь, ты стала тверже.  
Мамай издал шакалий вой —  
гвардейцев бросил он фаланги.

Редает полк Передовой,  
с ним даже речки держат фланги.  
Враги отныне не пройдут!  
Так воины сдвигают плечи —  
и триста тысяч упадут,  
но Русь возвысят в смертной сече.  
И пасть! И встать! Рубить, рубить!  
Один порыв — рубить и в смерти!  
Рубить, как Русь свою любить!  
И лягут прахом орды эти.

## Александр Коваль-Волков

\* \* \*

В тиши предрассветного часа  
К твоей припаду я волне,  
И око скорбящего Спаса  
Блеснет в отраженной луне,  
Раскатисто грянут подковы —  
И воинства русского строй  
На поле твое Куликово

Выходит, омытый тобой.  
Хоругви — до самой Непрядвы.  
В бессмертье готовы полки:  
Резервный, Большой и Засадный,  
Илевой, и Правой руки.  
И витязей Сторожевого  
Великий приветствует князь  
И молвит задумчиво слово:  
«Несметная сила сошлась...»

Стоят те полки не робея:  
За Доном земли для них нет.  
Исход предрешив, Пересвет  
Пронзает копьем Челубея.  
И Русь, как единая воля,  
Обрушила гнева века...  
Мой Дон, Куликовое поле  
Не зря ты послал на руках.

Ты, вещей, наверное, ведал,  
На тесном на нем в нужный год  
Народ завоеует победу  
И князя Донским наречет.  
Ты поле и холм и прятал  
До самой заветной поры,  
И даже не знала Непрядва,  
Что здесь застучат топоры  
И рухнет кровавое иго...  
Ты силу Руси всей исторг.  
Не зря у Москвы солнцеликой  
Прозрел твой исток, как росток...



Мой вольный, мой грозный, мой синий,  
С рожденья тобой причащен —  
Целебную славой России  
Храним я в потоке времен...

Светает. Я снова и снова  
К твоей припадаю волне,  
И поле твое Куликово  
Бессмертно восходит во мне.

## Анатолий Преловский

I

Над полем Куликовым гул рассвета,  
переходящий в самолетный гул,  
и жесткий запах бересклета  
недвижен, как татарский караул —  
вон стронется, помчится по равнине,  
чтоб заарканить хану языка...

От этого броска с тех пор поныне  
горьмя горит моя щека.  
И реактивный гул не освежает  
ран вековых, но смертный опыт — длит.  
И если память у меня строгаеет,  
то сердце от родства щемит.



«Русское мужество — долгое дело», — только промолвил, как в душу мою будто бы вечность сама поглядела, чтоб убедиться, не зря ль говорю.

«Кривая жизни и смерти свобода, первооснова в подрасте народа — русского дела далекий прицел», — только представил, но ангел присел прямо на краешек темы, так юно

древней рукою мешая в одно давние сроки и наши кануны.

«Русское чудо — безмерное дно памяти, совести, боли и воли», — только подумал, еще не сказал, как в праславянском, доатомном поле ветер занялся, чтоб в наше раздолье пылью дохнуть, и, седой как от соли, ворон времен соловьем просвистал.

## Равиль Бухараев

### ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ

...И побежал внезапно поганый Мамай с четырьмя людьми в лукоморье, скрежеща зубами своими, плача горько и говоря: «Уже нам, братья, в своей земле не бывать, а жен своих не ласкать, а детей своих не видеть, ласкать нам сырую землю, целовать нам зеленую мураву, а с дружиною своею уже нам не видаться...»

*Сказание о Мамаевом побоище*

Запечатлеет беглеца Воронеж,  
и Тихая Сосна, и Гусин брод...

Эмир — ты мертв.  
Ты чести не воротишь.  
Ты погубил себя и свой народ.

Конь захлебнулся розовою пеной,  
храпит,  
грызя в забвенье удила.  
Ночной костер,  
как Азраил нетленный,  
расперил грозно алые крыла.

Ни гордой злобой,  
ни священной правдой  
Бог не воздаст, прощенье суля...  
Навечно между Доном и Непрядвой  
красны, как смерть, метелки ковыля.

Эмир, ты умер, но еще не спасся.  
Что, мертвому, тебе нашепчет бес?  
Горит нерукотворным ликом Спаса  
луна на черном знамени небес.

Твой путь далек. Стоянка кочевая —  
лишь прах степей.

Под колокольный звон  
грядет бессмертье темника Мамаю,  
как темный ужас  
в легкий детский сон.

Еще в бою, густую степь колыша,  
проскачешь ты, от ярости дрожа!  
Повержен дикой силой Тохтамыша,  
умрешь от генуэзского ножа...

Вдыхай же воздух мертвыми ноздрями,  
пока блестит вечерняя заря,  
начертанная божьими словами:

Непрядва.

Кровь.

Восьмое сентября.



## Евгений Винокуров

### ИЗ КНИГИ «АРГУМЕНТЫ»

\* \* \*

Быть настоящим поэтом, а не стихотворцем. Для этого надо не столько что-то уметь, сколько главным образом что-то не уметь. И часто даже важнее что-то не уметь, чем уметь. От поэта как от человека жизнь будет иногда требовать лжи, поэт, являясь обычно страстным и честолюбивым человеком, при определенных жизненных ситуациях, может быть, и сам захочет соврать, — и тут-то должно прийти его роковое неумение, святое неумение, — ничего не должно получиться из его усилий. Это дар особый — неумение лгать, оно должно быть сильнее мастерства, сильнее стихотворной натворелости. А если натворелость сильнее, то это не поэт, а стихотворец.

\* \* \*

Сила Пушкина — в том, что все, что он написал, связано между собою. Поэма — это как бы продолжение разговора, начатого в мелком стихотворении; в свою очередь, поздний отрывок, набросок, фрагмент какой-нибудь является острой репликой, ответом на вопрос, поставленный когда-то в каком-нибудь из ранних произведений, это внутренняя связь, сложное органическое переплетение смысловых линий, водоворот мыслей, течений.

\* \* \*

Стихотворение должно быть красиво.

Мы забываем об острой эстетической функции поэзии: не только т. н. информация и даже не смысл, но то охватывающее человека ощущение красоты, гармонического ошеломляющего соотношения всех частей произведения.

Надо брать в расчет способность человека переживать потрясение при встрече с тем, что называется высоким.

Вот этот момент высшей радости — самое ценное, я думаю, в человеке.

### АКУСТИКА СТИХА

В стихотворении должна быть гулкость, каждое слово должно звучать громко, как в пустом зале, храме.

Эта гулкость, этот резонанс, это внутреннее эхо.

\* \* \*

Какие можно давать советы — в поэзии? Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что.

Кто мне даст совет?

Я каждый раз в тупике *сам*.

Я могу посоветовать только одно: иметь талант.

— Какие советы? Пиши лучше!

Можно давать советы, как жить, чтобы писалось, а не как писать.

### Я — ЧИТАТЕЛЬ

Я — читатель. «Чтение столь же важно, как и писание», — сказал Маркс. Читать — это особое, трудное дарование. Я развиваю в себе эту способность, — эта способность развивается, культивируется.

Читатель бывает всякий: грамотный и неграмотный, тонкий и нетонкий, умный и (простите!) неумный, компетентный и некомпетентный. «Поэтому, — продолжает Маркс, — необходимо было бы ввести так же компетентных и некомпетентных читателей».

Не надо потрафлять читателю, надо его выращивать, воспитывать. Я — читатель и люблю остаться с книгой один на один, я за истинное отношение к книге, поэтическому сборнику. Я хочу подумать над книгой, написать кое-что, перечитать. Я за самостоятельное чтение. Еще Гоголь писал: «Мы как-то охотнее готовы действовать сообща, даже читать поодиночке у нас всяк ленив».

\* \* \*

Есть книги — окна, а есть книги — ставни. Книжки-окна открыты в мир. Книжки-ставни закрывают этот мир.

Любите вы книги?

Я на подобный вопрос не знаю, что ответить. Видите ли, говорю я, одни книги я обожаю, другие ненавижу. Я не библиофил, я не «книголюб». Как можно любить вообще — книгу? Хорошую — да. Плохую — нет.

\* \* \*

Когда-то Белинский писал о Державине в «Лит. мечтаниях»: «народность, состоящая не в подборе мужицких слов... но в сгибе

ума русского, в русском образе взгляда на вещи».

Вот такая народность свойственна стихам Есенина, главное в Есенине — «русский образ взгляда на вещи», у Есенина — «гиб ума русского», это качество неразложимое, не одеваемое рационалистически.

\* \* \*

Но есть и опасность, таящаяся в классике. Есть соблазн сказать, что вот, дескать, раньше хорошо писали, но вот, мол, нынешние что-то не того...

Во-первых, не дело мудрого, как сказал Экклезиаст, говорить, что вчерашний день лучше нынешнего.

Во-вторых, нельзя жить найденным, истина — это процесс, как учит диалектика, только в вечном процессе, в самом *поиске* содержится та «доля» вечной истины, все время развивающееся откровение о мире.

Остановиться — умереть.

Есенин хорошо сказал: «Надо в чем-то бояться классиков».

Силы инерции, тяжести, косности надо все время преодолевать, иначе попадешь в русло рутины, инерции, шаблонов. В поэзии есть «туристы» и есть «альпинисты». «Туристы» идут по освоенным маршрутам, «альпинисты» штурмуют труднодоступные вершины, идут на риск.

Литература — это вечный риск, риск подчас смертельный.

Опасно в этом смысле облачиться в уютный халат найденного, дремать среди «остановившегося» мира.

В этом смысле теория литературы учит тому, как было сделано произведение, а художник должен *открыть* для себя, как *увидеть* еще никогда не бывшее. «Генералы готовятся к прошлым боям» — это можно сказать о литературоведах.

Мне вспоминается шутка одного умелого мастера, плотника: «Теория — это то, что понятно, но нельзя сделать, а практика — это то, что непонятно, но сделать можно».

Когда меня спрашивают, как я пишу, я не могу ничего на этот счет определенного сказать.

Поиск идет ощупью, как в годы войны ночной полет авиации. Когда-то мне было *все* ясно, но я работал зад собой, развивался и, слава богу, вижу сейчас много проблем, над которыми стоит думать, в которые стоит углубиться, поразмышлять над которыми.

## «ПЕСНЬ О КОРАБЛЕКРУШЕНИИ»

Так назвал историк Ключевский байронизм. Это можно сказать с не меньшим правом и о творчестве Блока. Тема Блока: гибель и иллюзия. Все стихи, где Блок хотя бы прикасается к этим темам, резко выделяются из всего им написанного. Их можно перечислить: «Девушка пела...», «Незнакомка», «Вновь оснеженные колонны...» («На островах»), «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...», «Черный ворон в сумраке снежном...» и т. д. Эти стихи имеют фон, этот фон — черная ночь, бездна, космический холод. Вот: «Все на земле умрет...» Тема холода, бездонной мировой черноты и, как спасение, мгновенная вспышка — упоенье жизнью, иллюзия счастья, забвенье.

«Товарищ, друг, забудемся опять!» — вот доминирующее настроение, как реакция на гибель, на безнадежность, на вечную ночь.

Черной зияющей тютчевской бездне противостоит не тютчевский же «золотой покров» дня, а ярко освещенный зал гремящего ресторана, из которого блоковский лирический герой вырывается в «сумрак снежный», в «холодный и полярный круг», в ночь, «где торопливый полет комет».

Жизнь для Блока — «все только продолжение бала, из света в сумрак переход», из освещенного зала, где бал, в ночь. «Истина в вине», в иллюзии, в забвении, в успокоительном пении «девушки в церковном хоре», утешения которого сами по себе хотя неистинны, но благотворны, целительны.

Страшному миру, провалу в вечность противостоит «Валентина, звезда, мечтанье!», с какими-то фантастическими ее «соловьями». Блок все время находится на пролетке извозчика, «над провалом в вечность». Одно из любимых его слов «гибель». Он любит «все то, что гибелью грозит» (Пушкин).

О своей Музе он писал: «Есть в напевах твоих сокровенных роковая о *гибели* весть». Он писал о жизни, об этом «гибельном пожаре»: «За мученья, за *гибель* — я знаю — все равно: принимаю тебя!» («О весна...»)

Поэзия его в ночи, вся во мраке и метели. Как он сам сказал однажды: «Забудешь ли мои метели, мою поэзию и мрак?»

\* \* \*

«Сероглазый король» — Ахматовой. В этом стихотворении бессознательный прием: в самый трагический момент для героини, когда как бы крах всего ее мира — «нет на земле твоего короля», но когда смятение и ужас подавляют

ся ею, — для подчеркивания спокойствия мужа прибегается к *слабым* рифмам: «принесли» — «нашли», «нашел» — «ушел» и т. д. Этими элементарными рифмами как бы подчеркивается обыденность (для мужа!), незначительность, ординарность происходящего, — так, ничего особенного не произошло: «нашли» — «принесли». И сам муж спокоен: «нашел» — «пошел». Все просто, нормально. Все скрываемое отчаяние женщины, все ее тайное смятение как бы подчеркивается ледяным спокойствием мужа. Здесь тот же прием, что у Тихонова в «Балладе о гвоздях» (тот же, кстати, размер!). И «трубка» мужа напоминает трубку «Капитана», — это как бы символ *спокойствия*, невозмутимости.

У Ахматовой: «Трубку свою на камине нашел и на ночную работу ушел...»

У Тихонова: «Трубку свою докурил до конца, молча улыбку стер с лица...»

Оба этих стихотворения — о подавленном волнении, о сдержанности в трагических обстоятельствах.

\* \* \*

Есть поэты силы — например, Н. Тихонов. Но есть и слабости — Мандельштам. Он декларирует свою трепетность — трепетность робкого, ранимого человека, в котором много беспомощной детскости.

Он принципиально настаивает на своей незащищенности:

Я все отдам за жизнь — мне так нужна забота,  
И спичка серная меня б согреть могла.

Детскости:

Только детские книги читать,  
Только детские думы лелеять...

Он не уверен в мире, не уверен в себе, даже в самом факте своего существования: «Неужели я настоящий и действительно смерть придет?»

Жизнь он воспринимает как что-то запретное: «Из омота злого и вязкого...» Он программно в другом стихотворении заявляет: «Но не волк я по крови своей...»

Он поэт-«минималист», ему надо только минимум, только жить:

Дано мне тело — что мне делать с ним,  
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить  
Кого, скажите, мне благодарить...

Только «дышать и жить!» — ощущение, что он восстал после тяжелой болезни, так он робок и трепетен.

Из глубокой печали восстать...

Но люблю мою бедную землю,  
Оттого что иной не видал...

Он требует от мира чрезвычайно мало. Он счастлив, что дышит.

Твой мир болезненный и странный  
Я принимаю, пустота!

«Болезненный и странный» мир Мандельштама. Но он принимает этот мир. Он ему говорит «да». Он отрицает «потусторонний», потому что его «не видал». Он отрицает «богов», а признает только маленьких божков «равных с собой», богов домашнего очага. «И осторожной рукой позволено их переставить», таких земных, близких и понятных, «мною установленные лары». Посту «противна» Батюшкова спесь: «Который час? — его спросили здесь, а он ответил любопытным — вечность». *Здесь* надо жить по *здешним* законам, по *здешнему* времени. Игнорировать высокомерно этот мир — не дело — так считает Мандельштам.

\* \* \*

В свой вкус, в его точность надо слепо верить, без колебаний, так капитан должен стопроцентно верить в свой компас, в его исправность.

Иначе не надо выходить в далекое плавание: или быть убежденным в компасе — или вообще не выходить в море. Среднего нет.

\* \* \*

Единственный способ дойти к миллионам — это быть интимным, обращаться к каждому в отдельности, к одному отдельно взятому лицу.

\* \* \*

Твардовский отличался той повышенной совестливостью и той серьезностью отношения к литературе, которые были свойственны всегда лучшим представителям русской классики.

От общения с ним я всегда выносил ощущение, что надо еще чище и праведней относиться к такому святому делу, как литература.

В нем было что-то подчас раздраженно и неистово гневное, когда он чувствовал, что перед ним представитель той категории литераторов, которая ищет заработка во что

бы то ни стало и поэтому держит нос по ветру.

Однажды он мне подробно развивал свою теорию о двух типах людей: один тип — это люди, которые все умеют, мастаки — но в определенном круге, за ним они беспомощны, но в узком, а вернее, в плоском, своем мире они все «проели», крепко во всем поднаторели, много знают, то есть все «рукотворное», все ремесленное им доступно.

Но по-настоящему проникнуть в суть вещей — коснуться главного, центра, достигнуть «нерва», вложить в раны «персты», выражаясь библейским языком, — им не дано, это удел людей второго типа — истинных совестливых художников. И если первые «с царем в голове», то последние с «богом в душе». Твардовский был человек мучительный, мятущийся, напряженно этически ищущий, хотя внешне был более чем благополучен, «устроен» в жизни, канонизирован и «увековечен» при жизни.

Но я знал его в минуты смятенья, надрыва, — он мог плакать за песней, исповедоваться.

Исповедальная душа жила в Александре Трифоновиче. Он не любил Есенина. Все это знают. Но в этой своей узости и была, как я считаю, — сила. Он не мог в себя впустить инородное вещество — ему противопоказанное, оно разложило бы его манеру, взорвало бы его изнутри, лишило четкого контура, который был.

Если бы он «впустил» в себя все влияния XX века, все соблазны модерности — он не был бы Твардовский, его народный, четко обозначенный стиль, сдержанный, одноцветный, избегающий ядовитой пестроты, был бы утерян. Самоограничение — было его спасение, нетерпимость к иным манерам — была *самозащитой* художника, устоявшего перед соблазнами изощренности и насадной нездоровой яркости.

Его прекрасный русский язык, чистый, прохладный и пресноватый, как вода, был необходим в какой-то мере литературе, опалившей рот крепкими специями и настояками.

И стакан родниковой воды был спасителем.

Я помню: мы проговорили с ним всю ночь.

Кроме нас был еще кто-то из сотрудников «Нового мира».

Твардовский превзошел себя, он был на подъеме — рассказывал о своем деревенском детстве, об отце (это тема была больная!), о кузне, рисовал контуры топора, которые выковывались в кузне, форму топорщица, как оно насаживается на топор. Рисовал он любовно, светясь, видно было, что ему это все очень дорого — свое *сельское*... Он ко мне всегда обращался: Эжен, — видимо немного желая показать легкую иронию по отношению к моему сугубо городскому происхождению и воспитанию.

Еще помню: мы сидели втроем на открытой, заставленной цветами веранде ресторана «Прага», внизу шумел Арбат.

Были вечерние сумерки. Трое — это: Твардовский, Смеляков и я, тогда еще молодой поэт. Мне было лестно сидеть в обществе двух крупнейших поэтов, которые благосклонно позвали меня отужинать с ними.

«Быстрота подачи оплачивается особо», — сказал Твардовский. Я благоговел, и хоть коньяк наливался в фужеры, я не отставал от мэтров, чтоб не вызвать их презрительной усмешки. Твардовский и я были в серых костюмах. Было жарко, мы сняли пиджаки и повесили их на спинки стула.

Как-то так случилось, что мы уходя перепутали пиджаки. Он стоял, ничего не понимая, мой пиджачок трещал на нем, рукава были комически коротки. Поняв, в чем дело, он стал смеяться, — большой, с круглым, мягким лицом, голубыми выпцветшими глазами, он смеялся как ребенок.

Надо уметь благоговеть. Чувство благоговенья — это одно из продуктивнейших чувств в мире.

Пусть я во многом не согласен с Твардовским, пусть я не все люблю у Смелякова, но благоговенье к этим двум фигурам, даже к их недостаткам, подымало меня; способность благоговеть — редкое качество, и оно в молодости мне было судьбой дано...

Даже минуты гордыни, естественной и необходимой, когда вдруг посмотришь свысока на бывшего кумира, — даже эти минуты, такие продуктивные, не сравнятся с подымающим душу восторгом перед учителями.

Людмила Константиновна была счастливицей. Она талантливо умела не поддаваться печали и в трудную для себя минуту всегда шла навстречу тем, кто нуждался в помощи. Никто не видел ее унылой, удрученной, усталой. Она была необыкновенно остра на слово и, вызывая своими меткими замечаниями смех, оставалась величественно невозмутимой.

Прожившая большую часть жизни на Урале, Людмила Татьяничева до конца дней своих оставалась верной ему. В ее лирике образы Урала, героиня Магнитки приобретали черты высокой гражданской лирики.

Тяжелую болезнь Людмила Константиновна встретила во всеоружии своего умения любить жизнь. Не сдавалась до последней минуты. Писала стихи. Помогала людям. Работала в редколлегии «Дня поэзии». Гневалась, когда мы щадили ее.

Стихи Людмилы Татьяничевой остались с нами. В них она такая же, как в жизни, — величая, мудрая, добрая, верная, неунывающая — необходимая людям.

Предлагаем читателям несколько неопубликованных стихотворений Людмилы Татьяничевой, написанных в разные годы.

\* \* \*

Я не сама.  
Мне солнце приказало  
С тобою ночи коротать без сна.  
Мне на тебя ветвями указала  
В тот первый день таежная сосна.  
Я не звала.  
Позвали соловьи  
Тебя ответным кликом соловьих.  
Зачем мне руки жаркие твои?  
Так тесно в них!  
Еще не поздно.  
Я еще смогу  
Увидеть поле в голубом снегу,

Чтоб только ветер,  
Только посвист лыж,  
А ты в снегу, как в облаке, летишь!  
Но бьет в виски  
Шальная кровь моя, —  
Я не снегурка,  
А цыганка я!  
И мы с тобой,  
Любимый, наяву  
Идем в огонь,  
Как в красную траву!

1946

\* \* \*

Горло перегрызла соловью  
Стая озверелая.  
Перед вашей памятью стою  
Вся окаменелая.  
Лег на сердце непомерный груз,  
Но звенит.  
Звенит струна высокая.  
Ваши песни знает наизусть  
Русь —  
Отчизна наша  
Синеокая.

1980







И все-таки — одна любовь верна!..  
Я сел к столу, за вечные страницы.  
И вдруг —  
впуская первый луч денницы —  
вздохнула дверь, и в дверь вошла она.

Она вошла — неся с собой восход.  
И молча мне ребенка протянула.  
Я взял его — неловко и сутуло...

Но все еще не ясен был исход.

## Владимир Соколов

\* \* \*

Надо дать отдохнуть глазам,  
Словно дать отдохнуть округе.  
Я закрою глаза, а сам  
Буду видеть лицо подруги.

Надо дать отдохнуть глазам,  
Словно сумеркам в хлопьях белых,  
Словно серым стволам, кустам  
С палисадниками в пробелах.

Надо дать отдохнуть глазам,  
И куртинам, и тротуарам,  
И карнизам, и голосам  
За углом в переулке старом.

Надо дать отдохнуть домам,  
Их скамеечкам и оградкам,  
Окунающимся в туман,  
Прибегающим к снегопадам.

Надо дать отдохнуть листам  
С желтизной необратимой.  
Надо дать отдохнуть глазам,  
Как родному лицу любимой.

Так смежить их, в такую тьму  
Беззаветно и безоглядно,  
Словно дать отдохнуть всему,  
Что так мило и ненаглядно.

### КАРТИНА

#### Вальс

М. Е. Р.

Вот — замок, цветы и оркестр.  
И усадьба.  
Извечный сюжет.  
Картина. Картинка.  
Там вечная свадьба,  
Там вечный сонет.  
Там нет ни гармоники и ни гитары.  
Забывшего нет.  
Там вечно кружатся красивые пары.  
Кружится багет.  
Пусть не было замка, цветов и оркестра...  
И право же — не беда,  
Что не были мы женихом и невестой  
С тобой никогда.

\* \* \*

Вот уже и зима, а меня  
не позвали  
На пустой перекресток,  
в садовую глушь.  
Не окликнули даже ночные  
трамваи,  
Отражаясь в дрожанье  
нечаянных луж.

Я пошел бы на зов в самом  
снежном завале,  
Вышел в самый зальдевший  
запутанный путь...  
Вот уже и зима, а меня  
не позвали,  
Чтобы новое слово тихонько  
щепнуть.

\* \* \*

Как поживаешь, плясунья?  
Вот и уважен закон,  
не разрешающий всуе  
произнесенье имен.

Верен стихам безымянным —  
временем скрыт аноним!  
...Что же мне делать с желанным  
именем милым твоим?

Как совладать мне с недугом,  
чтобы в рассветную рань  
этим нечаянным звуком  
не разорвало гортань —

в час, когда вытрет сиделка  
смертную влагу со лба.  
...Ты-то все думал: безделка!  
А оказалось — судьба.

\* \* \*

У, неласковая дева,  
безглагольные уста!  
Ни веселия, ни гнева —  
высь небесная пуста.

И под взором равнодушным  
наши шутки — на излет.  
Так в пространстве безвоздушном  
задыхается пилот.

Так насупит автор брови,  
чтоб тебя предостеречь,  
но в сердцах на полуслове  
оборвет прямую речь.

Он зайдет в твою обитель  
лет, положим, через сто.  
Может, кто тебя обидел?  
Ты не скажешь — ни за что.

Ты не скажешь, не расскажешь,  
ниже голову нагнешь.  
Даже виду не покажешь,  
рыжим глазом не моргнешь!

...Как во городе во Пскове,  
утопающем в снегу,

потолкуем о Лескове,  
а о прочем — ни гугу.

Ибо, если неизвестность  
или женщина горда, —  
нас российская словесность  
выручает, как всегда.

Ибо в сей провинциальной,  
хитроумной стороне  
надо быть принципиальной:  
на войне — как на войне.

...Эту старую пластинку  
зная вдоль и поперек,  
ты нечаянно постигла  
то, что нам и невдомек.

И поэтому-то в новость  
для ровесника-юнца  
эта ранняя суровость,  
строгость нежного лица.

И надменный этот локоп,  
намекающий уму  
о прекрасном и высоком —  
неизвестно почему.



## Лариса Федорова

### НОЧНАЯ ВОДА

Это ты меня научил  
Звездной ночью к озерам ходить,  
Воду черную звездную пить,  
Чтоб тебя не могла разлюбить...

Чтоб тебя не могла разлюбить,  
Ты водил меня к тихим потокам,  
Но ни разу березовым соком  
Не сумел ты меня напоить...

Ты мою заговаривал кровь,  
Чтобы медленней в теле струилась,

И сдавалась тебе я на милость,  
И сдавалась потом на любовь...

А березки на русской земле  
Словно девушки в белом бродили,  
Их одежды светились во мгле,  
Когда звездную воду мы пили...

Может, счастье и было когда,  
Может, не было, я не ручаюсь.  
Между мной и тобой все ночная вода,  
Со звездой,  
Что спит в ней, качаясь...

## Юрий Поройков

\* \* \*

А может быть, я вправду виноват,  
что старомодно по тебе тоскую,  
что глаз твоих не помню,  
помню взгляд,  
описывать который не рискую,

что рук не помню,  
помню голос твой —  
он здесь, он всюду — рядом, за спиною,  
то шелестит, как дерево листвою,

то зазвенит вдруг порванной струною,  
что снова здесь я, в сумрачном саду,  
где свет от фонарей как тающие льдинки,  
тебя встречать я прихожу и жду,  
вытаптывая свежие тропинки...

Смотрю, как снег скрывает их. Потом  
другому дню вернуться обещаю...  
И если в чем-то виноват, то в том,  
что никакой вины не ощущаю.

## Герман Флоров

### ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ

Письмо к любимой напишите,  
Когда любимая вдали!

Утонет солнце в спелом жите,  
Распахнут море корабли.  
И караван вьюки подымет, —  
Отважен русич, всюду гость он!..  
Письмо домой, письмо к любимой —  
Крылом касатки на берёсте!

Любимая  
Отставит прялку,  
С письмом к оконцу подойдет,

И вьюги долгие прилягут  
Как псы цепные у ворот.  
Скупа на свет изба курная,  
Но озарится и она,  
И снова устали не знает  
Живая нить веретена.  
Длиннее нить — короче версты,  
Судьба любимой не горька!

Кривые строчки.  
Клок берёсты.  
С десяток слов.  
А —  
На века.

## Ирина Волобуева

\* \* \*

За все —  
        за то, что ты со мной  
Глядел на май с его листвою,  
Зеленым шелестам внимая,  
За то, что лист качал росу  
В своей ладони, как слезу,  
Счастливому спасибо маю.

За то, что майские дожди  
Серебряно шептали: «Жди!»,  
Мое смятение понимая,  
За то, что меж продрогших рощ  
Ты шел на свет, забыв про дождь,  
Счастливому спасибо маю.

За то, что поздний всплеск любви  
Не отпевали соловьи,  
А воспевали трелью светлой,  
За то, что, выйдя к сентябрю,  
Тебе я мысленно дарю  
Своей печали бабье лето.

И пусть в январской хмури дня,  
Ни май не помня, ни меня,  
Как нужен мне не сознавая,  
С другою рядом ты...

И все ж  
За счастье знать, что ты живешь,  
Счастливому спасибо маю.

## Алексей Королев

### ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Как живется вам с земною  
Женщиною, без шестых  
Чувств?...

*Марина Цветаева*

Хоть и смахивает стих  
на обетованный берег,  
с женщиною без шестых  
чувств живется без истерик,

без конвульсий и гримас,  
судорог и катавасий,  
выставленных напоказ,  
выписанных на левкасе...

Неизвестно, что за круг  
отведен в аду у Данта  
приносившим друга друг  
в жертву идолу таланта.

Невеликодушен жест,  
но живется, право слово,  
с женщиною без божеств  
как за пазухой Христовой.

По завязку и пяти  
чувств хватает бедолагам,  
чтобы по миру идти  
бережным и нежным шагом...

(Может статься, в том и суть,  
чтобы через пень-колоду

эту канитель тянуть  
добродетели в угоду.

Строя храмы на любви,  
а не на крови любимых,—  
как душою ни криви,  
все едино не шадим их.)

Повторяю — и пяти  
чувств достаточно с лихвою,  
чтобы поле перейти  
и войти в листву и хвою.

...Что касается земной  
женщины, то, зная не зная  
никакой судьбы иной,  
нежели стезя земная,

не за участь, а за честь  
почитаю честь по чести  
жизнь прожить и век провести  
с этой женщиною вместе...

Сколько спеси — не сочти  
за попрек! — в твоём контрасте.  
...Словом, счастливы. Почти.  
А несчастливы отчасти.

## Евгения Кунина

### ПИСЬМО

Ну, вот: письмо дошло по назначенью...  
А сколько было верст и верст пути,  
Постылого дорожного мученья,  
Усталости, боязни не дойти!

Оно лежит, счастливей всех на свете.  
Раскрыты окна, и в сирени сад.  
Листы дрожат. Их чуть колышет ветер.  
Их, наконец, читает адресат!

Но адресату скучно — нету силы.  
Не все ль равно, что там понаплели?

В который раз его назвали милым,  
Любимейшим из сыновей земли...

Зевнул, не дочитав, — и взял газету.  
Листки письма слетели на окно.  
Они дрожат от боли: это... это  
Страшней всего, что было суждено.

Их бережно приподымает ветер,  
Несет, как пару мертвых мотыльков,  
Далёко вдаль: отдать всему на свете,  
От вдумчивых берез до облаков.

## Михаил Морозов 1897—1952

## Наши публикации

### ЧЕЛОВЕК С ОГНЕМ И ТАЛАНТОМ

На известном серовском полотне «Мика Морозов» кисть мастера запечатлела поразительно одухотворенное выражение лица у ребенка, в больших темных глазах которого одновременно и детское удивление, и недетская серьезность. Это поистине «глаза души», и такими их сохранил на всю жизнь профессор Михаил Михайлович Морозов, ибо именно он был тем мальчиком, которого увековечил Валентин Серов.

Мальчик с картины, когда подрос, вписал заметную страницу в развитие отечественной филологии. Он стал крупнейшим знатоком творчества Шекспира, труды его получили широкое признание как в нашей стране, так и за рубежом. «Как и для других, для меня Вы живой авторитет, англовед и шекспириолог, знаток английского языка и литературы, и все то, что я Вам однажды писал: человек с огнем и талантом...» — обращался к нему в одном из писем Пастернак.

Морозов публиковал также работы о других классиках английской литературы, занимался историей театра и лингвистикой, был блестящим публицистом и замечательным педагогом. Круг его интересов был необычайно широк. В молодости он сочинял рассказы и пьесы, позже увлекался режиссурой, переводил с английского, немецкого и французского языков. После него осталось также несколько десятков стихотворений. Созданы они в разные годы, причем в ранних явственно ощущается влияние акмеизма. Стихи Морозова отмечены мягким лиризмом, передающим тонкость его артистичной природы, а глубокая эрудиция ученого способствовала их философской насыщенности.

Святослав Бэла

\* \* \*

Я потерял. Я не найду. Я знаю.  
Холмом грудились белые венки,  
А я... я на земле... И солнце я встречаю,  
И легкие летают ветерки.

Но есть во мне... О, не понять Вам! Где бы  
Я ни стоял... Передо мной легло

Виденье странное: без звезд ночное небо  
И молнии трепещущей крыло...

Пусть жизнь шумит и, отшумев, положит  
Лицо и тело в ладан и цветы;  
Там, в глубине, — на черном бездорожье  
Белеет молния... я помню: это ты...

Май 1925

ИЗ ЦИКЛА  
«ЕЛЕНА СПАРТАНСКАЯ»

В шептанье лавра и лимона  
И в говоре прибрежных скал,  
Владычица Лакедемона,  
Твое я имя прочитал!

Сереют пыльные дороги,  
Веками скрыты чудеса,  
И в камень обратились боги,  
И затвердели небеса.

Но в жизни темной и мгновенной,  
На алтаре любимых снов,  
Она стоит вовек нетленной  
Среди поэтов и жрецов.

Над нею глубина раскрыта,  
Из глубины встает заря,  
И вновь нагая Афродита  
Проходит синие моря.

---

*Софья Петренко*

ЭТО БЫЛО

Это было, а когда? Не знаю.  
На песке побегу ивняка,  
И стрижей стремительная стая,  
И степная вольная река.

Запахи и мяты и полыни,  
Терпкий вкус травинки на зубах,  
Солнце землю грело, как и ныне,  
Растекаясь в спеющих хлебах.

Пескаришки облепили ноги,  
Тычась в них, легонько щекоча.

Вот и стадо гнало у дорог,  
Тот же свист пастушьего бича.

Так же женщина с душой смятенной,  
Что-то ожидая и тая,  
В бытии ином и отдаленном  
Здесь была, дышала, как и я.

Было так, и это повторилось  
За чередой рождений и смертей.  
Если б жизни цепь восстановилась  
Памятью единою своей...

*Леонид Латынин*

\* \* \*

Осенняя пора имеет свой резон,  
Ее порядок — ей, конечно, ближе.  
Деревья стали искренней и ниже  
И видимей со всех своих сторон,  
Доступней для ветров и для ворон.

Осенняя пора не знает суеты,  
Ей щедрость лета кажется напрасной,  
И летний день, зеленый и неясный,  
Что заслоняют яркие цветы.  
Она вдруг обнажит до чернозоты.

И листьев тайный совершенный строй,  
Перемешав, в иной узор уложит.  
Что лето начинало — подытожит,  
Что временно — сожжет и уничтожит,  
Все истинней осеннею порой.

Так будем жить и мы, не тем, что отцветет,  
Не тем, что облетит, не тем, что прекратится,  
И пусть без нас по небу вереница  
Прощально длит спасительный полет.  
Мы здесь умрем — где выпало родиться.

## Татьяна Кузовлева

### ПОЭТЫ

Кто дал им власть  
Из хаоса ночного,  
Из суеты необоримых дней  
Мучительно спасать за словом слово  
И сопрягать фантазией своей.

И в мир вносить осознанно и вещь,  
И, все пороки перебрав притом,  
Любви и Смерти золотые клещи  
Всю жизнь на сердце чувствовать своим.

Ты скажешь: гений.  
Тысячу ответов  
Я и сама нашла бы без труда.  
Но и стихи посредственных поэтов  
Каким прозреньем дышат иногда!

\* \* \*

Только август ступил на порог,  
И листва еще держится прочно,  
Но картофельный сизый цветок  
Опадает на влажную почву.

Зацвели золотые шары,  
Пропитались туманы рассветом.  
Это значит, в иные миры  
Отлетает короткое лето.

• И оплакивать время старо,  
И возврата глупы обещанья,  
И в крыле у жар-птицы перо  
Так печально горит на прощанье.

Ждали лета — да где же оно?  
Ждали осени — осень мгновенна.  
Повторения нам не дано:  
Все единственно.  
Все незабвенно.

## Леонид Терёхин

\* \* \*

Тихонько скрипнет старая калитка.  
Крыжовник чутким ежиком замрет.  
По самый ствол опиленная липка  
мне улыбнется грустно и вздохнет.

Среди сестер меньшая по порядку.  
Их всех лишили кроны потому,  
чтоб не бросали тень они на грядку,  
в которой лук по шейку утонул.

Отец оставил нам в наследство липы.  
И тот, кто их нещадно обкорнал,  
сорвет здесь огурцов с хмельной улыбкой  
и сунет на закуску их в карман.

Цветет из кучи кирпичей крапива.  
И обжигает памятью опять.  
Где дом отцовский? Заросла тропинка.  
И на тропинке снова вижу мать.

Она идет, идет ко мне тихонько.  
Протягиваю руки — но она  
скрывается опять за пряжей тонкой  
тумана, как за марлею окна.

Я возвращаюсь к липкам. И тревожно,  
под тяжестью склоненной головы,  
росточки поправляю осторожно,  
листочков редких лепет уловив.





## Сергей Чупаленков

\* \* \*

Дробились на вечность мгновенья.  
Асфальт заходилась от слез  
и таял от прикосновенья  
шершавых мозолей колес.  
А дождь, заикаясь от гнева,  
трамвай хлестал по лицу,  
и мысль растекалась по дереву,  
но пахло грибами в лесу.  
Рыдали нагие фонтаны  
у всех площадей на виду,  
и птицы звучали фатально  
в осеннем соседнем саду.

Душили друг друга афиши,  
но снег на афиши плевал.  
Румянец застенчивых вишен  
все явственнее проступал.  
И тополь заламывал руки,  
пытаясь понять: почему,  
откуда рождаются звуки.  
И руки рубили ему.  
Травой врачевала аптека.  
Качал головою, как встарь,  
инога какого-то века  
над лунной поляной фонарь.

## Владимир Топоров

\* \* \*

Помрачнела рощица зеленая,  
Молнии над нею зацвели.  
Это небо, тучей окрыленное,  
Улететь пыталось от Земли.

Страшно жить над полем и над городом,  
Опекая пашни и дома,  
Если прямо в спину дышит холодом  
И глядит Вселенная сама!

Выгибалось небо в напряжении  
И опять хотело, и опять,  
Одолев земное притяжение,  
Сладкий миг свободы испытать —  
Смертный миг.  
Но, жаждой воспаленное  
И в порыве бешено-слепом,  
Сжалось небо, точно потрясенное,  
И на землю рухнуло дождем.

Теплый дождь над рощей и над пашнею  
Прошумел и скрылся за горой.  
И округа пахла по-домашнему  
Мокрым сеном, влажною корой.

# ПИСЬМО ПОЭТА

Поэт пишет стихи, зная, что их прочтут многие. Письмо же, как правило, адресовано одному человеку. Письма поэтов составляют важную часть их наследия. В них проявляются черты личности автора, его отношение к миру, к людям, к литературе. Иногда письма помогают понять последующим поколениям многое, скрытое за стихами.

Мы предлагаем читателям несколько писем известных поэтов. Они написаны в разное время по самым различным поводам.

Публикуются впервые.

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ — АРКАДИЮ КУЛЕШОВУ

*Москва, 16 декабря 1952 года*

Дорогой Аркадий!

Я только что вернулся из Малеевки, откуда не писал тебе по поводу поэмы, потому что хотел прежде посоветоваться с Михаилом Васильевичем<sup>1</sup> — отчасти проверить свои впечатления, отчасти выяснить окончательно его готовность к переводу вещи.

Дело вот в чем. В поэме несомненно очень, очень много хороших и сильных мест, — все эти лирические отступления, мотивы комсомольской юности, живописность и т. д. А в целом — неопределенность, расплывчатость, неуверенность вещи начинается прямо с самого заголовка — невыразительного и нехудожественного.

Далее. Можно и нужно решать поэтически сегодняшнюю тему на материале прошлых лет советского развития, но не минуя же такие этапы исторической жизни народа, как Отечественная война. Выходит, что миру наших врагов мы говорим свое спокойное и предупреждающее слово сегодня, опираясь на героизм довоенной пограничной службы и т. п. вещи, а не на подвиг народа в войне, не на победу и послевоенные свершения. Это, поверь моему слуху, звучит странно, вызывает некое недоуменное впечатление, которое затем перерастает в убеждение, что тут дело не пляшет, — как говорили у нас. Я, грешным делом, подумал, что, может быть, ты здесь возвращаешься к некоему своему старому замыслу или даже старым наброскам. Кстати, на эту мысль наводят и некоторые детали повести: например, ночной разговор на хуторе о «тишине» — это же явная реминисценция от «Знамени бригады», если не черновой вариант сцены с Лизаветой. Также ритмическое хозяйство вещи ставит ее в явную зависимость от той поэмы. Мог бы я и еще кое-что добавить в этой плоскости, но дело не в подробностях, — о них я скажу еще тебе при встрече, если понадобится, то есть если ты примешь основные мои наиболее тяжкие упреки.

К ним я отношу, кроме сказанного, еще два.

1. Мне кажется (может быть, по недостаточному проникновению в текст из-за языка), что сюжетная схема повести (как ты ее называешь, чуя, может быть, сам то, о чем моя речь) излишне отяжелена переплетением различных ходов, отношений, судеб, пар и т. д. Это не под силу стиху, он от этого страдает, тратится порой на изъяснение малозначущих прозаических деталей, связок, переходов и тому подобного, что ведет к длиннотам, к утяжелению, к потере энергии.

<sup>1</sup> М. В. Исаковский.

2. Основной сюжетный узел — борьба с лесным пожаром, явившимся в результате диверсии, на мой взгляд и слух, страдает надуманностью, крайними допущениями, элементами недостоверности.

Вот, примерно, в тезисном порядке и все, что я хотел тебе сказать, прежде чем окончательно оформлять отношения. Иными словами — мы хотим печатать тебя, Михаил Васильевич хочет переводить, дело за тобой. А что и как сделать для улучшения вещи — это ты знаешь лучше всех и единственно ты можешь это сделать.

Если эти беглые замечания, подобно зернам, падающим на неподготовленную почву, покажутся тебе совсем необоснованными и обидными, тогда приезжай для личной беседы (совместно, может быть, с М. В.), — мы тебе дорогу оплатим в соответствии с существующим законом. Размысли и отпиши или позвони — как и что.

Обнимаю тебя.

Мой привет Ксении Федоровне<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Жена А. Кулешова.

А. Твардовский

Публикация М. И. Твардовской

## ОБ УТЯЖЕЛЕННОСТИ СЮЖЕТА

Краткое пояснение: Твардовский пишет о первой части поэмы А. Кулешова «Грозная пуца», которая печаталась в «Новом мире» (1953 год, № 8) в переводе М. Исаковского под заглавием «Граница. Повесть в стихах». В первоначальной редакции (о ней и речь в письме) вещь имела название «Повесть о пограничниках».

В свое время Аркадий Александрович Кулешов так мне прокомментировал отзыв Твардовского: «В этом послании, деловом, А. Т. дает свои замечания к поэме, очень точные и доброжелательно-суровые, они во многом очень мне помогли, так как я в меру сил старался их учесть и для журнального варианта и в дальнейшем, когда работал над второй частью вещи» (16 августа 1975 года).

Действительно, журнальный текст поэмы носит следы внимательного чтения автором письма Твардовского. Так уже в начале поэмы автор дает понять читателю, что действие разворачивается «за десять лет до войны, до грозы неминуемой». Неполнота событий — фрагментарность повести — тоже мотивирована автором: «Это рассказ с продолжением в будущее времени». Продолжение, как известно, было: в том же «Новом мире» (1955, № 8) печаталась вторая часть повести — «Грозная пуца» в переводе Я. Хелемского.

В чем убедительная сила письма и в каком плане выступает в нем сам Твардовский?

Да, конечно, это обращение товарища к товарищу: «поверь моему слову...» Но и редактора журнала, что само по себе является немаловажным аргументом для автора и неизбежно заставит его призадуматься над пунктами письма.

Однако главная убедительность этого, как обозначил Кулешов, «послания» в том, что оно — слово писателя к писателю. Не только своя практика, но и широкое знакомство с образцами отечественной и мировой классики позволили Твардовскому сформулировать его главный упрек Кулешову, а по сути — создать формулу о свойствах (анти-свойствах) сюжета по способу «от противного». Обратная сторона формулы как раз и будет представлять творческий принцип самого Твардовского, следовавшего целесообразной экономичности, неприметности, простоте сюжета — качествам, наиболее соответствовавшим его понима-

нию задач художника. Его афоризм «на войне сюжета нету» вполне годился и для его послевоенных поэм.

То, что формула Твардовского о сюжете — не случайность, вызванная конкретным литературным явлением, поэмой белорусского поэта, — свидетельствует обращение Твардовского к этому же аргументу много лет спустя, в письме абхазскому писателю Баграту Шинкубе по поводу поэмы последнего «Песнь скалы»:

«Я считаю слабой стороной поэмы, — пишет Твардовский — ее сюжетную усложненность, иногда приобретающую авантюрно-романтический характер, как, например, в главе «Кабардинский князь». Такой сюжет, вообще говоря, более под силу прозе. Стих, вынужденный служить целям повествовательного изложения столь сложных ситуаций, теряет в весе, становится амусыкальным, местами перегружен словами служебного значения».

Эти высказывания многое проясняют в работе самого Твардовского. Во всяком случае, они дают возможность взглянуть на сюжеты его собственных поэм с точки зрения его рассуждений.

Предостережение о перегрузке сюжета, однако, не означало, что Твардовский вовсе отрицает конструкцию, несущую идейный и словесный материал произведения. Очевидно, критику конструкции вызывали у Твардовского ситуации, когда очертания сюжета начинали выпирать из произведения, когда автор не справлялся с собственной постройкой.

Твардовский интуитивно чувствовал грань, отделяющую стих и прозу. Сам он последовательно использовал в поэзии многие свойства прозы, но не забывал при этом о границах дозволенного, касалось ли это музыкально-ритмической стороны произведения или его сюжетной организации.

Так, по-видимому, и воспринял Кулешов замечания Твардовского: он снял «излишества и украшательства» в «Грозной пуце» и в дальнейшем не отказывался от разветвленного сюжета — не как заранее сконструированного ложа для материала, а как постройки, повторяющей линии естественно, где тема произведения развивается логически. Такими свойствами обладала его драматическая поэма «Хамутиус», вышедшая уже после смерти А. Твардовского.

М. И. Твардовская

## МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ — АЛЕКСАНДРУ ТВАРДОВСКОМУ

Дорогой Саша!

Вчера (20 янв.) звонил тебе по телефону. Но мне никто не ответил. Потом вечером позвонила Мария Илларионовна и от нее я узнал, что ты еще в Ялте и будешь там до 15 февр.

А звонил я тебе потому, что прочел в «Правде» твоё стихотворение (вероятно, это глава поэмы «За далью — даль») под названием «Разговор с Падуном», и мне хотелось сказать тебе, что очень это хорошо написано. Помоему, это гораздо лучше, чем то, что было напечатано в «Правде» раньше, — я имею в виду стихи на целую страницу газеты, стихи об Ангаре. Хотя и те стихи хороши, но там кое-что растянуто, многословно, излишне детально и потому, может быть, не всегда нужно. А здесь все в меру, все здорово. Стихи «Разговор с Падуном» полны глубокого смысла и, кроме того, просто-напросто интересны, ну хотя бы с той точки зрения, что читатель если уж начал читать эти стихи, то обязательно дочитает их до конца: интересно, что же произойдет, что же будет сказано дальше. Я подчеркиваю эту немаловажную сторону стихотворения потому, что у нас не умеют писать таких стихов, которые бы захватывали читателя, которые были бы просто, скажем, читабельны. Стихов печатается излишне много, и если среди мелких стихотворений еще попадаются хорошие стихи, которые интересно и приятно бывает прочесть, то этого никак нельзя сказать о поэмах или о длинных стихах вообще. Поэмы и длинные стихи написаны настолько неинтересно, что читаешь их с трудом и в большинстве случаев бросаешь, не дочитав.

В общем, хорошо, Саша, и еще раз хорошо.

Я сейчас пытаюсь переводить итальянцев. Но очень какие-то странные стихи у них. Они не рифмуются и написаны совершенно произвольными ритмами. Одна строка так, другая этак, в общем полная неразбериха. И я уже кому-то говорил, что, по-моему, это никакое новаторство, никакая оригинальность и самобытность, а просто распад поэтической формы вообще.

Телеграмму твою, которую ты прислал ко дню восьмидесятилетия со дня смерти Некрасова, получили. Она была оглашена на вечере в зале имени Чайковского. И это произвело очень хорошее впечатление.

Что касается моего самочувствия, то похвалиться не могу. Я, конечно, что называется, на ногах, но очень меня мучает в настоящее время гипертония. Очень болит голова, каждое утро просыпаюсь с сильно пульсирующей головной болью, от которой трудно даже двигаться. В общем, старость не радость.

Ну, вот пока и все. Слышал от Марии Илларионовны, что ты продуктивно работаешь в Ялте, что пишешь не только стихи, но и прозу. Так вот, желаю тебе, чтобы это твое рабочее настроение продолжалось. Остальное все приложится.

Привет Марии Илларионовне и Ольге <sup>1</sup>.

20 января 1958 г.

М. И с а к о в с к и й

---

<sup>1</sup> Жена и дочь А. Т. Твардовского.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ —  
ДИРЕКТОРУ ГОСЛИТИЗДАТА ТОВ. КОТОВУ А. К.

Многоуважаемый Анатолий Константинович!

Просмотрев только что вышедший из печати сборник «Поэты мира в борьбе за мир», вышедший под общей редакцией С. Маршака, А. Суркова и моей, я обнаружил в нем одно лично меня касающееся и возмущившее меня обстоятельство.

Вот аннотация, которая ныне дана в сборнике перед моими стихами:

«Симонов Константин Михайлович родился в 1915 году. Первые его произведения в печати появились в 1934 году.

Большую творческую работу К. Симонов сочетает с государственной и общественной деятельностью. Он депутат Верховного Совета СССР.

Симонов — участник Великой Отечественной войны. Лауреат Сталинских премий. После войны активно участвует в международном движении борьбы за мир, является делегатом Второго Всемирного конгресса сторонников мира в Варшаве».

Я считаю, что в этой аннотации фраза: «Большую творческую работу К. Симонов сочетает с государственной и общественной деятельностью» является ненужной, нескромной фразой, а учитывая то, что сборник вышел, в частности, и под моей общей редакцией, — фразой, компрометирующей меня, дающей обо мне ложное представление как о человеке, который якобы мог допустить появление такой фразы в сборнике, к редактированию которого он имел отношение. Между тем эта фраза появилась в аннотации к моим стихам не только без моего ведома, но и вопреки моему требованию снять ее.

В декабре 1950 года мною на Ваше имя, на имя Суркова и Маршака было послано подробное, в четверть листа, письмо — редакционная рецензия на прочтенный мною сборник «Поэты мира в борьбе за мир». В этой рецензии я настаивал на снятии из сборника около пятидесяти стихотворений (в том числе двух своих) и на литературной редактуре аннотаций, на исключении из них всякого рода похвал и преувеличений и вообще ненужных оценок и на составлении их в духе фактографии.

Вот пункт, написанный в моем письме на Ваше имя по этому поводу: «...врезки об авторах в советском отделе никуда не годятся по своей разнокалиберности. Для того чтобы составить нормальные врезки, следует задать по отношению ко всем авторам одни и те же три-четыре вопроса и кратко, без всяких красот стиля ответить на них. Анкета, по-моему, должна быть, примерно, такая:

- 1) когда родился,
- 2) когда начал литературную деятельность,
- 3) удостоен ли Сталинской премии за *стихи*,
- 4) избран ли депутатом Верховных Советов республики или Союза (других должностей, постов, по-моему, указывать не нужно),
- 5) участвовал ли в Великой Отечественной войне,
- 6) принимал ли видное участие в борьбе за мир...

При наличии такой мысленной анкеты, во-первых, справки будут принципиально однообразны, а во-вторых, в них будет выделено существенное *именно* для этого сборника — участие в войне против фашизма и участие в борьбе за мир».

Из этого места моего письма, по-моему, совершенно ясен смысл тех справедливых требований, которые я предъявлял к принципу аннотирования стихов сборника. Этот принцип, разумеется, один для всех, и поэтому в той верстке, которую я Вам прислал вместе с письмом и в которой моей рукой вычеркнуты стихи, подлежащие, на мой взгляд, исключению, — я собственноручно исправил прежде всего аннотацию к собственным стихам.

На странице 261 (в той верстке, которая была у меня) первоначально в аннотации было написано:

«Симонов Константин Михайлович родился в 1915 году.

Первые произведения в печати появились в 1934 году.

Большую творческую работу К. Симонов сочетает с государственной и общественной деятельностью. Народ оказал ему высокое доверие, избрав депутатом Верховного Совета СССР. К. Симонов является одновременно заместителем Генерального секретаря Союза советских писателей и главным редактором «Литературной газеты».

Симонов — участник боев на Халхин-Голе, участник Великой Отечественной войны.

После войны писатель активно участвует в международном движении борьбы за мир, является членом Постоянного комитета сторонников мира».

Считая этот текст неприемлемым, я исправил его. После моей правки в посланном мною Вам экземпляре аннотация выглядела так:

«Симонов Константин Михайлович родился в 1915 году.

Первые произведения появились в печати в 1934 году.

Участник боев на Халхин-Голе, участником Великой Отечественной войны, депутат Верховного Совета СССР, член президиума Советского Комитета защиты мира».

Между тем в книге, в том виде, в каком она вышла, в аннотации обо мне, без согласования со мной, даже без того, чтобы поставить меня об этом в известность, была вновь вставлена вычеркнутая мною собственноручно, ненужная и нескромная фраза насчет сочетания большой творческой работы с государственной и общественной деятельностью.

Так как мой предложения об изъятии стихов и о характере аннотаций в целом в книге в основном реализованы, так же, в частности, наполовину реализована и моя правка по аннотации к моим собственным стихам, — я не могу рассматривать это как случай простой халатности, а рассматриваю как произвол кого-то из работников издательства. Между тем в глазах читателей объективно получается, что один из людей, которым была поручена редакция этого важного сборника, использовал свое положение для того, чтобы устроить самому себе в этом сборнике пышную аннотацию.

Я был очень огорчен и возмущен, увидев все это. Я прекрасно помнил и содержание своего письма, и то, что аннотация была выправлена мною собственноручно, но сегодня, увидев сборник, решил еще раз проверить себя и получил в Гослитиздате верстку со своей собственноручной правкой. Верстку эту я возвращаю в Гослитиздат, а тот лист, на котором мои стихи с аннотацией, прилагаю к этому письму и очень прошу Вас расследовать эту историю и написать мне о результатах.

Уважающий Вас

К о н с т а н т и н   С и м о н о в

24 июля 1951 г.

*Публикация Л. Жадовой и Л. Лазарева*

Случай, о котором идет речь в публикуемом письме Константина Симонова, может на первый взгляд показаться не очень значительным. Однако эта история раскрывает одну из существенных и очень привлекательных черт характера писателя, один из принципов, которому он неукоснительно следовал на протяжении всей своей жизни. Историй такого рода было немало, но реакция Константина Михайловича в подобных случаях всегда была одинаковой. Он не выносил запаха фимиама, с брезгливостью и крайней нетерпимостью относился к попыткам возвышать его, принижая других, к разного рода «припискам». Вот еще одно, 1953 года, неопубликованное письмо, в котором он предостерегает автора статьи, посвященной его творчеству: «Обратите внимание на мои пометки в тексте; они относятся главным образом к некоторым превос-

ходным степеням, которые, думается, по отношению к моим книгам употреблять нет оснований. Думаю, что если эти превосходные степени убрать, то это будет верно и по существу и статья от этого выиграет». Так было и через четверть века, на склоне дней его. Вот недавно напечатанное в «Литературном обозрении» (1979, № 11) письмо 1977 года Л. Финку по поводу его монографии о Симонове. Публикация не случайно названа «Урок нравственной требовательности»: Симонов в письме автору монографии указывает на неоправданные комплименты, на необоснованные противопоставления его произведений произведениям других писателей — он замечает все это даже тогда, когда превосходные степени не очень бросаются в глаза, а дозы фимиама едва ощутимы.

Он не только не боялся критики — даже резкой,

он жаждал правды, нелিপеприятного разговора, искал способы проверки написанного, старался извлечь из критических замечаний все разумное, дельное. И не хотел, чтобы его оберегали от критики и хвалили по обязанности или из-под палки. Приведу отрывок еще из одного его письма, кажется не имеющего прецедента в современной литературной жизни. Это письмо критику, которого отчитали за то, что он критиковал один из романов Симонова. «Я без всякого удовольствия, — писал Константин Михайлович, — напротив, с огорчением прочел абзац в редакционном заключении, который касается меня и Вас. С особой скорбью прочел я фразу, в сущности сводящуюся к тому, что раз «критика единодушно отметила», что сей роман «одно из самых значительных произведений года», то, стало

быть, не гоже никакому отдельно взятому критику сосредоточить свое внимание главным образом на том, что в оном романе написано слабо. А почему, собственно, негоже?... Почему о романе после нескольких десятков одобрительных рецензий не может существовать иных мнений и вообще и по частностям?.. У нас уже есть в литературе несколько неприкосновенных авторов и неприкосновенных произведений. И вдруг промелькнувшая в этом абзаце даже отдаленная возможность попасть в их число меня испугала».

Публикуемое тридцатилетней давности письмо Константина Симонова заставляет нас размышлять о некоторых проблемах литературной этики, не утративших актуальности и сегодня...

Л. Л а з а р е в

## ДВА ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА ЯШИНА

### 1. ВАЛЕНТИНУ ОВЕЧКИНУ

Дорогой Валентин!

Много было всякого после того, как я побывал у тебя. Несколько раз пытался писать тебе, не получалось. И чтобы ты не подумал плохо о моем молчании, скажу только одно: все это время я жил, думая о тебе, постоянно опирался на твою силу, на твою душу, брал для себя за образец твоё служение большой нашей правде и справедливости. Очень часто, когда мне приходилось попадать в условия, требовавшие выдержки, выносливости, крепости духа, я старался представить себе, как бы ты себя вел в каждом отдельном подобном случае.

Поверь, это не риторика. Перечитал твою книгу. Оказалось, что я как будто не все знал в ней. А м. б., я сейчас увидел в ней гораздо больше, чем раньше. Постоянно обращаюсь к ней. Честное слово, это целая энциклопедия колхозной жизни, людских отношений в деревне наших дней. Вспоминаю, что я с жаром рассказывал тебе кое о чем, увиданном мною, словно сделал какие-то открытия. А оказывается, у тебя все это уже есть, все пережито раньше, чем я пережил.

Я рад, что побывал у тебя. Мне было гораздо легче пережить многое, потому что я побывал у тебя, узнал и почувствовал тебя. Сейчас я все время чувствую тебя за своей спиной как старшего товарища, советчика и большого друга.

Кланяюсь тебе, обнимаю тебя! Желаю тебе здоровья, силы, бодрости душевной, ясности во всем.

А л е к с а н д р   Я ш и н

23 сентября 1957 г.

### 2. ВИКТОРУ КУРОЧКИНУ

Дорогой Виктор! (Отчества не знаю)

С восторгом прочитал Вашу повесть «На войне, как на войне». Не мог ни у кого здесь (я в Гагре, в Д/тв) узнать Ваш адрес и все-таки пишу Вам наугад, авось дойдет.

Позвольте поздравить Вас с большой победой, с большой удачей. Позвольте сказать Вам, что Вы написали великолепную книгу — и это по самому большому счету. С моей точки зрения, Ваша книга станет в ряд лучших художественных произведений мировой литературы о войне, о человеке на войне. К тому же это очень русская книга. Я думаю, что не ошибаюсь. И пусть не придет Вам в голову, что я могу как-нибудь лукавить, фальшивить, льстить Вам. Нет у меня этого ни в мыслях, ни в душе, пишу от чистого сердца.



Читал я Вашу книгу и ликовал и смеялся и вытирал слезы. Все удивительно тонко, достоверно, изящно, умно. И все — свое, Ваше, я не почувствовал никаких влияний. А это очень дорого.

Спасибо Вам.

Дальше. Мне тут рассказали, что будто бы Вас в Ленинграде не принимают в Союз писателей. Пожалуйста, посмейтесь над этим, и только. Посмейтесь! Не дай бог огорчаться из-за этого.

А то, что напали на Вашу повесть — это говорит только в ее, повести, пользу и Вам пойдет только на пользу. Ваша книга бьет по всем неумеющим писать, бесталанным, как же им не сопротивляться. К тому же и совести у этих людей нет. А ведь многие из них тоже о войне пишут. Смотрите на эти статьи как на рекламу, и только. Если бы не они, и я бы, наверно, долго еще не имел счастья прочесть Вашу повесть.

Для меня «На войне, как на войне» выше прославленной повести А. Барбюса «В огне» и дороже и роднее Ремарка. А обаятельнейший, человечнейший Саня Малешкин имеет лишь одного предшественника — Петю Ростова (больше пока я не вспомнил).

Еще раз спасибо Вам большое и низкий поклон.

Если мое имя Вам что-нибудь говорит, имейте в виду, что отныне я Ваш друг и Ваш постоянный читатель. Буду счастлив, если смогу когда-нибудь быть Вам в чем-нибудь полезным.

Дай Вам бог силы и здоровья.

А л е к с а н д р Я ш и н

27.Х.65.

Публикация З. К. Яшиной

Александр Яшин относился к своим письмам очень серьезно. Для него это было все то же общение со словом, то же творческое откровение. Он отвечал на все письма, которые приходили к нему. Его ответы иногда становились стихами, циклами стихов — «Первые письма», «Слезы из глаз», «Телеграмма», «Новогодняя почта». И часто в дни, когда из-за разных причин Александр Яковлевич не мог сесть за стол, письма служили «мостиком» к основной его работе.

Яшин любил писать письма — они были сжаты и в то же время красочны, полны душевной щедрости, написаны четким, почти каллиграфическим почерком, красиво расположены на листе. Письма писались всегда «вначисто» (кроме официальных), поэтому в архиве писателя копий, как правило, не сохранилось, и теперь только по дневникам можно восстановить круг его общения — переписки.

Как в жизни каждого человека, у Александра Яшина круг друзей в разное время был разный — менялись времена, люди, менялся и сам Яшин. В силу многих обстоятельств последнее его десятилетие было трудным, драматичным, но чем больше страданий было в жизни поэта, тем светлее, мужественнее становилась душа его. И в эту пору, когда Яшиным были написаны книги стихов «Совесть», «Босиком по земле» и «День творенья», когда поэт создал свою прозу, когда он стал предъявлять себе, своему творчеству высочайшие требования правды, — вокруг него собрались люди, перед которыми он мог распахнуть свою душу и увидеть душу их. Это были люди разных поколений, отобранные его сердцем, горячо любимые им, ради которых он мог идти на любую жертву, — люди одинаковых взглядов на жизнь.

Со многими из них Яшин переписывался, и в этой переписке, рассказывая о своей работе, многое для себя уточнял.

Особое место в жизни Яшина занимал Валентин Овечкин. Их дружба началась в 1957 году, когда Александр Яковлевич был в Курске. В дневнике имеется запись: «21 июня 1957 г. ...Овечкин принял меня

просто, хорошо, но первый вечер был сдержан в разговоре, присматривался. Потом раскрылся, дело пошло лучше...» С этой встречи началась и их переписка (письма А. Яшина переслал мне В. В. Овечкин, сын писателя). Яшин написал Валентину Овечкину всего 12 писем, но в них, как в фокусе, отражена жизнь, которую оба прожили: тревога за судьбу литературы, надежда на свою работу, поддержка друг друга, когда «не пишется», щедрая оценка написанного и горячее сочувствие друг другу при всех жизненных невзгодах.

Обеспокоенный здоровьем В. Овечкина, переселившегося из Курска в Ташкент, А. Яшин настойчиво звал его к себе в Россию. Он писал:

17 июля 1962 г. «...Еще одно дело. Я тебя уже в 58 году зазывал к себе в гости, в Вологодскую область. Я в тебя давно и по-хорошему влюблен. Сейчас буду звать снова. Поставили мне на Бобринском Угоре в Никольском районе, на высоком берегу реки избушку, в которой можно прекрасно жить, отдыхать, работать. Сосновый бор и река, охота и рыба, и сказочные окрестности — от деревни моей, Блуднова, в 1,5 км. Еще новоселья не было, т. е. «влазин» (новоселье — влазины). Не хочешь ли поехать со мной на влазины... Я бы за тобой ухаживать стал, как за каким-нибудь королем или принцем экваториальным...»

1 мая 1965 г. «...Тебе, видимо, надо выбираться из того климата, чужого тебе... Если ты быстро сможешь приехать (прилететь?), то тебя здесь подлечат и мы той порой что-нибудь изобретем и махнем в мою лесную избу... А к тебе здесь отношение такое доброе, немедленно были бы приняты все наилучшие меры и подлечили бы тебя...»

Октябрь 1965 г. «...Напечатал один рассказ в «Новом мире» № 6 — «Угощаю рябиной». В нем был у меня абзац о тебе — о том, что ты в Ташкенте тоже тоскуешь по своей рябине и, может быть, поэтому и болеешь. Новомирцы сняли этот абзац, сказали — неудобно: он член редколлегии, да и не из-за рябины он болеет. О тебе чаще и очень хорошо пишут... Когда тебя хвалят, мне всегда нравится...»

Ноябрь 1965 года. Гагра. «...Лучше ли тебе? Скоро ли сможешь выбраться отсюда? Скоро ли начнешь писать? Завтра, наверно, буду уже в Москве, оттуда пошлю тебе новую книжку стихов «Босиком по земле», не всегда же ты относишься к стихам скептически. Будь здоров, держись, родной мой».

4 мая 1967 года. «Кисловодск. 6 час. утра.

Дорогой мой Валентин, любимый человек! Прости, что я ни разу не написал тебе за все это время... А как же с моим Бобришным Угором? Я ведь серьезно приглашал и приглашаю тебя туда ко мне. Там сосняк, река, озера, охота, рыба, там здоровье для нас обоих, особенно для тебя. Друг мой, отнесись серьезно к этому письму, поедем, поживем лето у меня в деревнях и на Бобришном Угоре... Прожили бы мы легко, в основном за счет охоты и на подножном корму... Пожалуйста, посоветуйся с врачами и напиши мне скорей. Нельзя тебе оставаться больше в Ташкенте на лето, в жару, поверь, нельзя, я это очень сильно чувствую...

Родной мой, я очень жду от тебя письма, ответа. Обнимаю тебя».

Александр Яшин любил Валентина Овечкина верно, преданно и знал, за что любит. Уже в первом, ныне публикуемом письме его сказано то, что определило их отношения до конца жизни.

С огромной заинтересованностью относился Яшин ко всему новому, с его точки зрения — значительному, что появлялось в литературе. Письмо к Виктору Курочкину, переданное мне Г. Е. Курочкиной, женой писателя, — один из примеров того, как немедленно, горячо, от всего сердца предлагал Яшин свою помощь и поддержку талантливейшему прозаику, выпустившему свою первую книгу.

Нет уже ни Яшина, ни Овечкина, ни Курочкина, но остались их книги, их письма, раскрывающие высокий строй их душ, предельно честное, страстное отношение к литературе, к жизни, друг к другу.

З. К. Я ш и н а

### СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ — АРАМУ ХАЧАТУРЯНУ

3 февраля 1958 года

Дорогой Арам Ильич!

Хочу поделиться с Вами своими впечатлениями от Вашего вечера. Я с детства живу в музыке. Я помню Аренского в нашем доме, когда он принес романс, посвященный моей покойной сестре Елене Митрофановне.

Я помню день, когда она рыдала на рояле в день смерти Чайковского, и дом окружала тайна его смерти.

В этом зале, где шел Ваш вечер, Лядов познакомил меня с Римским-Корсаковым, и я обещал ему либретто, чему исполниться помешала его смерть. Я там слушал множество славных дирижеров.

Я был торжественно и глубоко взволнован, весь в музыке.

Я Вашу музыку знаю и люблю с самого начала. Не раз ее помогал мне понять Юрий Бирюков, Ваш соученик у Мясковского. Он бывал у меня, и я знал его тоже с самого начала в дни его любви к М. Л. Г.

Но я никогда не слышал Вас на протяжении всего вечера. И не музыка меня беспокоила, а то, как Вы будете дирижировать.

Вы дирижировали, как композитор. (Так поступали и Глазунов, и Лядов.) Скромно, вначале даже робко, без позы, с глубоким доверием к оркестру, Вы постепенно разгорались, и в таких номерах, как *Andante mosso* и *Allegro brillante*, достигли подлинного дирижерского мастерства.

Теперь два слова о музыке. Национальный мелос Вы подняли до звучания общечеловеческого. Мне, русскому, эта Ваша победа особенно была ярка (а я тревожился!) в колоколах. Нелегко после Глинки и Мусоргского перевести колокольный звон на язык оркестра. И вот что новое у Вас. Никто не передавал *вступлений* к колокольному звону. Я сам мальчишкой получал подзатыльники от звонаря за то, что торопился в начальных перезвонах маленьких колоколов. (В Орле ребят пускали на Пасху звонить — весь день звонили!)

Я вспомнил детство, слушая, с какой восточной нежностью Вы вырабатывали эти интродукции.

Ну вот, это главное, что я хотел Вам сказать.

При встрече когда-нибудь поговорим о том, что во «Второй» мне не хватает общей философской концепции.

А виртуозному Берману скажите, чтоб он не боялся мягкости звука, отставания от громов оркестра в звучности — ведь Вы ему даете даже м. б. несколько затянутые паузы для вступления рояля.

С дружеским приветом

Сергей Городецкий

Публикация В. Енишерлова

## АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — МАРГАРИТЕ МОРОЗОВОЙ

Милая, милая Маргарита Кирилловна!

...Как мы с Асей отдохнули после ужасного Каира. В Каире хорош древний Египет, пустыня, пирамиды, Нил и долина Нила; сам Каир ужасен: старый город — декаданс всего подлинно арабского, после Туниса он ужасает грязью, дурным стилем домов и... людьми. Здесь скрывается благородный араб, сменяясь арабом попрошайкой, а европейский Каир — того хуже; грязь, керосиновая копоть автомобилей, грабители-феллахи, чванные капиталисты всего мира вкупе с паясничающими коронованными особами всего мира; вся эта праздная ватага густо пересыпана... проходимцами всего мира. Мы застряли в Каире, около четырех недель... Как правоучительно наше путешествие. Уехали из России на Запад, а вернемся в Россию с Востока. Искали Запад, а нашли Восток. Боже, до чего мертвы иностранцы, ни одного умного слова, ни одного подлинного порыва: деньги, деньги, деньги и холодный расчет... Культуру Европы придумали русские, на западе есть цивилизация; западной культуры в нашем смысле слова нет; такая культура в зачаточном виде есть только в России.

Возвращаюсь в Россию в десять раз более русским... Меня злит подчеркивание у нас слова Европа; меня злит культ Германии, как «шуп мира»... Мы, русские, единственные из европейцев, кто ищет, страдает, мучается; на западе благополучно здороваются; румянощекий господин Котелок, костяная госпожа Зубочистка — вот подлинные культуртрегеры Запада.

Насколько живее, проще, красочнее чреватая будущим Африка; и что эти поганцы европейцы делают здесь; они водворяют, правда, гигиеническую зубочистку и усаживают на арабе господина Котелка, вместе с тем они варварски отравляют все подлинное в Африке. Едва мы с Асей попали на африканский берег, мы сказали: «Здесь лучше Европы». А это первое впечатление на протяжении 3 месяцев укрепило мое твердое убеждение... У нас западники говорят: поучитесь сперва предпоследнему; но предпоследнее для меня теперь — гигиеническая зубочистка, и только; утверждать, что вычищенные зубы лучше невычищенных, — полезно; но когда на основании этого утверждения провозглашается культ зубочисток, в пику исканию последней правды, то хочется воскликнуть: «Чистые слова, произносимые невымытыми устами, все-таки несоизмеримы с грязными словами, произносимыми умытым свиным рылом; а европеец — слишком часто умытая свинья в котелке, с гигиенической зубочисткой в руке...»

...Вот уже месяц, как все бунтует во мне при слове «Европа». Гордость наша в том, что мы не Европа, или это только мы — подлинная Европа... Ася Вас приветствует.

Остаюсь искренне преданный

Борис Бугаев

*Апрель 1911*

Маргарита Кирилловна Морозова, адресат поэта Андрея Белого (Бориса Бугаева), — пианистка, ученица А. Н. Скрябина, меценатка, одна из просвещенных женщин своего времени. В 1910 году она передала в Третьяковскую галерею большой цикл картин: Врубеля («Царевна-лебедь»), Левитана, Серова, Коровина.

*Публикация Е. М. Буромской-Морозовой*

12 августа 1932 г.

Дорогая Саломея, видела Вас нынче во сне с такой любовью и такой тоской, с таким безумием любви и тоски, что первая мысль, проснувшись: где же я была все эти годы, раз так могла ее любить (раз, очевидно, так любила) и первое дело, проснувшись — сказать Вам это: и последний сон ночи (снилось под утро) и первую мысль утра.

С Вами было много других, Вы были больны, но на ногах и очень красивы (до растравы, до умиленности), освещение — сумеречное, все слегка пригашено, чтобы моей тоске (ибо любовь — тоска) одной гореть.

Я все спрашивала, когда я к Вам приду — без всех этих — мне хотелось рухнуть в Вас, как с горы в пропасть, а что там делается с душой — не знаю, но знаю, что она того хочет, ибо тело — самосохранение. — Это была прогулка, даже променада — некий обряд — Вы были окружены (мы были разъединены) какими-то подругами (почти — греческий хор) — наперсницами, лиц которых не помню, да и не видела, это был Ваш фон, хор, — но который мне мешал. Но с Вами, совсем близко, у ног была еще собака — та серая, которая умерла. Еще помню, что Вы превышали всех на голову, что подруги — охранявшие и скрывавшие — скрыть не могли. (У меня чувство, что я видела во сне Вашу душу. Вы были в белом, просторном, ниспадавшем, струящемся, в платье непрерывно создаваемом Вашим телом: телом Вашей души.) Воспоминание о Вас в этом сне, как о водоросли в воде: ее движения. Вы были тихо качаемы каким-то морем, которое меня с Вами рознило. — Событий никаких, знаю одно, что я Вас любила до такого иступления (безмолвного), хотела к Вам до такого самозабвения, что сейчас совсем опустошена (переполнена).

Куда со всем этим? К Вам, ибо и когда не поверю, что во сне ошибаются, что сон ошибается, что я во сне могу ошибиться. (Везде — кроме.) Порукой — моя предшествующая сну запись: — Мой любимый вид общения — сон. Сон — это я на полной свободе (неизбежности), тот воздух, который мне необходим чтобы дышать. Моя погода, мое освещение, мой час суток, мое время года, моя широта и долгота. Только в нем я — я. Остальное — случайность.

---

Милая Саломея, если бы я сейчас была у Вас — с Вами — но договаривать бесполезно: Вы меня во сне так не видели, поэтому Вы, эта, меня ту (еще ту!) навряд ли поймете. А та — понимала, и если сразу не отвечала, когда и где, если что-то еще длила и отдаляла, — то с такой всепроникающей нежностью, что я не отдала бы ее ни за одно когда и где.

---

Саломея, у меня озноб вдоль хребта, вникните: наперсницы, греческий хор, обряд ложно-классической променады, мое ночное видение Вас — точное видение Вас О. М-ма<sup>1</sup>. Значит прежде всего поэт во мне Вас такой сновидел, значит — правда, значит Вы та и есть, значит та — Вы и есть. Не могут же ошибиться двое: один во сне, другой на яву. (Д в у х поэтов, как вообще поэт в (множественного) нет, есть один: он все тот же.)

---

<sup>1</sup> О. М-ма — Осипа Манделштама. У него есть цикл стихотворений «Соломинка», обращенный к Саломее Андрониковой.

Мне сегодня дали прочесть в газете статью А. о стихах; где он говорит, что я (М. Ц.) хотя и хорошо пишу, но — н и ч е й п у т ь. Саломея! он совершенно прав, только это для меня не упрек, а высшая похвала, т. е. правда обо мне, о правде поэтов сказавшей: «П р а в д а п о э т а — т р о п а, з а р а с т а ю щ а я п о с л е д а м». Так и моя (сонная, дапная) правда о Вас, правда меня к Вам когда-нибудь зарастет, но я нарочно не иду, стою посередине своего сна как посередине леса, спиной ощущая, что т а — Вы (т ы — Вы!) еще там (здесь).

Саломея, Вы сухи, вы сплошная сушь (кактус!) и м о я сушь по сравнению с Вашей — подводная яма. Я никогда, ни разу за все семь лет не видела Вас что-нибудь до самозабвения любящей, но раз я Вас, именно Вас... без всякого внешнего повода, о Вас не думая и даже — з а б ы в — Вас такой видела, т а Вы е с т ь, другая Вы — есть. Иначе вся я, с моими стихами и снами, н и ч е г о н е с т о ю, вся — мимо.

Кончаю в грозу, под такие же удары грома, как внутри, под встречные удары сердца и грома, под такие же молнии, как молния моего прозрения — Вас: себя к Вам. Ибо — оцените такт моего сердца, хотя и громовбого — Вы меня во сне вовсе не так любили (так любить двоим — нельзя, места нет!)

— Саломея, электричество погасло, чтобы одни молнии! пишу в грозовой темноте — итак: В ы меня в моем сне вовсе не любили, Вы просто ходили зачарованная моей любовью, Вы х о д и л и, чтобы Я на Вас с м о т р е л а. Вы просто красовались, но не тем кобылицыным красованием красавиц, а красотой любимого и невозможного существа.

Милая Саломея, письмо не кончается, оно единственное, первое и последнее от меня (во всем охвате вещи) к Вам (во всем охвате — Вашем, который знаете только Вы). И даже когда кончится — как нынешний сон и, сейчас, гроза, — внутри не кончится — долго. Я все буду ходить и говорить Вам — все то же бесполезное, беспоследственное, беспомощное, божественное слово.

Милая Саломея, лучше не отвечайте. Что на это можно ответить? Ведь это не вопрос — и не просьба — просто лоскут н е б а л ю б в и. Даю Вам его — в ответ на всё, целое, которое в том (уже — том!) сне дали мне — Вы.

Знаю еще одно, что при следующей встрече — через день или через год — или: через год и день (срок для найденной вещи и запретный срок всем сказан!) — н а людях, одна, где и когда бы я с Вами ни встретила, я буду (внутри себя) глядеть на Вас и н а ч е, чем все эти семь лет глядела, может быть вовсе потуплю глаза — от невозможности с к р ы т ь — от безнадежности с к а з а т ь.

М а р и н а

Саломея Николаевна Андроникова (род. в 1888 г.), адресат М. Цветаевой, была связана дружбой со многими русскими поэтами.

Как спорили тогда — ты ангел или птица! Соломинкой тебя назвал поэт.

Равно на всех сквозь черные ресницы Дарьяльских глаз струился нежный свет,—

писала о ней Анна Ахматова в стихотворении «Тень».

Оказавшись в эмиграции, Саломея Андроникова была одной из немногих, кто понял и близко к сердцу принял судьбу и стихи Марины Цветаевой. Они встречались и переписывались.

Саломея Николаевна сейчас девятиноста два года, но она бодрa и полна интереса к жизни. Свое богатство — более ста писем Марины Цветаевой к ней — Саломея Николаевна несколько лет назад передала из Лондона, где она живет, в Москву, в ЦГАЛИ.

Фрагменты из письма Цветаевой Саломее, которые мы публикуем, были любезно предоставлены нам самой Саломеей Николаевной. Это большая часть письма, опущены строки, имеющие частный характер. По всему видно, что письмо это — скорее стихотворение в прозе, написанное в типичной для Цветаевой экспрессивной манере — размашисто и ярко.

Публикация Г. Огрич-Васильева

После смерти Николая Николаевича Ушакова, известного советского поэта, автора «Весны республики», «Горячего цеха», «Якорей земли» и других книг, в его архиве была найдена папка неопубликованных стихотворений, написанных в разные годы. Предлагая читателю некоторые из этих стихотворений, мы выражаем глубокую благодарность за предоставление их вдове поэта Татьяне Николаевне Ушаковой.

\* \* \*

Мы — два ореха в темном море.  
Вода безмолвна. Ночь слепа.  
Склевало наши души горе —  
от нас осталась скорлупа.

Нас бог не провожает взглядом,  
и рыба не глотает нас.

Пока плывем с тобою рядом,  
прошу, коснись меня хоть раз.

Прикосновеньем жесткой кожи  
заставь теплеть скупую кровь,  
чтоб было все это похоже  
на позднюю, но все ж любовь.

*Ташкент. 24.VIII. 43*

#### В ПУТИ

Пока еще не дан свисток,  
хотя б за небольшую плату,  
господь, пошли нам ручеек,  
чтоб каждый руки вымыть мог  
подобно Понтию Пилату.

И мы бежим, взяв полотенца,  
за привокзальные сады  
в напрасных поисках воды,  
случайные переселенцы  
с вдали мерцающей звезды.

*1944*

\* \* \*

Зеленая акация —  
голубоватый тон.  
Воздушной навигацией  
кораблик унесен.

Скользит под легким парусом  
в зеленые моря.  
Каюты в два-три яруса,  
меж ними и моя.

В ней за столом за письменным  
сжужу, тобой дышу.  
Тобой оболган, высмеян,  
тебе же и пишу.

Работала бы рация, —  
приму я твой ответ.  
Зеленая акация —  
голубоватый цвет.

Зеленою акацией  
закрыт мой небосклон.  
Весенней навигацией  
кораблик унесен.

Теплыни — не угнаться ей  
за мотыльком-цветком.  
Зеленою акацией  
закрыто все кругом.  
*1950*

## И СНОВА ДЕМОНЫ

И снова демоны, и значит —  
глухая ночь черна всерьез.  
Как небо траурное плачет!  
Как море давится от слез!

Но пусть сырая тьма сурова,  
но пусть отсутствует луна.  
Заря сиять уже готова  
сквозь ночь, как первый снег она.

Пусть море темное лютеет,  
пусть волны-демоны летят,

уже край неба розовеет,  
уже клоч пены розоват.

И комнаты повеселели,  
ночник не так темно горит,  
и радость у твоей постели —  
заря рассветная стоит.

Еще исправится погода,  
и станет море как стекло —  
еще и в это время года  
на солнце сухо и тепло.

1951

*Публикация Т. Н. Ушаковой*

## Николай Тряпкин

### ЖЕЛТЫЙ ТАЙФУН

Ах, ни горестных жалоб, ни смертной тоски!  
И не место раздорам и суетной злобе!  
Это просто запрыгали злые пески —  
И пошли танцевать над просторами Гоби,

Из-под мертвых озер, из-под каменных дюн,  
Из-под горьких пластов раскаленного света...  
Это каменный смерч! Это желтый тайфун!  
Это злобные духи завывли с Тибета.

Где ты, ласковый свет сунгурийской зари?  
Где вы, красные маки на рейдах Кантона?

Закружился песок над волной Уссури,  
Над высокой Звездой боевого кордона.

Закрывай же ладонями эту строфу  
И не дрогни под гулом сыпучего шквала!  
Это мудрый Конфуций и скорбный Ду-Фу  
Голосят под прыжком Огневого Шакала.

Это ходят, кружат, завывают пески  
Над Великой Стеной и по скверам Харбина...  
Ах, ни горестных жалоб, ни смертной тоски!  
Да святится в руке твоей щит паладина!

\* \* \*

*Памяти Виктора Хары*

А где-то в узилище били поэта —  
И всюду под нами гудела планета,  
И в каждом восходе Полярной Короны  
Из праха и тьмы возникали циклоны.

Гудела земля, и сновали пожары,  
И к черту на биржах катились доллары,  
И где-то под сталью солдатского шлема  
Для праведных скрылась звезда Вифлеема,

И грозная тьма навалилась с Тибета...  
Ах, сбросьте, мамаша, фиалку с берега...  
Да что вы, мамаша? Не празднуйте труса:  
Устали волхвы. Да и нет Иисуса...

И били поэта, и клали поэта  
В десяток носков и в четыре кастета...  
И вот под сияньем Полярной Короны  
Для новых Матфеев стоят чемпионы.

## А У НАС НА МЕЗЕНИ...

А у нас на Мезени златороги олени,  
А у нас на Мезени — виноград по лесам.  
Только бабы сварливы, только печки дымливы,  
А в других отношениях — только мед по усам.

А у нас на Печоре — калачи на заборе,  
А у нас на Печоре — и в прудах молоко.

Только парни носаты, только девки губаты,  
А в других отношениях — вам до нас далеко.

А у нас на Кубани сажей моются в бане,  
А у нас на Кубани свитки граблями шьют.  
Только хлопцы учтивы, только девки красивы,  
Только жены с мужьями ходят, песни поют.

## Яков Белинский

### БОСХ

Неразгаданный Босх... Среди прекрасного мира —  
Жбан, Монах, Перевертыш и морда Тапира.

Вечный Босх... И за черной и синей завесой —  
муки грешников, празднество монстров и бесов.

Полукот-полумышь, полускат-полуптица,  
полусон-полуявь, полудьявол и полудевица.

О, горящие башни, кровавое небо и черная оспа —  
термоядерные сновидения Босха.

Всё безумие мира. Столетий внезапное сходство.  
Как огромен «Корабль Дураков», — откровение Босха.

### СОПЕРНИКИ

Любит работа.  
Робко приходит к нему.  
Каждый вечер.  
Он живет в железобетонном доме.  
Он тяжелые руки кладет ей на плечи.

Он желает вещами насытиться всласть,  
он острит, как транзистор среди пира,  
стоквадратной квартиры квадратная часть,  
обладатель квадратного мира.

Как он властно ступает, как пристально ест,  
как торжественно строит он фразу,  
как убийственна логика, выверен жест,  
как страшон кристаллический разум.

Не сумевший понять, что любить — позабыть  
о себе, верный раб утвержденного ритма,  
он включил и тебя в свой размеренный ритм  
и своей подчиняет орбите.

Все, что видит он в мире глазами слепца,  
непостижно, бесцельно, случайно,  
и твоя светоносная тайна лица  
для него — лишь ненужная тайна...

А другой целует твои следы  
на песке, на траве, на струях воды,  
над садами —  
тихий, трепетный зов Адама:

— Позови меня шепотом маленьких рук,  
загляни в мои дальние дали,  
разорви этот замкнутый мертвый круг,  
блеск пластмассы и власть дюралья...

Спит Вселенная. Полночь. Безлюдье. И тишь.  
Отдыхают и люди и роботы века...  
Так услышь же, услышь же, услышь же, услышь  
за квадратом окна тихий зов человека...



## Владимир Цыбин

\* \* \*

Мне бы снова дух степной,  
мне бы ту тропинку,  
где гуляет дождь со мной  
до утра в обнимку.  
Он вцепился мне в плечо,  
щекотнул под мышкой,  
дышит в ухо горячо  
мокрою задышкой.  
Мне бы только и всего,  
чтобы было тише,  
мне оставить бы его  
одного на крыше.  
Жизнь свою хочу понять,  
хоть иду по краю  
до тех пор, покамест вспять  
сердце возвращаю,  
где привязана тропа,  
взятая у лога,  
возле нашего столба,  
около порога.  
Прилегла, словно клубок,  
сохнет постепенно.  
Нюхает ее телок,  
как охалку сена.

Я спешу в былые дни,  
в пыль знакомых улиц —  
все, кто умер из родни,  
все сюда вернулись.  
Говорю им: «Дождь какой  
вышел в огороды!»  
А они: «У нас покой,  
никакой погоды...»  
Вот сижу в доме пустом  
возле грустной стопки,  
оглянулся я кругом —  
ни дождя, ни тропки,  
ни знакомых, ни родни,  
ни друзей, ни милой.  
А решетки и плетни  
словно над могилой.  
Но добреет дождь, весом,  
окружил облетом.  
Прислонюсь к нему виском,  
как к родным воротам...  
Среди ливня и грозы  
ни звезды, ни шири,  
и никто моей слезы  
не услышит в мире...

## Николай Сидоренко

### В ЗИМНЕМ ПОЛЕ

Где маялся ветер, отчаясь  
Тебя проморозить насквозь,  
По снегу идем, отступаясь,  
Идем целиной на авось.

Друг друга молчаньем тревожа,  
Мы слушаем счастье сейчас.  
Должно быть, мы все же моложе,  
Чем думают люди о нас.

И, зиму припомнив былую,  
Покуда метель в забытьи,  
Студеные губы целую  
И варежки грею твои.

И белая видит безбрежность,  
И видит небес тишина:  
Не вымерзла прежняя нежность,  
Хотя и не те времена.

Созвездия снега летели,  
И сердцу дышалось легко...  
До нашей последней метели  
Нам было тогда далеко...

## Владимир Лазарев

### БИБЛИОТЕКАРЬ РУМЯНЦЕВСКОГО МУЗЕЯ

Николай Федорыч— святой. Ка-  
морка... Не хочет жалования. Нет  
белья, нет постели.

*Л. Н. Толстой*

Дневник. 1881 г.

Библиотекарь, седой старик  
В одежде ветхой, согбен и строг,  
В сознание века опять возник.  
Глаза сияют, и светел лик,  
И жест спокоен, и лоб высок.

В уездном круге людских уродств  
Учил детей, источая свет,  
Ходил как дервиш и был неброск.  
Одоев, Углич и Богородск  
Молились долго ему вослед.

Философ русский, седой старик,  
Глаза раскрывши в ночной тиши,  
Глядел сквозь отсвет старинных книг  
На этот млечный прозрачный миг,  
В бессмертье веря живой души.

### АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Среди снегов, среди ветров,  
В потоке долгих дней  
Глядит, глядит Андрей Рублев  
На эту ширь полей...  
Что можешь ты, Андрей Рублев,  
На родине своей?  
На милой, горькой, дорогой,  
На бедной родине своей?  
А кони черные летят,  
А кони желтые летят,  
А кони дымные летят,  
Все растоптать они хотят.  
И снятся вновь, и вновь, и вновь  
Все эти жуткие бега,  
И льется, льется, льется кровь  
На русские снега.

О, этот Федоров! Он идет,  
Легко одет, сквозь поток ветров,  
Святая правда в душе поет,  
И плачет камень, и тает лед.  
Его каморка во тьме дворов.

А мы, принявшие этот мир,  
Могли б, в естественной простоте,  
Вкушая миф в глубине квартир,  
Продать единственный вицмундир,  
Чтоб деньги те отдать сироте?

Его каморка во тьме дворов.  
И долго, долго мерцает свет.  
И ночь. И снежный блестит покров.  
Душа летит в глубину миров —  
И боль избыть, и найти ответ...

Он шепчет: «Русь, не пропади,  
Не сгинь в крошечной тьме,  
Тебя согрею на груди  
Я в снежной кутерьме».  
Что ж плачешь ты, Андрей Рублев,  
На родине своей?  
На милой, горькой, дорогой,  
На бедной родине своей?  
Молчит Рублев. А свет не мил.  
И, подавляя стон,  
Он пишет, пишет Вечный Мир  
Сквозь нежный перезвон.  
А кони черные летят,  
А кони желтые летят,  
А кони дымные летят —  
Все растоптать они хотят...

## Яков Хелемский

\* \* \*

...И Некто в царственное ухо  
Вливает яд.  
А дальше что? Разлад, разруха.  
И мор и глад.

Уснувший, став бесплотной тенью,  
Встав над стеной,  
Взывает к сыну, ждет отщепеня  
Во тьме ночной.

Печальный принц, являя норов,  
Скликает рать  
Не воинов, но лишь актеров —  
Велит сыграть,

Да так, чтоб в каждой мизансцене  
Их ремесло  
Иносказаньем об измене  
Виновных жгло.

Той пантомимы о Гонзаго  
Нагая суть  
Вонзится, острая как шпага,  
Убийце в грудь.

Просцениум театра «Глобус»?  
Реальный мир?

Какую разверзает пропасть  
Актер Шекспир!

Какие реплики в тетрадке!  
Какая боль!  
Какие заданы загадки!  
Какая роль!

Б ы т ь вопреки всему на свете,  
Играть всерьез  
Иль кануть в черноту столетий,  
Страшась угроз?

Б ы т ь, отвергая ложь и робость,  
Иль бить отбой?  
Просцениум театра «Глобус» —  
В судьбе любой.

Знамена, боевые трубы  
И свет и тьма.  
Старания бродячей труппы  
Иль жизнь сама?

Нетленна фабула тревоги,  
Сюжета нить.  
Все ново в старом монологе.  
Быть иль не быть?

## Егор Самченко

\* \* \*

Выбираю злобу дня.  
Так что не взыщите,  
Вы уж как-нибудь меня  
Без меня щадите.

Мне бы радость, что летит,  
Вам передается,

\* \* \*

Вы, дорогие мои,  
Вы отвернетесь едва ли, —  
Рощи, сады, соловьи,  
Прочие певчие твари.

Здравствуйте, листья ветвей,  
Пень, колокольчик, опушка,

Да вот сердце барахлит,  
Что-то больно бьется.

Перебьется. Ничего.  
Там идет работа.  
Скучно мне щадить его,  
Да и неохота.

Ты, удалой воробей,  
Ты, моя радость, кукушка!

Здравствуй, полоска травы!  
Все, кого вспомнил, иные,  
Что же пугаетесь вы!  
Как же помочь вам, родные?

## Лариса Тараканова

\* \* \*

К роялю черному как ночь  
Подходит маленькая дочь  
И шепчет странное: «Анданте».  
И чуёт юную печаль  
Закрытый наглухо рояль.  
А ключ в столе у коменданта.

Молчат холодные миры.  
Молчат январские дворы.  
Молчат полночные куранты.  
И только музыка звенит  
И вырывается в зенит.  
А ключ лежит у коменданта.

...А ей писали на роду  
Не верить в яркую звезду,  
Не ждать неведомого чуда.  
И, нарушая волшебство,  
О вечной бренности всего  
К утру напомнила простуда.

Но, зная юную печаль,  
Явился девочке рояль,  
Звучало нежное анданте.  
И дни летели, годы шли  
В дождях, в метели и в пыли.  
А ключ лежал у коменданта.

## Виктор Гаврилин

\* \* \*

Соловьи отпоют. И не будет погоды.  
Отгадлит над землей перелет.  
Не сезон распевать — ни нужды, ни охоты, —  
а отчаянный ворон поет.

Одиноко упорствует черная птица,  
не вещает, не носит беду,  
только всякое может сейчас приключиться,  
если стынет крыло на лету.

Реет крик над округой  
картавый и сирый —  
это, древней гортанью скрипя,

несгибаемый ворон

пред горечью мира  
как-нибудь ободряет себя.

Холодеющий, вскинется — все ли он слышен?  
И откликнется эхо... Живу!  
Гололед тишины, как окошко, продышан,  
и кусается жизнь наяву.

И чего ей, зубастой, до жуткого клича!  
Все сама отведет и нашьлет...  
Каждый взмах — это взлет, каждый день —  
как добыча  
и отчаянный ворон поет.

## Александр Бобров

### РАВНИНА

Светлою болью, напевом старинным,  
Тем, что когда-то слышал от отца,  
Вновь отзывается в сердце равнина.  
Нет ей начала, не будет конца.

Не на чем взгляду в полях задержаться,  
Снегом покрыта стерня.  
В этих просторах легко затеряться,  
Трудно себя потерять.

Нас от безверья хранила ревниво,  
Нас от измены спасала любой

Твердая лента дороги равнинной,  
Ясная искра звезды путевой.

Счастье и беды разделим по-братски,  
Не избежать никому.  
В этих просторах легко затеряться,  
Трудно прожить одному.

Будь же вовеки судьбою хранима,  
Общей любовью и общим трудом,  
Наша единая доля — равнина,  
Светом и ветром пронизанный дом.

## Виктор Коркия

### СОЗЕРЦАНИЕ

В одиннадцать ляжешь — подынешься в  
восемь.  
На улицу глянешь — на улице осень.

И тучи как тучи, и лужи как лужи.  
Кому-нибудь лучше, кому-нибудь хуже.

Кругом новостройки, постройки, пристройки.  
Подростки разводят костер на помойке.

Гитары, джинсовки, прыщавые лица.  
Бежит фокстерьер, поводок волочится...

Как хочется жить, осознав, что невечер!  
Как будто бы утро, как будто бы вечер...

Навязчивый запах пакетного супа.  
Загадывать дико! Планировать глупо!..

Так! вот она, жизни моей середина!  
Как будто отец, а не вырос из сына!

Какая свобода! Какая беспечность!  
Подумаешь, осень! Подумаешь, вечность!

Счастливчик! Сапожки твои на платформе.  
Душа нараспашку. Давление в норме!

Протянешь гитарку случайному другу —  
невинная песенка бродит по кругу.

Одно к одному — так не все ли едино?  
Едва ли не завтра дохнет холодина.

Снежок на асфальте покажется пухом.  
Не веришь прогнозам — прислушайся к слухам.

Умри же от счастья! От жизни воскресни!  
Ах, если бы только!.. Ах, только бы если!..

## Антонина Баева

### КОЛОС

Ты отнимаешь, осень, так упорно  
из колоса оставшиеся зерна.  
То птица пролетит  
и жадно склюнет,  
то ветер ненароком наземь сдует.  
И он пустеет, колос мой усталый...  
Но рядом  
озимь свежая восстала,  
почти из праха,  
из последних зерен.  
О колос мой, не зря ты был упорен!  
Не зря ты долго буре не сдавался,  
и в непогоду рос и красовался,  
и, пестуя зерно свое,  
гордился,  
что в поле  
хлебным колосом родился.

## Лидия Григорьева

### ПРИГОРОД

И выйти на задворки сада,  
в чужую темень и бедлам,  
где хлам и дикая досада  
веселья с горем пополам,  
где лист сухой к ногам метнется  
и где — куда себя ни день —  
повсюду за тобой плетется  
продрогший невысокий день,  
где в сумраке помянешь все  
промозглую и злую сырь  
и шепоток нездешней туй,  
размокший пахотный пустырь,  
и этот день по истеченье  
от сна до горького питья,  
и жизни тленное течение —  
в задворки сада бытия...

## Михаил Синельников

\* \* \*

*Памяти Мирзо Турсун-заде*

В той стране, где старики и дети  
На молочно-розовом рассвете  
В молоко обмакивают хлеб,  
Где на крышах облетают маки,  
Пишет ветер огненные знаки,  
Шелестя страницами судеб...  
Вот — поэта бранные останки,  
И цветы поникли головой,  
Чтоб несло отчаяние чанги  
Согдианы погребальный вой.  
Навсегда, навеки, да, навеки  
Эти веки скроет глины ком...  
А кругом кипят людские реки,  
И к мазару гроб несут бегом.

Гром, подобный бегу иноходцев,  
Дробный топот льется тяжело.  
Над землей растоптанных колодцев  
Меркнет неба красное крыло.  
Здесь, могилу всенародно вырвав,  
Изумляясь жизненному сну,  
Быстро, быстро прячут от кафилов  
Савана тугую белизну.  
...Но куда влюбленным торопиться?  
Вьется песни огненная птица,  
И подросток, позабывший стыд,  
Что-то шепчет и кому-то снится...  
Белый жемчуг сыплет шелковица,  
Девочка на дереве стоит.

## Ярослав Васильев

\* \* \*

Был веселым в жизни и угрюмым,  
Но люблю осенние поля,  
Где под ветром созревают думы  
И лучится колосом земля.

Где жуком ползет по горке трактор  
И ты сам, рожденный не навек,  
Чувствуешь, усевшись возле тракта,  
Что велик уж тем, что человек,

Что над всем железным и могучим,  
Над простым гудением шмеля  
Можешь ты истаять, словно туча,  
Но и тучей кормится земля.

И твой сын осеннею погодой,  
Проходя вот эти вот места,  
Все узнает здесь, тут не быв сроду,  
Все, от облаков и до листа.



\* \* \*

Памяти кинорежиссера Евгения Хрилюка

И лежишь в синь васильках в полевых синь васильках в поле золотистой  
ржи  
И лежишь раздольный бражный раскидавшись в поле сын Украины друже  
друже любимый мой лежишь в поле в поле спелом ржи ржи ржи  
И лежишь распавшись разметавшись как хлопец улыбочивый невинный  
забывчивый лежишь в синь васильках в поле золотистой спелой ярой  
ленной ржи  
Друже уж июль грозник уж рожь поспела друже милый уж пора пора  
косить  
друже уж пора рожь дремучую падучую валить вязать косить  
Друже вставай подымайся друже сладкий неоглядный ненаглядный друже  
пойдем в рощи в выдубецкие церковные холмистые певучие шипучие  
дубы дубы дубы  
Друже вставай друже пойдем в дубы а то рожь осыплет на тебя на спящего  
на бражного блаженного колосья проливные отягченные свои  
Друже пойдем из золотого поля в полтавские среброшумящие во тополи  
во тополи во тополи  
Друже вставай пойдем выпьем из батуринской бадьи сливового бредового  
раскидистого заливистого крупчатого первача самогона садового  
степного  
Друже вставай ночь уж в украинском колодезном поле  
Друже ночь в поле  
Тогда я склоняюсь над тобою и смоляные муравьи уже! уже роятся  
по тебе и не уходят не уходят не уходят  
О боже! Друже!.. Да что ж ты?..  
Друже привольный степной мой неоглядный родный! да ты не спишь!  
ты усопший  
И руки хладные холодные и очи хладные холодные и муравьи хладные  
холодные загробные  
Друже да что ж ты? да что ж ты скошенный? друже друже ивовый да поле  
то еще не скошено а ты ты ты ты ты ты ты ты скошенный в нескошенных  
колосьях колокольных погребальных похоронных  
Друже да что же оставляешь? да что ж уходишь? да что же оставляешь  
одного мя в ночном пустынном бездонном враз сиротском поле поле поле?  
Да что ж лежишь как винницкий несметный обломившийся уже чужой  
чужой  
чужой подсолнух безысходный?  
Друже что ж ты  
И тут подходит в золотых колосьях ангел жнец кобзарь с плакучей ветхой  
сонной святой украинской дальней дальней пыльной пыльной кобзой  
И улыбается и тщится силится играть витать на кобзе дивными иными  
осиянными перстами волнистыми тонкостными камышовыми  
Да только струны кобзы все не собраны порублены погублены оборваны  
порухены покошены



Александр Павлович Квятковский — автор «Поэтического словаря», известный советский ученый-литературовед.

Публикуемая нами впервые статья А. Квятковского о ямбе касается насущных вопросов современного стихосложения.

### ЧТО ЖЕ С НИМ ДЕЛАТЬ?

Его популярность неимоверна. Мы заворожены им с детства. В нем завязли русские поэты — большие и малые, гениальные и бездарные. Им забыты журналы и альманахи. Он произрастает в книгах и в стенгазетах. Куда ни глянешь — всюду ямб, ямб, четырехстопный ямб. Непролазны его заросли и неисповедимы пути его в отечественной поэзии.

Откуда эта страшная сила, которая на протяжении двух столетий «покоряет под ноше» поэтов России, держит на привязи их слово, поражает слух и сознание, заставляет поэтическое мышление говорить ямбическим языком? Почему подминает под себя стихотворцев этот скромный и даже невзрачный размер, который перед гекзаметром — что воробей перед орлом? Неужто и впрямь он порожден «духом языка», связан с его историей и его структурой — лексикой, грамматикой, с акцентологией, фразостроением и, наконец, с широконапевной русской интонацией? В этом как раз и стараются убедить нас филологи и литературоведы. Так думают и некоторые поэты. Современный поэт Василий Федоров как-то заявил в «Литературной газете», что русские поэты рождаются с ямбом в душе. Что это — шутовская метафора или фаталистическая обреченность? Если замечание В. Федорова принять всерьез, то история нашей поэзии (а не только стихосложения) полетит вверх тормашками.

Наша народная поэзия с ее чистейшим языком говорит о другом: в народных стихах не было и нет ямбов — ни четырехстопных, ни каких-либо иных. Вряд ли кто решится назвать ямбами хотя бы такие медлительные стихи:

Заря, заря вечерняя,  
Игра, игра веселая!  
Уж я, млада, играть пошла,  
Играть пошла, разыгрывать...

Тем же размером написана поэма Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

У кого повернется язык зачислить в разряд ямбических пародные-частушки, эти удивительные по ритму четырехдольники, построенные на одном дыхании, без паузы?

По тоненькой тесиночке  
Ходил я к сиротиночке,  
По тоненькой, еловенькой  
Ходил я к чернобровенькой.

Нет ямбов и в поэзии русских виршевиков: Полоцкий, Истомин, Прокопович, Медведев, Кантемир ямбами не писали; их стихи — явно хорейской каденции. Некоторым литературоведам в отдельных строках силлабических двустиший мерещились школьные ямбы. Это — ошибка, протексающая из незнания ритмологии виршевых строк.

Собычно считается, что В. Тредиаковский реформировал хорей, а М. Ломоносов ввел в Россию ямбы. Но стоит лишь внимательно полистать «Новый и краткий

способ к сложению российских стихов...» В. Тредиаковского, изданный в 1734 году, и мы увидим в этом трактате заявку Тредиаковского на четырехстопный ямб (с женскими рифмами). В его Оде («Сочинена для примера простого российского стиха») мы читаем:

Что то за злость? и что за ярость?  
Что за смрадна пороков старость?..  
Чудовище свирепо, мерзко  
Три головы подъемлет дерзко,  
Тремя сверкает языками!  
Яд излевать уже готова,  
Ибо наглостию сурова...

Через пять лет после выхода в свет трактата Тредиаковского, в 1739 году, М. Ломоносов написал четырехстопным ямбом и послал из Саксонии в Петербург свою оду на взятие турецкой крепости Хотина; напечатана была эта ода лишь через 12 лет, в 1751 году.

Как мы видим, зачинателем русского четырехстопного ямба был В. Тредиаковский. Уступая ему в теории стихосложения, Ломоносов оказался более одаренным в поэтической практике, он овладел ямбом быстрее и лучше Тредиаковского, который, однако, в дальнейшем, как бы снова состязаясь с Ломоносовым на поэтической дорожке, стал инициатором и первоклассным автором шестикратного паузного трехдольника, известного у нас под названием гекзаметра. Оба они — и Тредиаковский и Ломоносов — не родились с ямбом в душе, они вывезли его в Россию из Германии. Западный переселенец прижился на русской земле и чувствует себя здесь лучше, чем на немецкой почве.

Говорят, что ямб — это размер, наиболее подходящий для разговорной речи в поэзии, и ссылаются при этом даже на Аристотеля. В своей «Поэтике», касаясь античной трагедии, Аристотель писал, что «размер ее из тетраметра стал ямбическим (триметром): сперва же пользовались тетраметром, потому что самое поэтическое произведение было сатирическим и более носило характер танца; а как скоро развился диалог, то сама природа открыла свойственный ей размер, так как ямб из всех размеров самый близкий к разговорной речи». Античные ямбы — трехдольного («вальсового») строя, своим ритмом они отчасти напоминают наши трехсложные амфибрахи. Наши ямбы (трехстопный, четырехстопный, пятистопный и шестистопный) не похожи друг на друга, их ритмические структуры совершенно различны и несопоставимы между собой. Что касается русского четырехстопного ямба, то и этот размер имеет ряд вариантов, определяемых длиной рифменной клаузулы. Вот образец ямба с односложной клаузулой (без так называемого «нарращения»):

Немного лет тому назад,  
Там, где сливаясь шумят,  
Обнявшись, будто две сестры,  
Струи Арагвы и Куры,  
Был монастырь...

(М. Лермонтов)

Совсем иное звучание такого же ямба, но с многосложными клаузулами:

С губами, сладко улыбающимися,  
Она глядит глазами суженными,  
И черны пряди вокруг чела:  
Нить розоватыми жемчужинами  
С кораллами перемежающимися  
Ей шею нежно облегла.

(В. Брюсов)

Почему образцом стихотворного размера для разговорной речи должен стать четырехстопный ямба? Ведь Н. Некрасов, В. Маяковский и во многих-многих случаях А. Блок вовсе не считали нужным писать свои стихотворения четырехстопным ямбом. А у них поэтическая речь достигает необыкновенной художественной простоты, стоящей порой на грани бытового просторечия.

В чем же все-таки причина непостижимой популярности этого стихового размера, заполнившего русскую поэзию? Припомним главнейшие этапы его четырехстопного шествия по российским просторам.

Похвальные и духовные оды Ломоносова, его знаменитое «Вечернее размышление о божием величестве» написаны великолепным четырехстопным ямбом. Ломоносовские ямбы тяжеловесны: слова в стихах короткостолжны, строки педантично подчинены «чистому» метру, в них много умных мыслей, выраженных точной лексикой. Изобразительная сила стихов Ломоносова потрясла современников, высокий интеллектуализм его поэзии покоряет потомков. Впервые на русском языке было тогда сказано о звездном небе так, как потом глубже, ярче и проще не смог сказать ни один из наших поэтов:

Открылась бездна, звезд полна;  
Звездам числа нет, бездне дна.

С блеском совершенствовал четырехстопный ямба Державин. В 1778 году, за 20 лет до рождения Пушкина, он написал «Видение Мурзы», начинающееся неслыханными по живописности, по ритму и по фонетической прозрачности стихами:

На темно-голубом эфире  
Златая плавала луна;  
В серебряной своей порфире  
Блистаючи с высот, она  
Сквозь окна дом мой освещала  
И палевым своим лучом  
Златые стекла рисовала  
На лаковом полу моем.

Эти стихи — чудо русской поэзии 18-го века! Отсюда рукой подать до Пушкина: у Державина уже слышится хрустальный перезвон строфики «Евгения Онегина».

Между Тредиаковским и Ломоносовым, с одной стороны, и Державиным и Пушкиным, с другой, — богатейшая поэтическая цепочка прославленных ямбистов: В. Петров, А. Сумароков, В. Озеров, И. Дмитриев, К. Батюшков, а затем плодovitая плеяда поэтов пушкинской поры во главе с Е. Баратынским, писавших безукоризненные по мастерству ямбы. Повторю: ямбическая ода Ломоносова на взятие Хотина написана в 1739 году, то есть почти за сто лет до гибели Пушкина. Это значит, что от Ломоносова до Лермонтова, из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день, от поэта к поэту, из книги в книгу — дома, в школе, на досуге, в песне, в детских играх, зимой и летом — в русское ухо вливался, вбивался, вдалбливался этот ямбический четырехстопник, этот привычный, и, как говорил И. П. Павлов, «навязанный ритм». Почему? А потому, что за этим четырехстопником жили (и жи-

вут!) удивительные по художественному обаянию, невероятные по красоте мысли и чувства наших гениев. Они лились, эти стихи, — за ямбом ямба, за ямбом ямба, за ямбом ямба!.. Чего же вы хотите? Тут не то что поэт, — бревно заговорит ямбом. Происходило то, что при Пушкине называлось «употреблением». Как замороженные, шли русские поэты по священной тропе, проложенной Тредиаковским и Ломоносовым.

Поэт идет: открыты вежды,  
Но он не видит никого...

Так свидетельствовал Пушкин, подаривший эти строки своему герою — Чарскому, который шел тропой ямба.

Тропа? Нет, это дорога гигантов! Четырехстопный ямба — главная магистраль русского стопосложения, по которой двигалась русская поэзия. Здесь триумфально шествовали Ломоносов, Державин и Пушкин. Здесь шли Лермонтов, Тютчев и Фет. Здесь проследовали Мей, Майков и Полонский. Здесь шагали Брюсов, Блок и Белый, а совсем недавно мы слышали тут шаги Пастернака, Цветаевой и Твардовского. Она протянулась на два столетия, эта дорога; она прошла сквозь Октябрьскую революцию и уперлась в атомный век.

Будучи в 18-м столетии образцом блистательного новаторства стихотворной формы и примером устойчивой техники, четырехстопный ямба превратился в традицию, которая затем обросла привычкой, а потом стала обязательной нормой, а дальше ямба порой стал переходить в будничную инерцию, окостенел трафаретом, чтобы стать для поэта нудным ямом, игом. В силу выработанного десятилетиями «динамического стереотипа» (И. П. Павлов) и заданного ритмом «программирования» русские слова сами сбегаются в роковые рамки, мышление поэта становится стандартно-ямбическим, фраза строится ямбаобразно, а интонация прогибается в давно знакомые очертания. Мысли и слова нанизываются на один и тот же метрический мотив. Получилось по русской присказке: «Я поймал медведя. — Веди его сюда! — Да он меня не пускает». И это называется: писать классическим четырехстопным ямбом. Каждый ямбист уверен, что он стоит рядом с Пушкиным и Блоком.

Скромнейший стиховой размер в течение двух веков расплодился у нас необычайно. Он лег поперек пути развития русской поэзии. Он стал ее тормозом. В нашей памяти, в нашем ухе, на кончике языка, на губах наших, в дыхании нашем с детства живут эти пленительные ямбические стихи наших классиков. И некуда деться от них поэтам! Что это — национальная трагедия русских поэтов? Или мертвые повелевают? Как бы не так! Повелевают живые, потому что искусство великих бессмертно, а поэзия гениев — вечно жива и молода.

...Ну, конечно же были протесты против ямбического засилья. В «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Радищев сигнализировал о том, что «примеры в добром и худом стихосложении глубокий пустили корень». Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле». С каким сдержанным раздражением начинает Пушкин свой высший весельи и даже разбитной «Домик в Коломне»:

Четырехстопный ямба мне надоел:  
Им пишет всякий и. Мальчикам

в забаву

Пора б его оставить...

Так было сказано 135<sup>1</sup> лет назад. Вдумайтесь в эти точные пушкинские слова — четырехстопный ямба надоел поэту, то есть опротивел, осточертел, обрыднул.

<sup>1</sup> Статья А. Квятковского написана в 1964 году (ред.).

А ведь лучшие свои вещи Пушкин написал именно этим размером. Ямб стал противен потому, что он стал доступен всякому стихоплету, любому альбомному графоману. Этот ямб перестал быть серьезным средством высокого поэтического труда, отныне он годится для забавы лишь мальчишкам, шалопаям-виршеллетам. «Домик в Коломне» — это гениальный эксперимент: в октавах пятистопного ямба слышится свободная русская разговорная речь, какую невозможно передать коротким четырехстопником. В строфах поэмы, исключенных Пушкиным, поэт признавался: «Октавы трудны...

Но возвратиться все ж я не хочу  
К четырехстопным ямба, мере низкой.  
С гекзаметром... О, с ним я не шучу:  
Он мне не в мочь. А стих александрийской?  
Уж не его ль себе я залучу?»

Пушкину казалось, что он вырвался на свободу из четырехстопной «низкой меры». Заметьте: Пушкин считал, что гекзаметр ему не по силам. Какая скромность!

Другой пример. Наш старший современник, А. Блок, «гонимый по миру бичами этого ямба», еще в 1910 году начал писать поэму «Возмездие», но, задыхаясь от однообразия четырехстопного ямба, бросил ее в 1921 году незавершенной. Он не мог продолжать эту поэму после того, как создал поразительную по ощущению эпохи поэму «Двенадцать», в которой новаторски использовал и переработал многообразные формы народной поэзии. В «Двенадцати» мы встретим и рифмованный дисметрический верлибр, и раешник, и частушечные ритмы, и фабричные песни, и мещанско-романсовые мотивы. Свежий Октябрьский воздух «Двенадцати» рассеял ямбическое удушье «Возмездия». Как знать, может быть, здесь сказались встречи Блока с Маяковским — на квартире и на улице у костра? Ведь первоначальное название поэмы Маяковского «Облако в штанах» было иным — «Тринадцатый апостол». Две антиямбические поэмы: «Чертова дюжина» Маяковского и просто «Дюжина» Блока.

Опасность ямбического удушья, а отсюда и творческого ослабления понимал, как никто, В. Маяковский. Он, единственный из русских поэтов, из ненависти к старью не поддался пленению ямбического четырехстопника. Потому-то он и внес так много в искусство русской советской поэзии. Пример Маяковского увлек и его друзей — Н. Асеева, С. Третьякова, С. Кирсанова, стихи которых полны разнообразных новаторских находок. Почти не пользовался четырехстопным ямбом Э. Багрицкий. Не забудем, что и Н. Некрасов не очень-то охотно хаживал по ямбической дорожке, предпочитая трехдольные размеры или ритмы, близкие к народным формам.

Нельзя не вспомнить, что весьма примечательный поэт-сатирик и экспериментатор Игорь Северянин, работавший иногда на потребу мещанству, все же дал ряд необычайно интересных по ритму и композиции стихотворений. Но, оказавшись в эмиграции, полунищий Северянин не смог уберечь от обнищания свой яркий талант: один из зарубежных его сборников лирики «Соловей» сплошь набит тусклыми ямбами.

Есть ямб и ямб. Их много, этих четырехстопных ямбов. У каждого большого поэта свой ямб. Но надо помнить, что все виды и модификации русского четырехстопного ямба подчинены единому закону, лежащему в природе ритмических процессов. Возьмем один пример — «онегинскую строфу» Пушкина. В ней 14 ямбических стихов, из них шесть с женскими и восемь с мужскими рифмами. В женском стихе девять слогов, в мужском восемь, а всего в строфе 118 слогов. В прозе абсолютно невозможно выдержать такую точную пе-

риодичность количественных слоговых повторов в каждом отрывке, а в метрической строфе это сделать легко: стих сам, как спидометр, автоматически, в силу правильности своей структуры, отсчитывает пройденное «расстояние» по стопам, и опытный поэт никогда не ошибется в отсчете ни на один слог. Но кроме метрического количества в стихе пульсирует и ритмическое начало качества, которое пронизывает всю смысловую напряженность поэтического слова. Не приводя подробных расчетов, укажу, что каждая строка онегинского ямба — двенадцатидольного метрического объема, а следовательно, во всей строфе содержится 168 долей; вычтя из этого числа 118 долей, занятых слогами, мы получим в остатке 50 долей, которые приходится в строфе на структурные метрические паузы, расположенные на концах стихов. И поэт и чтец с нормально развитым ритмическим слухом точно соблюдают эти паузные просветы в конце ямбических стихов.

Так свободная поэзия подчиняется в метрическом стихе законам числа и правилам алгоритма. Так складывается «образ метра», обнаруженный в стихе академиком А. Н. Колмогоровым.

Любой стихотворный размер, служивший образцом для поэтической работы, как определенная норма гармонического движения стиха, через какой-то срок будет исчерпан в своих структурных возможностях и обратится в штамп. Хотя работать на таком метре можно, но коэффициент его полезного действия падает, он слишком отстает от творческих возможностей поэта. Механизм стиха приходит в конце концов в состояние морального износа и, как на производстве, нуждается в технологической модернизации.

Двести лет — срок немаленький даже и для ямба. На памяти старшего поколения закончился век былинного стиха. Попытки его гальванизации в годы культуры личности при помощи «новин», видимо, останутся только попытками. Зато после Октябрьской революции необычайно расцвела народная (именно народная, а не какая иная) частушка: ее ритмы модернизованы, то есть осовременены, омоложены, обогащены за счет структурных резервов новыми модификациями.

Ничего мы не знаем о ямбе и о других стиховых размерах, как структурно-эстетических категориях; мы хватаемся за них, как за горячие угли, обжигая себе пальцы и репутацию. В этом отношении крайне интересна глубокая мысль академика В. В. Виноградова: «Все стихотворные размеры в какой-то мере выразительны, и отбор их не безразличен. Каждый размер имеет свой экспрессивный «ореол», свое эстетическое значение» («О языке художественной литературы». М., 1959, стр. 28). «Ореол» размера академика В. Виноградова и «образ метра» академика А. Колмогорова перекликаются между собой, свидетельствуя о том, что оба ученых, независимо друг от друга, заметили в поэтическом искусстве очень важное явление, еще не исследованное.

В силу непрерывного двухвекового «употребления» ямбический четырехстопник, как норма интонационно-метрического «поведения», постепенно утратил свое художественное обаяние, свой «экспрессивный ореол». Ритмические контуры статистически среднего ямба настолько затрафаречены, настолько навязли в ушах, что, повторяю, они уже теряют свой эстетический, а значит, и художественный потенциал. Четырехстопный ямб стал будничен и употребителен, как спички, которых не замечают. Утрачена активная, веселая динамика ритма и осталась пассивная инерция привычки! Парадоксально! — но в силу повседневной общедоступности и легкости четырехстопный ямб стал теперь самым трудным из всех русских размеров! Нужны чрезвычайные творческие усилия, чтобы, преодолев

обыденность автоматизма в ямбическом мышлении, сбросить с себя эту гоголевскую ведьму ямбизма, оседлавшую русского поэта. Как трудно сейчас уберечь в ямбе свободную русскую интонацию и непринужденность фразостроения от бесцветных, безличных конструкций! Извольте-ка создать свои ритмические контуры, впаять в них новые интонации и весь комплекс содержания современной эпохи. Иначе тема будет сама по себе, а размер сам по себе; и ритм стиха будет то и дело отставать от смысла, как отстают в домах от стен слои старых обоев, образуя под собой воздушные вздутия.

Что же делать? Переходить на верлибр? Совсем не обязательно. Четырехстопный ямб — это лишь 1001-й метрический размер в русском стихосложении. Расстаться с ним навсегда — невозможно, да и не нужно: он дорог нам как первая любовь, как «память сердца» некогда юной русской поэзии. Возможна ли практически модернизация четырехстопного ямба? Теоретически он изучен глубже других стиховых размеров, потому что и практически он использован лучше их. Его ритмические формы тщательно описаны в работах А. Белого, Г. Шенгели и Б. Томашевского. Им занимаются и сейчас последователи математического направления в стиховедении, но они пока не открыли ничего нового, лишь уточнив машинной статистикой то, что было сделано до них ручным способом. В четырехстопном ямбе, видимо, исчерпаны почти все внутренние и внешние ритмические резервы. Он годится теперь только для небольших лирических стихотворений, где его однообразие не так ощутимо. Возможно, что мы присутствуем при закате этого славного героя труда русской поэзии. Но северные закаты длительны...

Есть категория безразличных поэтов (и читателей), для которых музыка стиха и трепет ритма не играют никакой роли в их восприятии поэзии. Они потребляют только «содержание», игнорируя «форму». Другие же ленивцы заявляют: «Отцы наши писали ямбами, и мы уж как-нибудь. Мы, знаете, формализмами не занимаемся».

Никаких рецептов, никаких теоретических подсказок, никаких советов здесь давать не стоит. Поэты

России, создавшие неисчислимые художественные богатства, сами найдут решение вопроса. Не сразу. Не скопом. Не по заказу. Дело даже не в примерах инициативы. Но на один случай некоторого обновления четырехстопного ямба я позволю себе обратить внимание. Это — известное стихотворение Марины Цветаевой. Вот начало его:

Тоска по родине! Давно  
Разоблаченная морока!  
Мне совершенно все равно,  
Где — совершенно одинокой  
Быть, по каким камням домой  
Брести с кошелкою базарной  
В дом, и не знающий, что — мой,  
Как госпиталь или казарма.  
Мне все равно, каких среди  
Лиц — оцетиниваться пленным  
Львом, из какой людской среды  
Быть вытесненной — непременно —  
В себя, в единоличье чувств.  
Камчатским медведем без льдины  
Где не ужиться (и не тцусь!),  
Где унижаться — мне едино...

Такого ямбического звучания русская поэзия раньше не знала. Трагическая экспрессия бесприютных стихов М. Цветаевой в значительной мере подкреплена тщательным подбором пронзительной лексики и применением резких переносов в предложениях из строки в строку, а в результате — несовпадение синтаксического и метрического членения в стихе. Здесь одна из небольших возможностей модернизировать тот ямб, который два века назад звучал иначе у поэта, любовавшегося в своем уютном доме светом луны:

...Сквозь окна дом мой освещала  
И палевым своим лучом  
Златые стекла рисовала  
На лаковом полу моем.

Как же быть с ним, с четырехстопным ямбом?

Публикация С. А. Поделькова

## Белла Ахмадулина

\* \* \*

Мы начали вместе: рабочие, я и зима.  
Рабочих свезли, чтобы строить гараж с кабинетом  
соседу. Из них мне знакомы Матвей и Кузьма  
и Павел-меньшой, окруженные кордебалетом.

Окно, под каким я сижу для затей моей,  
выходит в их шум, порицающий силу раствора.  
Прошло без помех увядание рощ и полей,  
листва поредела, и стало светло и просторно.

Зима поспешала. Холодный сентябрь иссякал.  
Затея томила и не давалась мне что-то.  
Коль кончилось курево или вдруг нужен стакан,  
ко мне отряжали за прибылью Павла-меньшого.

Спрошу: — Как дела? — Засмеется: — Как сажа бела.  
То нет кирпича, то застряла машина с цементом.  
— Вот-вот, — говорю, — и мои таковы же дела.  
Утешимся, Павел, печальным чапитком целебным.

Октябрь наступил. Стало Пушкина больше вокруг,  
верней, только он и остался в уме и природе.  
Пока у зимы не валилась работа из рук,  
Матвей и Кузьма на моем появлялись пороге.

— Ну что? — говорят. Говорю: — Для затеи пустой,  
наверно, живу. — Ничего, — говорят, — не печалься.  
Ты видишь в окно: и у нас то аврал, то простой.  
Тебе веселей: без зарплаты, а все ж — без начальства...

Нежданно-негаданно — невидаль: зной в октябре.  
Кирпич и цемент обрели наконец-то единство.  
Все травы и твари разнежались в чудном тепле,  
в саду толчая: кто расцвел, кто воскрес, кто родился.

У друга какого, у юга неужто займы  
наш север запрашивал блики, и блески, и тени?  
Меня ободряла промашка неловкой зимы,  
не больше меня преуспевшей в заветной затее.

Сияет и греет, но рано сгущается темь,  
и тотчас же стройка уходит, забыв о постройке.  
Как, Пушкин, мне быть в октября девятнадцатый день?  
Смеркается — к смерти. А где же друзья, где восторги?

И век мой жесточе, и дар мой совсем никакой.  
Все кофе варю и сажу, пригорюнясь, на кухне.  
Вдруг — что-то живое ползет меж щекой и рукой.  
Слезу не узнала. Давай посвятим ее Кюхле.

Зима отслужила безумье каникул своих  
и за ночь воздвигла такие хоромы, что диво.  
Уж некуда выше, а снег все валил и валил.  
Как строят — не видно, окно — непроглядная льдина.

Мы начали вместе. Зима завершила труды.  
Стекло поскребла: ну и ну, с новосельем соседа!  
Прилажена крыша, и дым произрос из трубы.  
А я все сажу, все смотрю на падение снега.

Вот Павел, Матвей и Кузьма попрощаться пришли.  
— Прощай, — говорят. — Мы-то знаем тебя не по книжкам.  
А все же для смеха стишок и про нас напиши.  
Ты нам не чужая — такая простая, что слишком...

Ну что же, спасибо, и я тебя крепко люблю,  
заснеженных этих равнин и дорог обитатель.  
За все рукоделья, за кроткий твой гнев во хмелю,  
еще и за то, что не ты моих книжек читатель.

Уходят. Сказали: — К ноябрьским уж точно сдадим.  
Соседу втолкуй: все же праздник, пусть будет попроще...  
Ноябрь на дворе. И горит мой огонь-нелюдим.  
Без шума соседнего в комнате тихо, как в роще.

А что же затея? И в чем ее тайная связь  
с окном, возлюбившим строительства скромную новость?

Не знаю.  
Как Пушкину нынче луна удалась!  
На славу мутна и огромна, к морозу, должно быть!

ХУДОЖНИКУ

Из ничего ты должен сделать  
Такое нечто, чтоб оно  
И засветилось,  
И запело,  
И взволновало заодно.

Одушевленное тобою,  
Оно — живое существо.  
Ты не испытывай судьбою,  
А в люди выведи его!

\* \* \*

Ты врешь себе и людям тоже,  
И от вранья страдаешь сам,  
Но исповедоваться можешь  
Ты перед смертью небесам.

Пускай до космоса и выше  
Твои признанья долетят!  
Пускай созвездия услышат  
Писк человека и простят!

Там, в глубине, сидит папаша,  
Он очень мудр и очень стар,

Он собирает души наши,  
Ссыпая бережно в амбар.

Чтоб засеять иные земли,  
Необходимы семена.  
Он даже грешников приемлет,  
Когда худые времена.

Он их очистит от неправды,  
Нездешним светом обольет...  
Живем, а души-космонавты  
Меж тем готовятся в полет.

БУРУНДУК

*А. Жигулину*

Судьбы жестокая насмешка —  
Ограбили бурундука.  
Все до единого орешка  
Сгребла бежалостно рука.

Зверок со спинкой полосатой,  
Как арестант, пошелся в лес.

Облюбовав побег рогатый,  
Он на орешину полез.

И, шею втиснув, удавился  
Среди обобранных ветвей,  
Не зная, что самоубийство —  
Есть привилегия людей.

\* \* \*

Не в городе, не в деревне,  
В поселке рабочем и дачном  
Живу я среди деревьев,  
Пытался в Москву — неудачно.

Здесь Левитан-художник  
Жизнь отдавал картинам;  
В Москву не пытался тоже,  
Но по другим причинам.

Не в городе, не в деревне....  
Может, и к лучшему это?

Может, в такой дыре мне  
Только и быть поэтом?

Лапы простерли к небу  
Сосны в благословенье,  
Словно стоят на молебне,  
Молятся о спасенье.

Льются Пехоркины воды  
И пропадают где-то...  
Может, среди природы  
Только и жить поэту?

\* \* \*

Петр на выручку Полтавы  
Ехал с воинством своим.  
Ворон, чуя пир кровавый,  
Вился, следуя за ним.

Альбатрос за рыбаками,  
Грач за пахарем идет....  
Ну а ворон за полками  
Отправляется в полет.

Ты скажи, пророк несчастья,  
Современник праотцов,  
Вор, глазник, маэстр по части  
Оскверненья мертвецов,

Прекрати свои круженья  
И скажи мне, аморал,  
Кто потерпит поражение?  
«Карл!» —  
Стервятник заорал.

## *Борис Авсарагов*

\* \* \*

В парадоксах житейских движений,  
В смуте ночи и ясности дня,  
Из любви — деспотический гений —  
Жизнь, толкаясь, толкает меня.

Неразгаданным сном — ошарашен,  
Мелочным осуждением смущен.  
На безвестье покажется страшен  
Перепутавший дом почтальон.

А в метро, в параллельном скольжении,  
В разноцветном подземном кольце  
Вдруг возникнет мое отраженье  
На неоновом чьем-то лице.

И напомнит о вечности сущей  
Прозаический этот привет,  
Точно опрометь жизни цветущей  
И по жилам промчавшийся свет.

## *Александр Тихомиров*

\* \* \*

Глянь на небо —  
Звездочки свищут!  
Глянь в подпол —  
Космический мрак!  
В потемках все умные ищут,  
На солнце найдет и дурак...  
Так выкажи удаль-размашку  
Впотьмах беспредельности той —

Наплюй, брат, на эту ромашку,  
Белеющую сиротой...  
Ну, нет!  
Пусть я в чертовом иге  
И в рай не войду за грехи,  
Пишу —  
И мечтаю о книге,  
Чтоб в ад не пускали стихи!

\* \* \*

На чудо, конечно, надейся,  
А сам оплошаешь — беда...  
Динарий бесценного детства  
Уже не вернешь никогда!  
Так выйди из лесу, кудесник,  
Яви совершенство свое,  
Чтоб солнышко вспыхло, как в детстве,  
А небо, как раньше, — синё!  
Пусть в легкий, пушистый морозец,  
Хотя на дворе еще май,

Как будто ведро в колодец,  
Летит в переулок трамвай!  
Слышь, дед, — не скупись на прикрасы...  
На наледи в звездах лузги  
Пусть, как сапоги-самоплясы,  
Отпляшут мои сапоги!  
И всем, кто успел провиниться,  
Кто тихо скорбит по ночам,  
Пусть свет лучезарных провинций  
Порой еще светит очам.

## Иван Слепнев

\* \* \*

Пахарь упал в борозду,  
выронил гибкую сошку.

Солнце затмило звезду —  
на небе хлебную крошку.  
Солнце журчало ручьем,  
потом пропахла земля.  
Он не скорбел ни о чем,  
видя озябшие лица.  
Сердца густое тепло —  
сила, волнение, жалость —  
в черную землю ушло  
и по корням разбежалось.

### В ПОЛЕТЕ

Итак, запрягаем коня  
в воскресные красные санки  
и в них, бубенцами звеня,  
летим на свиданье к Оксанке.  
Полосья легко полоснут  
по снегу — такая отрада!  
Я выхвачу сердце на суд  
ее поднебесного взгляда.  
Нахлынет томительный зной  
и ветер бедовый, повальный,

Было давно...

Примечай:

словно дыханье привета,  
словно цветет иван-чай  
чистосердечного цвета.  
Славен бессмертия миг —  
связь поколений на свете.  
Молодость предков моих —  
вот она в розовом свете!  
Жизнь! — ты крутая! — прости! —  
все же оставь мне томленье,  
как иван-чай, процвести  
через два-три поколенья.

в нем — голос медовый, земной:  
— Хотите воды минеральной?! —  
Очнулся... Разбитый, больной,  
ремнями привязанный к креслу.  
Пять верст — высота подо мной,  
Оксаной зовут стюардессу.  
Недвижны, легки облака,  
сияют резные вершины,  
и гонит ладонь седока  
рабочую лошадь машины.

## Михаил Львов

### ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАЗЫ

(Из записных книжек)

В Переделкине, после роскошного летнего  
дождя, Виктор Боков сказал:

— Каждый дождь надо записывать...

Главная моя страсть — записывать жизнь,  
людей. Я могу считать себя автором не слишком  
большого количества книг и большого — запис-  
ных книжек...

Одно из писем Пушкин заключает словами:  
«Простите мой лаконизм и якобинский слог».  
Как великолепно сказано!

Кажется, что в этих словах есть рецепт, как  
искать стиль...

А какой сегодня слог соответствует времени,  
ритму жизни, гонке, скоростям, уплотнениям  
и перегрузкам? Ведь невозможно же вернуться  
к величавому гекзаметру?

...Вот и записываю отрывочные фразы —  
полагая, что промежутки между ними заполню  
воображением и ассоциациями...

Пушкин тоже определял писательский  
труд как медленный (накоплений, раздумий,  
поисков...) — даже в самом ритме строки выра-  
зив это: «В простом углу моем, среди медлен-  
ных трудов...»

Есть очень большой соблазн — без поясне-  
ний привести отдельные фразы, которые запо-  
нились из бесед. Многие из них действительно  
не требуют пояснений.

У меня такое впечатление, что эти фразы  
сами по себе представляют интерес, и не тер-  
пится сообщить их поэтам и читателям.



На литобъединении при «Молодой гвардии» один юноша прочитал очень слабые и нахальные стихи. Мы все стали дружно его ругать. Закljučая обсуждение, И. Л. Сельвинский сказал:

— Ну что вы на него так напустились. Молодой человек чиркнул...

— Пастернак — муравьед, а я тигр, мне пужно живое мясо,— сказал Илья Львович в беседе со мной на его даче.

— У гения должен быть макромир и микромир. У Маяковского это было. У Пастернака — есть только микромир,— говорил он на занятии семинара в Литературном институте — до войны.

Не знаю, так ли он думал после.

Пастернак посоветовал Бокову:

— Надо разогреть себя, и тогда придут большие слова...

Об одной поэтессе, злоупотреблявшей словами, Пастернак сказал мне:

— У нее пулеметный талант.

Асеев на собрании поэтов, вспоминая 20-е годы:

— Появился маленький Кирсанов с большим пафосом самоутверждения!

Ксения Некрасова сказала мне — после того, как я выступил — не очень успешно — с чтением стихов в клубе писателей:

— Миша, тебя здесь не поймут, у тебя очень умные стихи, тебе надо выступать в Доме ученых...

...Не из каждой строки, найденной в жизни, «вытягивается» потом стихотворение или — «вырастает»...

На фронте я увидел на почтовом ящике надпись: «Пишите письма — дома ждут!»

Записал. Запомнил. Через несколько лет начал стихотворение, «отталкиваясь» от этой строки. Что-то не получилось...

Так однажды, по сходному поводу, Твардовский сказал мне:

— Вы переоценили значение своего наблюдения. Надо писать о важном, а не обо всем подряд...

Однажды я стал извиняться перед Твардовским за то, что отнял у него время, ему, наверное, неинтересно было... Он сказал, что это не так, ему интересен каждый разговор о поэзии, ибо каждый раз заново решаются эти вопросы и для себя. Нет готовых выводов и рецептов.

Другой раз, когда я жаловался на ругательную рецензию о моей книге в одной центральной газете, Твардовский заметил:

— Сохраняйте спокойствие в этой сложной стихии, называемой поэзией.

На собрании поэтов он сказал про поэму одного нашего товарища:

— Надо иметь большую отвагу, чтобы взяться за такую тему. Название есть, но поэмы — нет.

Одна литдама, мало что написавшая, яростно нападала на всех и вся на собраниях. Нападки были несправедливые. Закljučая одно из собраний, Сурков сказал о людях такого рода: «Ошалевшие от собственной бездарности».

В коридоре дома 52, на улице Воровского, подошел к Суркову «молодой человек выше средней упитанности», как сказал о нем позднее Сурков, и пожаловался на приемную комиссию СП СССР, которая решила рекомендовать его только в кандидаты в члены СП (существовал когда-то и такой этап), в то время как он достоин быть принятым сразу в члены...

— Хорошо, разберемся. Где вы работаете, чем вы занимаетесь?

Молодой человек делает большие глаза:

— Я пишу стихи!

И вот идет заседание Секретариата в конференц-зале. Ведет — первый секретарь правления СП СССР Сурков. Слушают — Тихонов, Федин, Леонов, Соболев (тогда — председатель приемной комиссии), Симонов, Софронов, Грибачев и другие.

Прочитали одно-два длинных стихотворения. Боги молчат. Сурков развел руками:

— Ползучее описательство.

Возразить было нечего...

Во время этого обсуждения Леонов заметил:

— Скоро мы будем принимать человека в Союз писателей только за то, что он купил чернила...

Он же, говоря о необходимости трудного и честного вхождения в литературу, сказал:

— Хорошие условия его задушат (молодого писателя).

Я запомнил эти фразы как точные рецепты жизни.

В 1950 году Борис Ручьев работал в городе Кусе, на заводе. В Челябинск приехал на несколько дней. Жил у меня в номере в гостинице «Южный Урал». Читал пронзительные свои стихи.

Когда я прочитал ему главы из моей поэмы об Урале, он сказал: «Маяковскому бы это понравилось — ты заставляешь читателя соперничать».

Я это привожу не из хвастовства, а как пример того, что мы всегда прибегаем к «маяковским» меркам — оглядываясь на них, как бы и себя подтягиваем к ним. Бытуют у нас среди

поэтов и читателей и «есенинские» мерки, и «твардовские» мерки, и «симоновские», и «сме-ляковские». И суть не в том даже, соответствуют или нет наши или чьи-то стихи этим меркам, а в том, что они есть, существуют — и самими этим фактом влияют на качество литературы.

В то время в гостинице один инженер покушался на самоубийство — из-за безответной любви. Ручьев, услышав об этом, не стал сокрушаться, сожалеть, жалеть, расспрашивать, а, строго посмотрев на меня, сказал только одну фразу: «Завертки, что ли, ослабли?»

Это были слова рабочего человека, здорового телом и духом. И — это был еще рецепт: «завертки» надо держать в порядке...

Поэт Энвер Давыдов спросил у Мустая Карима, как он успевает и стихи писать, и

пьесы, и участвовать в работе Комитета мира и т. д.

Мустай ответил:

— У некоторых людей много времени уходит на зависть и злобу. Я исключил эти чувства — и у меня освободилось много времени.

Пабло Неруда писал: «Поэзии учишься медленно, среди вещей и существ, не отдаляя их от себя, а собирая вместе слепым притяжением любви».

Любовь и благодарность — подсказывают слова, строки. Конечно, стихи (особенно вначале) — это наше личное дело (как письма к любимой).

На какой-то стадии они могут стать нужными людям.

Но, независимо от этого, сама работа наша — нам награда! Это — главное.

## Петр Кучуков

### СВЕТ РОДИНЫ

О дом родной, отца творенье —

В пять окон русская изба!  
Ты мой покой и вдохновенье,  
Изба моя, моя судьба!  
Пять лун в ночи, пять снегопадов,  
Рассветов пять и пять дождей —

Окно к окну единым взглядом,  
Как пять волшебных фонарей.

Перед страдой и морем горя  
Отец спешил: к бревну бревно...  
Свет прорубал навстречу зорям —  
Окно, окно, еще окно.  
Пять окон — мне. И вместе с ними —  
Пять солнц, пять лун, рассветов пять —

В одной избе, в одной России...

О, дай мне жизнь ума и силы,  
Чтоб этот свет не потерять!

## Юрий Ряшенцев

\* \* \*

Когда придет конец ночным прогулкам,  
А он придет — не то зачем во мгле  
Часы всю ночь горят над переулком  
И темный снег не тает на стекле? —  
Тогда все то, что было жалким бытом:  
И запах льда, и свист в глуши двора,  
И над домами профиль осетра,  
Плывущего в неоне ядовитом,  
И слабо освещенное окно,  
Холодным ослепленное узором, —  
Все это, странной прелести полно,  
В немом величье встанет перед взором.

И станет очевидным до конца  
Все то, о чем догадывался прежде:  
Вот сколько было счастья у глупца,  
А он о чем мечтал? Лишь о надежде...  
И что ж теперь? Погладить на века  
Сентябрьский лист в январском хладе гулком,  
Пока на черной шерстке ветерка  
Его на миг нащупала рука,  
Пока видны Хамовники,  
Пока  
Часы всю ночь горят над переулком...

В этом году исполнилось семьдесят лет со дня рождения Поэта Ольги Берггольц — удивительнейшего человека, милой моей сестры... И уже пять лет — с минуты ее физической гибели. Но та ее жизнь, которая идет сейчас и начало которой установить невозможно (быть может, она началась в любви нашей матери, может быть, — в отчих мечтах?..), жизнь, которая в древних книгах названа *вечной*, а мы называем ее *жизнью человеческого духа*, — эта жизнь в два крыла охватывает пространства и Прошлого и Будущего, а средостение ее — в Настоящем, имя которому — Народ. А Ольга Берггольц неотделима от этого понятия.

Как каждый подлинный, то есть органический интернационалист она любила свою Родину, любила глубоко, радостно и мучительно: *всею собою* ощущая и ее раны, и ее величие, и всю прелесть ее рассветов и трав — от ранних прозрачных стихов «Мне многое в мире открыто...» до трагических: «Я все еще верю, что к жизни вернусь, когда-нибудь ранним рассветом проснусь...»

Она любила любовь народа — *верную славу*, как сказано еще в ее ранних стихах. И не боялась упреков в нескромности — как и многих других упреков. Ибо подлинная, не ханжеская Скромность равносильна понятию Гордость: гордый человек не «лезет», не просит, с непримиримым молчанием переносит выходки «бессмертной пошлости». Но знает цену своей стойкости и не изменяет своей вере.

В ее архиве сохранилось более шести тысяч писем. И это далеко не все, что было адресовано ей. Одна из задуманных ею книг называлась «Ответы на письма читателей». Она не успела собрать эту книгу, но ответ все-таки состоялся: он в ее стихах. И в публикуемых здесь — тоже. В сочетании времен — столь характерном для ее творчества — выступает ее облик: нежный и бесстрашный.

М. Берггольц

\* \* \*

Мне многое в мире открыто,  
Безвестное темным словам,  
Как сон — беломорскому скиту,  
Как пена — морским берегам.

Не сразу, не всем и не громко  
Должна я об этом сказать,

То строчкой мальчишески-ломкой,  
То просто поглядом в глаза.

И каждый, узнавший об этом,  
Уже не утешится сам,  
И снова придет за ответом  
К моим беспокойным глазам...

1928

### УТРЕННИК

Вешний утренник прынул по грядкам,  
Мерзлотой под шагами звеня,  
И скворешня летит без оглядки  
Мимо туч молодых — на меня...

Глядя в темное око скворешни,  
Я решаю опять и опять  
Быть спокойной, как утренник вешний,  
Никогда

никого

не встречать.

1927—1928

\* \* \*

Ты приснись мне, хотя бы приснись,  
Не такой, как на карточке серой,—  
Точно лучик, и птица, и жизнь,  
Точно юность и счастье без меры.

Так далеко тебя унесло,  
Что черты расстоянием стирает.  
Столько пепла на сердце легло,  
Но горит оно и не сгорает.

Я сама виновата, сама,  
В том, что рано тебя отпустила,  
Что живу, не лишилась ума...  
О проклятая, жадная сила!

Ты приснись мне, ну только приснись,  
Не такой, как на карточке серой,—  
Точно лучик, и птица, и жизнь,  
Точно юность и счастье без меры...

1937

## СУДЬБЕ

Сохраню ль к судьбе презренье?..

*А. Пушкин*

Раскаиваться? Поздно. Да и в чем?  
В том, что не научилась лицемерить?  
Что, прежде чем любить, и брать, и верить,  
Не спрашивала, как торгаш,— «почем»?

Ты так сама учила... Как могла  
Помыслить, что придешь заимодавцем,

Что за отказ — продать и распродаться —  
Отнимешь все и разоришь дотла.

Что ж, продавай по рыночной цене  
Все то, что было для души бесценно.  
Я все равно богаче и сильней  
И чище — в нищете своей надменной.

*(Конец 40-х)*

\* \* \*

И все, кто порицал  
и кто хвалил,  
те, что преследовали,  
что любили,—  
равно печальные  
придут к моей могиле,  
и каждый бросит в яму горсть земли.  
Последний дар,  
вручаемый людьми.  
Но ты не делай этого, не — надо.  
Ты мне когда-то подарил весь мир,  
всю горечь мира, всю его отраду.  
Нет, даже мертвой — мне не нужен прах  
из рук твоих...  
...А уж живой — тем боле.  
Я лучше захлебнусь —  
в вине, в обиде, в боли,  
в своих пустых и темных вечерах.

1953

## АХМАТОВОЙ

(*Вариант*)

Здесь только крест из дерева  
невиданной породы  
и над холмом трилистники встают.  
Здесь —  
    только Ты.  
Ты — как сама природа.  
Ты и твоя последняя свобода...  
Бездомный, как всегда,  
    твой мировой уют...

1970-е годы.

Публикация М. Ф. Берггольц

---

## Александр Говоров

\* \* \*

Возвись мою радость во мне  
Приходом своим навсегда.  
Смотри —  
Заплескалась во мгле,  
Как жаворонок, звезда.

О хлебная птица моя,  
Звездой вечерней свети.  
И снова шепчу я, моля:  
— Приди, моя радость, приди.

Собой заклинаю —  
Приди.

\* \* \*

Я дерзок был, я легок был,  
Таким, что лишь вздохну — и чую:  
Куда-то медленно поплыл,  
То в явь, а то не в явь кочую.

Откочевал в судьбу пастушью  
И выплыл в березняк я вдруг,  
Где небеса легчайшей тушью  
Все заштрихованы вокруг.

Судьбой заклинаю —  
Приди.  
Приди  
И тоску упреди,  
Приди, моя радость, приди.

Возвись мою радость во мне  
Приходом своим навсегда.  
Смотри —  
Заплескалась во мгле,  
Как жаворонок, звезда.

Где все понятия сместились,  
Все восприятия светлей,  
Штрихи и те как бы светились,  
Струясь от свежести своей.

А ныне мысленно лишь смею,  
Кочуя, плыть по всей стране.

О, сказка!  
Сердце тещу ею,  
А чем еще утешить мне?..

\* \* \*

Учитель говорил о том,  
что на песке не строят дом,  
что на песке стихов не пишут,—  
они как письма без ответа,  
и их, конечно, волны слижут  
или сметут порывы ветра.  
И все ж в отчаянной тоске  
стихи мы пишем на песке.  
Быть может, мы везучие  
и нам поможет случай,—  
и будет день погожий,  
прочтет стихи прохожий  
и закричит, дивясь, о том,  
что на песке не рухнул дом.

Екатерина Шевелева

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Был клен похож на сказочный костер,  
Которому не страшны холода.  
Он ветки раскаленные простер  
В былые и грядущие года.

Иной опавший лист к земле приник,  
Но не казался он клочком беды.  
Он был насыщен светом, как двойник  
Моей доброжелательной звезды.

И около могучего костра  
Сама я потеплела, ожила.  
Услышала: промчалась в глубь  
пространств  
Смешная реактивная пчела.

Увидела я в просветленный миг,  
В прогалинах туманной пелены,  
Что множество уже огней других  
Вокруг меня на скалах зажжены.

ДВЕ ЖИЗНИ

Не знаю, не знаю — чем связаны мы,  
Чем близок ты мне неотступно:  
Пожарищем давней военной зимы?  
Характером, слаженным крупно?

Не знаю, не знаю, судить не берусь —  
Любовь или дружба связала?  
Но русская я, а ты — белорус,  
Славяне: похожесть металла!  
Славяне: почти одинаковый груз  
Судьба нам взвалила на плечи.

Да, русская я, а ты — белорус,  
В нас было предчувствие встречи!

Две жизни — в кипенье метелей и гроз,  
Счастливых и страшных известий;  
Две жизни, прожитые будто бы врозь  
В республиках, выросших вместе.  
Две жизни — почти на закате уже,  
Без милых свиданий, без писем.  
И все-таки ты — постоянно в душе,  
Как будто в таинственной выси!

## БАГРЯНЫЙ КЛЕН

Приглушенно летают осы.  
Сединка вьется.  
На горных склонах сушит осень  
Квадраты солнца.  
Так по-домашнему, как будто  
Природа-прачка  
Красу наводит в лоне быта,  
Невзгоды прячет.  
Подсинивает купол неба,  
Озера, реки.

И ливень будто вовсе не был  
Отжаты ветки.  
Высветливает мглу лучисто,  
И, уж поверьте,  
Становится отменно чисто  
На белом свете  
От трудной, добровольной ноши —  
Уборки рьяной.

...Взгляните, клен какой хороший —  
Совсем багряный!

## Владимир Бояринов

### ЯСНЫЙ МЕСЯЦ

Чтоб пути у нас сходились  
На конце земли любом, —  
Вместе с месяцем родились  
Мы в июле голубом.

Чтобы я не знал обмана,  
Чтоб душой не обнищал, —  
Вышел месяц из тумана  
И удачу обещал.

Ни в знаменья я не верил,  
Ни в земной, ни в прочий рай.  
Землю только вглубь не мерил,  
А прошел из края в край.

И тогда перевернулся  
Тонкий месяц за горой.

Я в родимый дом вернулся  
Августовскою порой.

— Что с тобою?  
— Были, мама,  
Были в мае сентябри,  
Вышел месяц из тумана  
И виски посеребрил.

Мог и я его приветить.  
Всем превратностям назло,  
Довелось удачу встретить,  
Да затменье нашло.

В голубой ли, звездной выси  
С той поры среди светил  
Что ж ты, месяц, что ж ты, лысый,  
Про меня совсем забыл?

### КРАСНАЯ РУБАХА

По его ль сноровке, по его размаху,  
По его ль желанью, по его уму  
Подарила мама красную рубашку,  
Видную рубашку сыну своему.

И на майский праздник как надел обнову,  
Как ступил из круга легкою ногой, —  
Екнуло сердечко у одной зазнобы,  
В пляс пустились сами ноги у друзей.

Грянули баяны — расступись вечерка! —  
Рукава метнулись птицей к небесам;

И пошел по кругу горячее черта,  
И двенадцать девок враз переплясал!

И, остыть не в силах, выходил на воздух,  
И вздыхал свободно, и седлал коня;  
Проносился степью при высоких звездах —  
От ночи весенней до другого дня.

Пыль столбом взметнулась, расступились дали,  
Полымем занялся парень на ветру.  
...С той поры над степью только и видали  
Красную рубашку рано поутру.

## МОИ СТАДА

Ни пеньков, ни кочек  
Во сыром лесу.  
— Где ж ты, мой сыночек?  
— Звезды пасу.

— Моя ты кровинка,  
Родимый мой,  
Ни одна травинка  
Не взойдет зимой.

— То не снега белы  
На пути моем —  
Звездные пределы  
Поросли быльем.

Но они далеки  
От весенних гроз,  
И домой дороги  
Не видать от слез.

Слышишь, мама, вьюгу?  
Это за ней  
Я прошел по кругу  
Жизни своей.

Слышишь, завывает  
Среди бела дня,

Не позабывает,  
Кличет меня.

И рекой великой  
Бьется в берега...  
Пахнут земляничкой  
Мои луга.

Мятой и овчиной  
Пропахла плеть,  
Я ее закину  
На поветь.

Из другой породы  
Мои стада —  
Лебедемком в воды  
Смотрит звезда.

Смотрит не мигая,  
В глазах испуг,  
А за ней другая  
Выплывает в круг.

Голубой комочек,  
Пушок на весу.  
— Где ж ты, мой сыночек?  
— Звезды пасу.

## *Инна Кашежева*

\* \* \*

Лето от солнца устало,  
юное не по летам,  
и на свидания тайно  
ходит к дождю по ночам.  
Дождь нас с тобой запирает  
в терем шуршащего сна  
и до утра забивает  
гвозди на раме окна.  
Сквозь дребезжащие линзы  
хлынут потоки лучей...

Но долиняло, как джинсы,  
небо от влажных ночей.  
Трактор для озими пашет,  
словно готовит постель...  
Лето то плачет, то пляшет  
в предощущенье потерь.  
Дождь как ни в чем не бывало  
кончится в раннюю рань...  
Лето от солнца устало.  
Ты от меня не устань!

## *Виктор Константинов*

\* \* \*

Как снег, свежа сегодняшняя боль,  
иду домой, и на ботинках соль  
с заснеженных московских улиц.  
Спасибо вам за то, что улыбнулись,  
а вам — за то, что помните меня.  
Покуролесить не хватает дня,  
трамваи шастают, как караси в ведерке,

поставлю чай на василек конфорки,  
несу домой в кулечке карамель.  
И снежная и тесная метель,  
впустил в подъезд продрогшую дворнягу.  
Я сам продрог над белой бумагой.  
В потоке жизни и живой реки  
хватаюсь за соломинку руки...



ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ СТЕПАНА ЩИПАЧЕВА

Степан Петрович ушел из жизни легко, внезапно, в новогоднюю ночь, когда наступал 1980 год.

На письменном столе поэта остались последние стихи.

Замечательный советский лирик Степан Щипачев был членом редколлегии «Дня поэзии». Он работал заинтересованно, внимательно. Очень заботился о молодежи.

Пусть живой голос Степана Щипачева вновь прозвучит со страниц нашего сборника.

ЛЕТА СЧИТАЮ

Не праздником —  
его чуть видной тенью  
скользнула дата  
моего рожденья.

Привычное  
седьмое января.  
Рассвет завьюженный.  
В снегу заря.

Слепит глаза мне  
белизною снега.  
Лета считаю

и свои  
и века.

Свои!  
Пусть много их,  
смолчу об этом.  
Спешить мне думами  
следом  
за веком.

Все так же ль мирно  
в отсветах зари  
ему листать  
свои календари?

СЛОВО К ТАЙГЕ

Потемнели твои небеса.  
Знать, гроза над тобою мечется.  
Я хотел бы тебя причесать:  
гребешком серебряным месяца.

Я не мыслю безмолвье твое  
без совиного плача и хохота,  
но привыкнет, и скоро, зверье  
к долгим будням железного грохота.

Знаю, слава твоя нелегка.  
Я понять ее сердцем пробую.

Два железных бегут ручейка;  
ты дорогу даешь им широкою.

Та дорога — сквозь хвойную медь,  
сквозь болота, туманы курящие.  
Где-то ухом приникнет медведь  
слушать рельсу, привычно гудящую.

Ты не будешь, моя тайга,  
пассажирам казаться дикою,  
угощая из тuesка  
то брусникою, то черникою.

С МЫСЛЬЮ ОДНОЙ

У смерти  
свои порядки,  
капризы свои.  
С кем-то играет в прятки,  
у чьей-то постели с косою стоит.  
Ко мне завернет,  
прикинусь  
этаким бодрячком,

чтоб, за спину косу закинув,  
смерть от меня —  
бочком.  
Скажут мне, хуже б не вышло.  
Я ж пошучу не со зла  
с мыслью одной, чтоб неслышно  
смерть в мою дверь вошла.

## Елена Николаевская

\* \* \*

До чего же ты, друг,  
Дожил:  
Провожать меня вдруг  
Должен.  
Провожать —  
Порыдать повод.  
Провожать —  
Оборвать провод.  
На дожде продрожать —  
Стоит?  
А потом — продолжать  
Помнить...  
Провожать?

А перрон  
Стонет,  
Всем наносит урон  
Полный...  
Дождалась:  
Прибежал, точен,  
Провожать —  
Подражать прочим?  
Провожать —  
Не прижать к сердцу,  
Провожать —  
Поражать в сердце...

\* \* \*

О день, полный меда и млека,  
Шмелей приводящий в экстаз!  
И медный — из прошлого века —  
Как солнце сияющий таз.  
И травы, и малые дети,  
И свет, что в жасмины проник...  
Несложные радости эти,  
Как сложно добраться до них...  
Сквозь вьюги, заносы и грозы —  
И как только не надоест!  
Ах, эти извечные кроссы  
Без кубков и призовых мест,  
Без криков — давай! — на трибуне, —  
Барьер за барьером взяты...  
И — вновь отдышаться в июне  
От грохота и суеты.  
В себя приходите постепенно,  
Ночам соловьиным внимать  
И, главное, вовремя пену  
С варенья и супа снимать...

## Виктор Есинов

\* \* \*

На диване цветная накидка,  
Книжный шкаф, пестрый коврик у ног.  
В сером сумраке красная нитка  
Из мотка убегает в клубок.

На исходе неяркого лета  
В сердце врезаны острым резцом

Эта комнатка, женщина эта  
С ранней проседью, с добрым лицом.

И от этой возвышенной муки  
Ноет сердце... Но, нервы щадя,  
Осторожно сплетаются звуки:  
Шорох нити и шорох дождя.

## Виктор Гофман

\* \* \*

В этой заводи время замедлит ход,  
здесь стоят тростники в неподвижности вод,  
и стрекозы парят, и скользят плавуны,  
и зеленые водоросли утомлены.

Хорошо у воды, никого не любя,  
отдохнуть от людей, отдохнуть от себя

и, следя за жуком; в полусне тростника,  
понимать, как прекрасно она далека.

И в последнем смиренье учить наизусть  
тростниковую жизнь, насекомую грусть,  
обо всем забывая над илом глухим,  
ощущая себя молодым-молодым.

## Татьяна Шеханова

### ЗАКАТ

Еще горит, смиряя блеск.  
Еще цвета перебирает,  
Переливается, играет,  
Перебирается за лес.

И детства слабым отголоском —  
С воспоминаньем или без? —  
Полоска света у небес,  
Под дверью слабая полоска...

Она притягивает взгляд  
Невнятной световой игрою.  
И значит, — там еще не спят,  
И если постучать — откроют.

## Сергей Мнацаканян

### ПРИКОСНОВЕНЬЕ...

Наверно, счастье — на белом свете  
постичь впервые,  
что это небо, деревья эти —  
насквозь живые...

Вдруг спохватиться и растеряться:  
хрипя от счастья,  
кричат вороны — над колокольней,  
над вьюгой вольной.

Прогнется белая мостовая  
и вздрогнет хвоя,  
и вострепнется в окне трамвая —  
лицо живое...

Сливаясь с миром, не разберешься  
однажды утром:  
где ты? где тополь на перекрестке  
в тумане смутном?..

Ну, не волнуйся, не надо, что ты?  
Под зимним небом  
снежок застенчиво ткнется в щеки, —  
пребудем снегом...

Пребудем веткой, пребудем птицей...  
и болью в крике,  
разумным воздухом над страницей  
прекрасной книги...

В любой обиде, в любой разлуке,  
по всем перронам —  
живое чудо любви и вьюги  
не провороним...

Да пронесем через все мгновенья  
горячих судеб,  
что жизнь — ночное прикосновение  
к снегам и людям.

## Татьяна Сырыщева

\* \* \*

Дует с севера ветер, дует с юга.  
Дует ласково, а порой сердито.  
Жизнь моя, точно баховская фуга,  
встречными голосами перевита.

Я в окно с городской горы глядела.  
Сам с собой на просторе вечно споря,  
ветер круто менялся то и дело:  
дым то к морю кидался, то от моря.

Проклиная доверчивости спыт,  
превращается разум в святотатца  
и расстаться с развенчанным торопит.  
Сердце склонно простить, остыть, остаться.

Дует с севера ветер, дует с юга.  
И летит наша лодка голубая  
по большому невидимому кругу,  
беззакатное солнце огибая.

### ЖЕЛТЫЙ ОБРУЧ

Желтый обруч, круг веселый...  
Легкой палочкой гоним,  
был он в годы перед школой  
сотоварищем моим.  
Он бежал со мною рядом,  
не давал передохнуть.  
Мчались мы двором и садом,  
в гору — медленнее чуть.

Поглощенная всецело  
быстрым бегом без конца,  
словно в сказке, я владела  
силой желтого кольца.  
И оно во мне осталось:  
это солнце не зашло.  
Таёт от него усталость,  
и душа горит светло.

## Моисей Цетлин

\* \* \*

Словно виски, как смерть, побелели,  
Остекленели навек поля,  
И наполнила, и, как наст, осела  
Грозная, грузная старость моя.

Только б успеть!.. но придавлен камнем.  
Только б сказать!.. но язык как ком.

Только бы знать!.. но уже сиянье.  
Только бы жить!.. но зачем о том?

Все ведь кончается тяжестью этой,  
И неизбежен вердикт естества, —  
Пусть же забвенью несущая Лета.  
Тихо шумит, как весною листва.

## Владимир Нежданов

\* \* \*

Пойдет полуденный, стихийный,  
совсем не свойственный зиме,  
тот первый снег хрестоматийный,  
еще неведомый земле.

Тот снег дойдет до высоты  
полета птиц, вершины леса,  
не в силах далее идти,  
устав от призрачного веса,

по тем тропинкам, что и дождь  
прошел к земле — едва стемнело,  
не ведая, чего ты ждешь,  
когда душе не нужно тело.

Уже осталось с полверсты...  
Полет застопорит у леса...  
Там только снежная завеса,  
там небо вечной мерзлоты.

## Евгений Антошкин

\* \* \*

Миг отчужденья — невозвратный миг.  
Не ссорились и так любили вроде.  
Недоброе почуяв, дом притих.  
Сидим молчим. Как быстро все проходит.

Как перед чем-то неизбежным, страх  
Незванным гостем пробежал меж нами.  
И холод, поселившийся в глазах,  
Не растопить теперь уже слезами.

И незачем кого-то нам винить,  
Что все ушло, что вечным нам казалось...  
Когда ж любви невидимая нить,  
Вдруг задрожав, случайно оборвалась?

Ищу той тропки давние следы,  
Где ты меня улыбкою согрела.  
Так, может, ловят поздний свет звезды,  
Которая давно уже сгорела.

## Глеб Еремеев

### В НОЧНОМ

Ветер выплакал на травы  
росы в лунном серебре.  
Угли жарки и кровавы  
в догорающем костре.

Далеко за круг багровый  
разбрелся табун коней.  
А мальчишка белобровый  
просит сказку пострашней.

Коростель скрипит в тумане,  
нагоняя жуть и грусть.  
О Людмиле и Руслане  
я читаю наизусть.

Долго-долго сказка длится —  
за стихом ложится стих.

Уж табун вокруг толпится,  
а мальчишка странно стих.

Тонкий месяц желторото  
усмехнулся с высоты,  
словно понял, хитрый, что-то  
и ушел себе в кусты.

Влажной синью задышала  
ночь, продрогшая к утру.  
Струйка ветра пробежала  
по потухшему костру.

И на миг огонь багровый  
вспыхнул, теплый и живой.  
Спит мальчишка белобровый,  
ткнувшись в руки головой.

## Валерий Капралов

### ЖЕНЩИНА

Как сумку, заботы свои волоча  
и пряча заметную сразу тревогу,  
она подставляет мне оба плеча  
и вновь предлагает любую подмогу.  
Зачем? Свою ношу я сам перенес.  
Но, в ту же секунду душой сиротея,

я к ней прислоняюсь, как брошенный пес,  
о слабости этой ничуть не жалея.  
И, весь растворяясь в домашнем тепле,  
как в детстве притихнув, душою немею.  
И все, что случилось со мной на земле,  
одновременно случилось и с нею.

## Феликс Чуев

### РАССКАЗ АВИАТЕХНИКА

Мы вместе прибыли на фронт,  
я — младший лейтенант,  
он — в том же звании пилот,  
такой же синий кант.

А через год —  
то срок большой  
на боевом пути,—  
а через год  
он был старшой,  
и орден на груди.

Я по ночам чинил мотор  
ему в любой мороз.  
Одет с иголочки майор,  
я — в масле весь насквозь.

К концу войны —  
полковник он,  
да с Золотой Звездой,

\* \* \*

Что еще озвучить я сумею  
и какие чувства расскажу?  
Там, где озимь ровно зеленеет,  
отыщу последнюю между,  
затанусь последней сигаретой,  
голубое выпущу кольцо,  
чтоб взойшло, закатом обогрето,  
дорогое юности лицо,

на мне —  
былой комбинезон  
с медалечкой одной.

Победа скоро. Скоро мир!  
Подходит май в цвету.

...Пилю из жести, командир,  
холодную звезду.

Под целлулоид завожу  
твой фронтовой портрет...

С твоим сынишкой дружу  
я столько мирных лет.

Сквозь стужу давних канонад,  
былое пригубя,  
я, техник, младший лейтенант,  
пью чарку за тебя.

чтобы снова небо с укоризной  
на меня обрушивало взор  
и настал в торжественности жизни  
синевой покрытый разговор,  
небывалый, главный, сокровенный,  
самый, без которого не жить,  
что не, как всегда, перед Вселенной,  
а перед собою совершить.

## Борис Рахманин

\* \* \*

Мне в детстве истина простая  
открылась в зябкую весну:  
как только люди вырастают —  
уходят тут же на войну.  
Я помню — это было в мае,  
кричал скворец над косяком, —  
простужен был я, хлипкий малый,  
пробит навылет сквозняком.  
И, забираясь в дальний угол,  
известный в доме только мне,  
гадал я с искренним испугом:  
не простужусь ли на войне?  
Поползаешь по мокрым пашням —  
потом ангина. Вот напасть!

А стыдно, знаете ли, с кашлем  
в военный госпиталь попасть.  
Солдаты стонут там на койках,  
хирурги в белом все — до глаз,  
стальные острые осколки  
со звоном шлепаются в таз.  
Нет, этот насморк мне не нужен!  
Стал драться я со сквозняком  
и по весенним сизым лужам  
отважно бегать босиком.  
Так мужеству я стал учиться,  
знал, что ненастья впереди, —  
уж если госпиталь случится —  
так только с пулею в груди.

## Надежда Кондакова

### СУДЬБА

Бабушка моя жила  
В девятнадцатом столетье.  
Мало видела тепла.  
Много плакала на свете.

Двух сынов взяла война,  
Мужа бездна поглотила,

Но какая тишина  
У нее в глазах гостила!

И казалось, тонкий лед  
Между ней и миром тает,  
Когда в небе самолет  
Или ангел пролетает.

## Татьяна Бек

\* \* \*

Одиночество в душном кафе...  
Но, как в зеркале, я замечаю:  
Одиноким стариком в галлифе  
Заказал себе хлеба и чаю.

А когда погляжу за окно,  
То увижу, как на амальгаме:  
Солнцу холодно. Солнце одно  
И озябшими машет руками.

...О, куда бы ни вел меня путь,  
Мне повсюду маячит мое же.  
Наше внешнее — это не суть.  
Мы родные! Мы очень похожи.

От рождения нас в кожуру,  
В чешую, в оперенье одели...  
Я умею смотреть сквозь кору  
И поэтому, жалуясь, вру:  
Мне не так одиноко на деле.

\* \* \*

Вдохновение — это не навык.  
Это — школьник, который влюблен.  
Не умею писать без помарок.  
Я горю! Я страшна, как огарок.  
Я, гуляя, спугнула ворон  
С тротуара, и веток, и лавок.

На рожке ли играя, на лире,  
Почестней рассказать о себе б —  
И картина получится шире...  
Да, Вселенная — не ширпотреб:  
Я единственна в мире.

Но в мире  
Не бывает отдельных судеб.

А иначе зачем я чернила  
Извожу и пугаю ворон?  
Я должна рассказать, как любила.  
Как себя не любила. Как было  
Ярко, горько, крылато, бескрыло...  
Это — я,  
Это — ты,  
Это — он!

## Александр Москвитин

### НОЧНАЯ БАЛЛАДА

Холод. Морось. Ветер.  
Ночь как год длинной.  
Девочка о чем-то  
плачет за стеной.  
Время ли на свете  
стать добрей пришло,  
а душа ребенка  
чутко слышит зло?

Плач ребенка рядом  
спутал с жизнью сон,  
опрокинув на пол  
слезы всех времен.  
Обращаюсь взглядом,  
сердцем, слухом всем:  
я ведь тоже плакал  
маленький совсем.

Я ведь тоже слышал  
каждый скрытный зов.  
Познавал в печали  
хамов, шельм, лугунов.

Эхо звезд по крышам  
бьет за гранью сна.  
Если глух, всегда ли  
вникнешь, чья вина?

Жаль, да в мире чуда  
нет, но — помня всех —  
о былом, о прежнем  
плакать смех и грех.  
Жизнь идет куда  
с верхом дум и дел.  
Был когда-то нежным.  
Зря ли зачерствел?

Все ведь отзовется,  
сколько б ни молчал,  
и в тиши означит  
корень всех начал.  
Будто в зев колодца,  
в годы совесть зрит...  
Не душа ли плачет  
девочкой навзрыд?

## Лариса Румарчук

\* \* \*

Те виденья, что душу томили,  
испарились. К чему новизна?  
И мечты голубиные крылья  
запахнулись, как створки окна.

Никаких не желаю свиданий;  
только сна и покоя союз.  
Над печалью былых расставаний  
от души я сегодня смеюсь.

Все как в поезде — мимо и мимо,  
не до дна, не до слез, не дотла.

Ты прости, мой невстреченный милый,  
видишь, я до тебя не дошла.

Ни на стук растворившихся ставен,  
ни на теплый твой свет из окна.  
Ты, как я, в этом мире обкраден.  
Я, как ты, в этом мире одна.

Все, что было: порыв и смятение —  
тихим илом осело в крови.  
Я сдаюсь. Я кладу на колени  
усмиренные руки свои.

## Нина Эскович

### ШИПОВНИК

Зима ушла, но дверью хлопнула,  
а та стеклянною была.  
Весна, сосульку глядя, охнула  
и тут же острую сбывла.

Капель, за полностью подоюника,  
влетала в солнечный замес!  
Начала белого шиповника  
над красным взяли перевес.

С полуоткрытыми узорами,  
на белом — солнце и пчела,  
с густыми колкими дозорами  
гуляла улица вчера.

Наутро все бутоны лопнули,  
какая вкрадчивая тишь!  
И не нарадуешься: «Вот они!»  
и тут же палец занозишь.



## Дина Терещенко

\* \* \*

Была печаль такая, что казалось,  
печалей всех печальнее она.  
И лето в день последний попрощалось  
до следующего лета.

Смещена

была и ночь с бессонницей тягучей.  
«Что ждет меня,— я думала,— что ждет?»  
Нахлынули внезапно черной тучей  
воспоминанья, ринулись вразлет...  
«Что ждет меня,— я думала,— что ждет?»

У сентября неровная походка,  
неровный почерк, сердце — вперебой...  
Под парусами медленная лодка  
вдруг показалась в небе.

«Боже мой!» —

воскликнула я и оторопела.  
Алели паруса, алел закат.  
И все, что было, все, что наболело,  
все заслонилось ими.

Желтый сад

стал наливаться красками заката,  
звенели листья, пели дерева.  
Я поняла: нет жизни без возврата!  
Я поняла, что я была права.

Была права, когда судьба глумилась,  
когда казалось: не войду в рассвет.  
Я все-таки надеждами лечилась,  
я все-таки себе твердила: нет!

Нет-нет, вовек — нет жизни без печали,  
нет-нет, не тень, не облако, не мрак,  
а горькая полынь мне расточает  
целебный шелест. Это — добрый знак.

Печаль горчайшая не убыла куда.  
«Что ждет меня,— я думала,— что ждет?»  
Но эти паруса... И это чудо...  
И память, что над кручею — вразлет.

## Ольга Чугай

ЯНВАРЬ

Это я — горожанка.  
Здесьних мест уроженка.  
Этот город, и мост,  
И завод за мостом,  
И пустой монастырь —  
Все от прадедов и от прабабок,  
А забор, завалившийся набок,  
И бараки — от прошлой войны.  
От меня — только профиль замерзшей волны,  
Только белая эта бумага

Да пространство свободного шага  
Через город  
Вечерний,  
Лиловый,  
Еловый.  
Лови!  
Перестук паровозного эха!

От меня — только камешек смеха  
В простуженном горле твоём.

## Петр Кошель

ЗОВ

В погоне за насущным хлебом,  
среди радостей и среди обид,  
ты запрокинешь очи к небу,  
а там Вселенная манит.

Там полночью, сырой и звездной,  
в кругу понятий неземных,  
свои дела вершатся в безднах,—  
нам даже не представить их.

А может быть, как раз напротив —  
дела не так уж хороши,  
и кто-то одиноко бродит,  
листвой осеннюю шуршит.

В погоне за насущным хлебом,  
среди радостей и среди обид,  
он запрокинет очи к небу,  
а там Вселенная манит.

## Натан Злотников

### У ЗАПРУДЫ

Говори, говори — не забуду,  
Как мы ехали долго верхом  
К этим водам, что держат запруду,  
Где все бревна подернуты мхом.

Говори... Никому не известно,  
Из каких мы пустились домов  
К этим водам, которым так тесно  
Между вздыбленных круто холмов.

К этим водам, лоснящимся хмуро  
Без людских голосов и тепла,  
Словно лося убитого шкура,  
Из которой вся жизнь истекла.

Говори... Время движется в гору.  
Разговором беспечным владей.  
Глушь такая вокруг нас, что впору  
Торопить, горячить лошадей.

У запруды, изогнутой криво,  
Кружит голову свежая мгла.  
Только правду ты мне говорила —  
Только правду тогда мне лгала.

Никому не известно на свете,  
То ли взрослые мы, то ли дети,  
То ли близко мы, то ли вдали,  
То ли лошади нас унесли.

## Андрей Вознесенский

### ЧЕТЫРЕ ОСЕННИЕ ПЕСНИ

В отрочестве мне довелось знать Бориса Леонидовича Пастернака, что было самым щедрым подарком судьбы. Четыре эти стихотворения, как и все вещи его поздней поры, мне посчастливилось услышать с его голоса. Читал он обычно на даче.

С колотящимся сердцем, обмирая от предвкушения встречи, шел я переделкинской дорогой от станции до его дома, шел его дорогой, минуя по правую руку храм и кладбище, где сейчас, как посмертная зеленая строфа, травяной квадрат его могилы. Затем был мостик через речушку и огромное пустынное поле, то самое, которое он приравнял к понятию жизни. По этой же дороге рано утром шагал он на электричку, машины у него в те времена не было, шел он как смертные, как мы, что сейчас кажется баснословным.

Пейзаж Михайловского — лучшее пушкинское «Избранное». Точно так же, попав в Переделкино, вы открываете позднего Пастернака. Переделкинская природа была ему натурщицей. Берег пруда, водокачка, одухотворенные его волнением и голосом, становились стихами, затем располагались на бумаге и, перепечатанные в изумрудную тетрадь с багровой шнуровкой, становились классикой.

Все его произведения той поры отпечатаны на машинке Мариной Казимировной Баранович, прокурренным ангелом его рукописей. Слегка сутулящаяся и в очках от вечного труда своего, с короткой стрижкой, оставшейся от двадцатых годов, жила она около Консерватории, бегала на все скрябинские программы, и как нейгаузовский Скрябин отличается от рихтеровского, отличается дыханием, касанием клавиш, так и в клавиатуре ее машинки был свой почерк, судьба, артистизм. Она брошюровала стихи в малоформатные тетрадки и прошивала их шелковым шнурком. Обложкой служила плотная, глянцева с лицевой стороны бумага, которую покупали, чтобы стелить на письменный стол. Тетради были изумрудные, крапочно-красные и оранжевые.

Пастернака тянуло к людям «обыкновенным», то есть к подлинным. В серой кепке своей и прорезиненном

синем плаще он был неотличим в подмосковной толпе. Его любил простой переделкинский люд — шоферы, рабочие, бредущие с поезда или толкующие у дощатой забегаловки возле пруда, называемой им «шалманом». Впоследствии ее снесли. Как своему, ему кивали переделкинские липы и рябины.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи.  
Но часть было видно отлично отсюда  
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.

О гнездах грачей в его поэзии можно диссертации писать. Это мета мастера. «Где, как обугленные груши, на ветках тысячи грачей» — это из его «Начальной поры». А как кричат грачи в его реквиеме над гробом Маяковского! А гениальная графика военных лет:

И летят грачей девятки,  
Черные девятки грэф.

И вот сейчас любимые грачи его с подмосковных раки, вспорхнув, перелетели в черно-коричневые кроны классического ландшафта. Поздний пастернаковский пейзаж написан в благородной манере старых мастеров, как писал Боровиковский на своих задниках и Сильвестр Щедрин.

Подобно великим живописцам, которые мучились вечными вопросами — жизни, смерти, откровения, покаяния, самоотдачи — и брали для своих полотен метафоры Старого и Нового завета, поэт обращался к тем же вечным сюжетам, над которыми бились Микеланджело, Врубель, Матисс и Нестеров. Подобно их реалистической кисти, он брал для разрешения этих тем реалии, быт сопутствующей ему жизни. Так Брейгель наполнял свои рождественские полотна современными ему голландскими крестьянами.

Какая русская у него Магдалина, омывающая из ведерка ступни возлюбленного тела!

На глаза мне пеленой упали  
Пряди распустившихся волос.

Мне всегда его Магдалина виделась русоволосой, блондинкой по-нашему, с прямыми рассыпчатыми волосами до локтей. А что за вещей знаток женского сердца написал следующую строфу:

Слишком многим руки для объятья  
Ты раскинешь по краям креста.

Какой выстраданный вздох метафоры! Какая восхищенная печаль в ней, боль расставания, понимание людского несовершенства в разумении жеста мироздания, какая гордость за высокое предназначение близкого человека, избранника ее, и одновременно проговорившаяся, выдавшая себя женская ревность к тому, кто раздаст себя людям, а не только ей, ей одной...

Художник пишет жизнь, окружающих, близких своих, лишь через них достигая мироздание. Сангиной, материалом для пьесы, служит ему своя жизнь, поступки, опыт — другого материала он не имеет.

Сквозь суровые фрески проступают цитаты из его жизни, из прежних житейских стихов:

Все елки на свете, все сны детворы...  
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...  
...Все яблоки, все золотые шары.

Сравните это с кружащимся ритмом его «Вальса с чертовщиной» или «Вальса со слезой», этим задыхающимся скрябинским прелюдным фейерверком:

Великолепие выше сил,  
Туши, сеппи и белид.  
Финики, книги, игры, нуга,  
Иглы, ковриги, скачки, бега...

Помню встречу Нового года у него. Для меня это был Новый год на Олимпе. Хвойным треугольником сдвигались брови Генриха Нейгауза, царил Ливанов, был задумчив Святослав Рихтер... Старший сын Пастернака, Женя, еще храня офицерскую стройность, как из зеркала, выходил из стенового портрета кисти его матери, художницы Е. Пастернак.

Но главным чудом, ясное дело, был сам хозяин. Он был и елкой и ребенком одновременно.

Как трубно начинается «Гамлет»! «Гу-ул затих...» А какой гулкой нотой начинается «Рождественская звезда»! Когда читал, он протяжно гудел: «ду-ул ветер». Это вступала труба и тянула свою тему. В конце, в главной строфе музыка звучит светло и просветленно. Какое лунное «у»! Послушайте:

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,  
Как месяца луч в углублении дула.  
Ему заменяли овчинную шубу  
Ослиные губы и ноздри вола.

Сравните другую лунную строфу:

Лукайка обрывалась с половины.  
За нею начинался Млечный путь.  
Седые серебристые масляны  
Пытались вдаль по воздуху шагнуть,—

со строками «Степи»: «И Млечный путь... скотом пропылен... И через дорогу за тын перейти нельзя, не топча мирозданья...» И там и здесь, — стога и звезды, звезда и скирда...

«Запруды...чу-уду», — не унимается труба. «Откуда... Иуда», — откликается ей рифма из «Гефсиманского сада». «Бус... бурнус... уткнусь», — вторит ей Магдалина. Поэзия его была единым звуковым потоком. Отголоском двадцатых годов эхо вспоминает строчку Багрицкого — «прислонясь к дверному косяку». Картины прошлого воскрешаются — это итоговые стихи. И никогда в его прежних стихах так не звучала нота предощущаемой смерти — теперь впервые она звучит не обняком, не через чьи-то уста — по самому себе он вздохнул в «Больнице» и «Августе». В те дни он попал в 4-й корпус Боткинской. От этих стихов тогда перехватило сердце в тревоге за него.

И глядя в эти черные провалы,  
Пустые без начала и конца,  
Чтоб эта чаша смерти миновала,  
В поту кровавом он молил Отца.

И в «Гамлете»:

На меня наставлен сумрак ночи  
Тысячью биноклей на осп.  
Если только можно, Авва Отче,  
Чашу эту мимо пронеси.

В свое время в статье о переводах Пастернака (журнал «Иностранная литература») я впервые для читателя процитировал «Гамлета» целиком. Увы, не то машинистка ошиблась, не то наборщик, не то «Аве, Оза» повлияло, но в результате печатки «Авва Отче» предстало с латинским акцентом как «Аве, Отче». С запозданием восстанавливаю правильность текста.

Недавно тбилисский Музей дружбы народов приобрел часть архива Пастернака. Как старого знакомого я встретил там «Гамлета» в первоначальной дустрофной редакции, каким я заучил его по первой изумрудной тетрадке, сброшированной багровым шнурком:

Вот я весь. Я вышел на подмостки,  
Прислонясь к дверному косяку  
Я ловлю в далеком отголоске  
То, что будет на моем веку.

Это шум вдали идущих действий.  
Я играю в них во всех пяти.  
Я один. Все тонет в фарисействе.  
Жизнь прожить — не поле перейти.

В новом варианте, в словах «гул» и «случится», рождаясь из слов «шум» и «будет», тревожно набирает силу тема трубы.

Вариантов было много, и все — великие. Его стихи той поры похожи на деревья в ветреный день или свечу на ветру. Очертания их изменялись. Помню, как кто-то из его приятелей напал на последнюю строфу «Гефсиманского сада», говоря, что двойная метафора сложна. Он исправил: «Ко мне на суд мой Страшный неустанно столетья поплывут из темноты». К моей радости, он потом восстановил первоначальное.

К сожалению, размеры и жанр заметки не позволяют коснуться многого в его творчестве и жизни. Знал ли я его близко? Я был знаком с ним долгие годы, но знаете ли вы небо и лес, хотя постоянно живете рядом с ними? Пастернак был понятием того же рода.

Прочитаем прощальные песни его.

ИЗ ЦИКЛА «СТАРЫЕ МАСТЕРА»

МАГДАЛИНА

I

Чуть ночь, мой демон тут как тут,  
За прошлое моя расплата.  
Придут и сердце мне сосут  
Воспоминания разврата,  
Когда, раба мужских причуд,  
Была я душой бесноватой  
И улицей был мой приют.

Осталось несколько минут,  
И тишь наступит гробовая.  
Но раньше, чем они пройдут,  
Я жизнь свою, дойдя до края,  
Как алавастровый сосуд,  
Перед тобою разбиваю.

О где бы я теперь была,  
Учитель мой и мой Спаситель,  
Когда б ночами у стола  
Меня бы вечность не ждала,

Как новый, в сети ремесла  
Мной завлеченный посетитель.

Но объясни, что значит грех  
И смерть и ад, и пламень серный,  
Когда я на глазах у всех  
С тобой, как с деревом побег,  
Срослась в своей тоске безмерной.

Когда твои стопы, Иисус,  
Оперши о свои колени,  
Я, может, обнимать учусь  
Креста четырехгранный брус  
И, чувств лишаясь, к телу рвусь,  
Тебя готова к погребенью.

II

У людей пред праздником уборка.  
В стороне от этой толчеи

Обмываю миром из ведерка  
Я стопы пречистые твои.

Шарю и не нахожу сандалий.  
Ничего не вижу из-за слез.  
На глаза мне пеленой упали  
Пряди распустившихся волос.

Ноги я твои в подол уперла,  
Их слезами облила, Иисус,  
Ниткой бус их обмотала с горла,  
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,  
Словно ты его остановил.  
Я сейчас предсказывать способна  
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,  
Мы в кружок собьемся в стороне,  
И земля качнется под ногами,  
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,  
И начнется всадников разъезд.  
Словно в бурю смерч, над головою  
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятия,  
Обомру и закушу уста.  
Слишком многим руки для объятья  
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,  
Столько муки и такая мощь?  
Есть ли столько душ и жизней в мире?  
Столько поселений, рек и роц?

Но пройдут такие трое суток  
И столкнут в такую пустоту,  
Что за этот страшный промежуток  
Я до воскресенья дорасту.

## РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Стояла зима.  
Дул ветер из степи.  
И холодно было младенцу в вертепе  
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.  
Домашние звери  
Стояли в пещере,  
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи  
И зернышек проса,  
Смотрели с утеса  
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,  
Ограды, надгробья,  
Оглобля в сугробе  
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,  
Застенчивей плошки  
В оконце сторожки  
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне  
От неба и бога,  
Как отблеск поджога,  
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горячей скирдой  
Соломы и сена  
Средь целой вселенной,  
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней  
И значило что-то,  
И три звездочета  
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.  
И ослики в сбруе, один малорослей  
Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры  
Вставало вдали все пришедшее после.  
Все мысли веков, все мечты, все миры,  
Все будущее галерей и музеев,  
Все шалости фей, все дела чародеев,  
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепп,  
Все великолепье цветной мишуры...  
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...  
...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,  
Но часть было видно отлично отсюда  
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.  
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,  
Могли хорошо разглядеть пастухи.  
— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду,—  
Сказали они, запахнув кожанухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.  
По яркой поляне листьями слюды  
Вели за хибарку босые следы.  
На эти следы, как на пламя огарка,  
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,  
И кто-то с навьюженной снежной гряды  
Все время незримо входил в их ряды.  
Собаки брели, озираясь с опаской,  
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность  
Шло несколько ангелов в гуще толпы.  
Незримыми делала их бестелесность,  
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.  
Светало. Означились кедров стволы.  
— А кто вы такие? — спросила Мария.  
— Мы племя пастушье и неба послы,  
Пришли вознести вам обоим хвалы.  
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы  
Топтались погонщики и овцеводы,  
Ругались со всадниками пешеходы,  
У выдолбленной водопойной колоды  
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,  
Последние звезды сметал с небосвода.  
И только волхвов из несметного сброда  
Впустила Мария в отверстие скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,  
Как месяца луч в углубленье дупла.  
Ему заменяли овчинную шубу  
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,  
Шептались, едва подбирая слова.  
Вдруг кто-то в потемках, немного налево  
От яслей рукой отодвинул волхва,  
И тот оглянулся: с порога на деву,  
Как гостя, смотрела звезда рождества.

## ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Мерцаньем звезд далеких безразлично  
Был поворот дороги озарен.  
Дорога шла вокруг горы Масличной,  
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.  
За нею начинался Млечный путь.  
Седые серебристые маслины  
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.  
Учеников оставив за стеной,  
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,  
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства,  
Как от вещей, полученных взаимы,  
От всемогущества и чудотворства,  
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем  
Уничтоженья и небытия.  
Простор вселенной был необитаем,  
И только сад был местом для житья.

И глядя в эти черные провалы,  
Пустые, без начала и конца,  
Чтоб эта чаша смерти миновала,  
В поту кровавом он молил отца.

Смягчив молитвой смертную истому,  
Он вышел за ограду. На земле  
Ученики, осиленные дремой,  
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил  
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.  
Час сына человеческого пробил.  
Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда  
Толпа рабов и скопище бродяг,  
Огни, мечи и впереди — Иуда  
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам  
И ухо одному из них отсек.  
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,  
Вложи свой меч на место, человек».

Неужто тьмы крылатых легионов  
Отец не снарядил бы мне сюда?  
И, волоска тогда на мне не тронув,  
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,  
Которая дорожке всех святых.  
Сейчас должно написанное сбыться,  
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче  
И может загореться на ходу.  
Во имя страшного ее величья  
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,  
И, как сплавляют по реке плоты,  
Ко мне на суд, как баржи каравана,  
Столетия поплывут из темноты».

## ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмости.  
Прислонясь к дверному косяку,  
Я ловлю в далеком отголоске,  
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи  
Тысячью биноклей на оси.  
Если только можно, Авва Отче,  
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый  
И играть согласен эту роль.  
Но сейчас идет другая драма,  
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,  
И неотвратим конец пути.  
Я один, все тонет в фарисействе.  
Жизнь прожить — не поле перейти.

*Публикация Е. Б. Пастернака*

## Вадим Сикорский

### О ЛЮБВИ

Нет мудрости иной, — тебя я глажу  
и говорю: любимая, смотри,  
вот море сбрасывает, как поклажу,  
на берег волны в отблесках зари,

и разворачивает их, и стелет  
тебе под ноги пенные ковры,  
и ты идешь по ним, и ветер делит  
с тобой одной вселенские дары.

И ты надкусываешь сочный персик,  
босая, улыбаешься всему...  
...Виденье, сгинь! О, райский род диверсий,  
взрыв доброты, на миг вспугнувший тьму,

прекрасное, что вторглось вдруг в уродство,  
мгновенным блеском обольстив умы,

и горный дух, вдруг осенивший скотство,  
свет тишины, плеснувший в грохот тьмы.

Мы приспособились уже, привыкли  
и к норме бурь, и к будничности гроз,  
к родной земле скорбей в слезах приникли.  
Когда к нам луч счастливый смех принес —

так стало страшно — неужели где-то  
есть это в мире: тишина, покой,  
и над державою добра и света  
всевышний — до него подать рукой,

и девочка, омытая Вселенной,  
идет, светла, невинна и юна,  
меж морем и землей по кромке пенной...  
О, яд медовый приторного сна!

\* \* \*

У меня ни кола ни двора?  
Ну а что же такое, ответьте,  
это небо, что выше шатра,  
первый луч золотой на рассвете?

У меня ни двора ни кола?  
Ну а что же, ответьте, такое  
этот мир весь — в четыре угла,  
освященные солнцем покой?

Ни кола ни двора у меня?  
Но откуда же страх домоседа  
за порогом последнего дня  
вдруг остаться без крова, без света?

## Игорь Ляпин

\* \* \*

Заветное попробуй позабудь...  
И до сих пор в душе слова лучатся:  
— Придумай, ну придумай что-нибудь,  
Чтоб нам с тобой уже не разлучаться.

Ах молодость, ты все меня казнишь,  
Ужель навеки это в самом деле?  
Сосульки с громом обрывались с крыш,  
Мы на скамейке в скверике сидели.

Как я не понял смысла этих слов,  
Теперь я слышу в них мольбу такую,

Что понимаю — потерял любовь,  
Ту первую, ту самую святую.

Ах молодость, какой я был простак!  
Чтоб после не казнить себя жестоко,  
В слова любимых вслушивайтесь так,  
Чтоб осязать их, а не слышать только.

Слова любимых — в них вся боль и суть,  
Потом всю жизнь, всю жизнь их вспоминаешь:  
— Придумай, ну придумай что-нибудь,  
Чтоб нам с тобой навек... Ты понимаешь?

• • •

Туманней на душе или светлей,  
Веселостью пахнет или печалью —  
Я все о ней, я снова все о ней,  
О женщине, которой не встречаю.

Я этим чувством трепетно живу,  
Так трепетно, что сам подчас не знаю:  
Что между нами было наяву,  
А что во сне, поскольку я мечтаю.

Я окунусь в работу, но опять  
Перед глазами образ этот кроткий.

## Ада Владимирова

\* \* \*

Умолкли и сосны и травы.  
Замедлились ветра порывы.  
И облак застыл неподвижно.  
И птицы притихли... молчат.  
    Ведь первые Осени листья  
    Покинули теплые ветви,  
    Легли на холодную землю,  
    Ушли... Отшумели навек!  
Торжественно, плавно, бесшумно,  
Расцвечены пламенем хладным,

## Мария Терентьева

### МИРАЖ

Простор ромашковый, березовый,  
Прозрачно светятся кусты,  
По утренней росе, по розовой  
Бродила я, рвала цветы.

Был колокольчик в соразмерности  
Так грациозен и лилов,  
Клялись Иван да Марья в верности,  
Сомкнув двуцветье лепестков.

Букет, увитый повиликою,  
Как белопенною волной,  
Увенчанный гвоздикой дикою,  
Дышал всей прелестью земной.

Вдали полями озаренными,  
Поблескивая, как шмели,  
Зелеными комбинезонами, —  
Два летчика навстречу шли.

Казалось, времени течение  
Все убыстрялось и в челне

Мне было б так легко ее узнать  
По голосу, по сдержанной походке.

Она одна могла бы разрешить  
Все тяготы и все мои сомненья,  
И не ответом: быть или не быть,  
А ласковой руки прикосновеньем.

Она земная, я совсем земной...  
А на земле такие вьюги свищут,  
И потому мне кажется порой —  
Она сама со мною встречи ищет.

Ковром золотистым покрыли  
Подножье родного ствола.  
    И с этой поры, дни за днями,  
    Гирляндами звезд легкокрылых  
    С большой нескрываемой грустью  
    Спускается медленный дождь...  
О, первого дня не забудут —  
Как первую боль об утрате —  
Ни птицы, ни сосны, ни травы,  
Ни шири родимой Земли.

Качало. Может, излучение  
От них передавалось мне.

Высокие, с походкой странною,  
Почти летящей над травой...  
Инопланетчики ли? Странники?  
Мираж в истоме луговой?

Кивнули мне. И я без робости —  
Всех слов понятнее — в ответ  
Им, людям неизвестной доблести,  
Вручила яркий свой букет.

На лицах призрачно-пергаментных  
Подобие улыбки вдруг,  
Но отчего ж я так беспамятно  
Бегом помчалась через луг?

А дома встретил слух панический  
(И где фантазиям предел?) —  
Корабль невиданный, космический  
Вблизи поселка пролетел.



## Валентин Сорокин

\* \* \*

Так горько бывает душе,  
Ты вроде истратил уже  
Свой день,  
И теперь только тень  
Идет по житейской меже.

Где ночь прикоснулась ко дню.  
Где ставит судьба западню.  
А сад,  
Как столетья назад,  
С ветрами затеял возню.

И листья шумят на заре,  
Что будет метель в январе,  
Звонка,  
Окунет облака  
Зима в молодом серебре.

И станет светло и легко,  
Тоска улетит далеко:  
Поймешь  
И зачем-то вздохнешь  
О близких своих глубоко.

\* \* \*

Снова — тепла и прохлады сумятица.  
Солнце по взгорьям огромное катится.

Солнце тяжелое, рыжее, сильное,  
Поле до речки прогнулось обильное,

Вброны сыто кричат у обочины,  
Клювы их щедро об зерна обточены.

### ОБИДА

Не вырваться и не освободиться  
От суеты и сутолоки дня.  
Ты замолчи, душа, дурная птица,  
Уж не свободы ль ждешь ты от меня.

Времен далеких и огонь и ветер  
И нынешних — давно забыть пора б.  
Из всех рабов, рожденных на планете,  
Я, может, самый безнадежный раб.

Кровь Пушкина... и кровь отца в окопе...  
Изба семьи, свезенная на слом.  
Мы пронесли победу по Европе  
И дрогнули перед родным селом.

Все те рубли, что кровью заработал,  
Червонцы, что отвоевал строкой,

Не помогли умериться заботам,  
Не утвердили радость и покой.

Как будто я один за жизнь в ответе  
И по ночам то каюсь, то скорблю:  
Вот не сумел я дать опоры детям  
И женщине, которую люблю!

И не сумел избавиться от злобы,  
От клеветы и зависти чужой  
Я, в замыслах такой высоколобый,  
Такой neodолжимый и большой.

Когда означает лунная граница  
Мои раздумий грозные пути,  
Меч Спартака мне видится и снится  
И Рим гудит поверженно в груди!..



## Марина Тарасова

\* \* \*

Прости, срисовывать постыдно,  
не для того живет модель.  
Когда простое сходство видно —  
какая это акварель!  
Когда льняные изваянья  
сияют яркой новизной  
и жизни певчее молчанье  
слышнее музыки самой!

## Иван Киуру

### СОЛНЦЕ ВАН-ГОГА

В оранжевом солнце Ван-Гога  
И мученья не книжного бога,  
И сумерки рудокопа,  
И провиденья смертного есть,  
И бушующих красок тревога...  
И безумству художника — честь!

Эту жгучую необъятность,  
В коей золото, кровь и вода,  
Не сотрет никакая превратность,  
Не сожрут никакие года!

Эти светолетучие копы,  
Эти вихри оранжевых рек —  
Не в бездонных ли зачаты копиях,  
Где кончается времени бег?  
Иль под сажи фабричными хлопьями,  
Где страдает в ярме человек?

Страданьем!  
Трудом и страданьем,  
Мощным бунтом душевной страны,  
А не правил унылых собраньем  
Бури кисти его  
Рождены.

И от боли смеющихся красок  
Вдруг проснулись Париж и Арли...  
И склонен перед ними Пикассо,  
И от зависти желчен Дали!

Лишь страданье талантом богато.  
И гремит нам балладная медь:  
«Ах, не надо, не надо, не надо  
К мукам гениев зависть иметь!»

## Зоя Велихова

### ГОЛУБОЙ МАЛЬЧИК

(Картина Гейнсборо)

Снова метель свою песню заводит,  
Шепчет слова горячо.  
Джинсовый Гейнсборо в комнату входит  
С сумкою через плечо.

Снег на ботинках серебряно тает.  
В лунных словах маета.  
Мальчик во всем голубом возникает,  
Только сошедший с холста.

В новую роль осторожно вживаясь,  
Здесь, у зимы взаперти,

Станет о чем-то, слегка запинаясь,  
Длинные речи вести.

Он изменился и прежним остался,  
Этот рассеянный франт.  
Только в иных временах затерялся  
Шелковый млеющий бант.

Лишь только позы изящные строже  
Стали со сменой веков.  
Но от костюма сиянье все то же —  
Пыль голубых жемчугов.

## Людмила Щипахина

### ЧЕРЕПАХЕ

Ползи сквозь зной, сквозь желтую грозу  
По раскаленной выжженной пустыне.  
Ползи, подруга, мы равны отныне!  
Я тоже не летаю, а ползу.

Я обретаю панцирь на спине.  
А если проще — что-то вроде стражи.  
Все вынесу и выдержу, пусть даже  
Железным сапогом пройдут по мне.

Припав к земле, приобретаю дом.  
Его я вижу в трещинах и ранах.  
Биенье лавы в будущих вулканах  
Тревожно ощущаю животом.

Ах, черепаха, признанный урод,  
Медлительная крепость роговая!  
Ни пяди никому не отдавая,  
И я неспешно двигаюсь вперед.

Не тороплюсь, ловлю заботы дня,  
Шершавой кожей землю осязая.  
И горизонта линия косая  
В азарт спортивный не введет меня!

Замедленно глаза перевожу  
От желтой точки до зеленой почки,  
Как будто изумительные строчки  
С земного языка перевожу.

И кажется, мгновения светлы  
И вечного исполнены доверья,  
Хоть надо мной парят, роняя перья,  
Неистовые галки и орлы.

Но лишь тебе одной земля близка!  
Не ведая ни ревности, ни страха,  
Тори свой путь спокойный, черепаха,  
Сквозь золотые россыпи песка.

## Лиля Нанпельбаум

\* \* \*

Разгорайтесь, разума свечи,  
И в веселости и в слезах.  
Мне живой не хватает речи  
Даже в умных собачьих глазах.

Но несет и тоску и страданье  
Мир никем сотворенных чудес.  
Бессознательность, полусознание  
Мне страшны, словно темный лес.

Но и темного леса страшнее  
И жесточе, чем самое зло,  
Эти ясного неба яснее  
И прозрачнее чем стекло  
Человечьи высокие очи,  
За которыми разлита,  
Беспросветней безлунной ночи,  
Бездуховности темнота.

## Олег Кочетков

### РАЗВИЛКА

Протянул ладони к селенью —  
И согрелись бездомные руки.  
Потянулся забытою тенью  
На ушедшие запахи, звуки.  
Каравай заварного, ржаного,  
Перезвеньканье струй о подойник,  
Заскорузлое, тихое слово  
И в табачной листве подоконник.  
Но сквозила волнующе, немо  
В сердце тайная горечь укора

От бездонного, вечного неба,  
От распятого ветром простора.  
Три дороги вдали проступали.  
Три лишь: к совести, к долгу, к заб-  
венью.

Две — травой-лебедой зарастали,  
А последняя — жалась к селенью.  
Встал, пригладил вихры на затылке,  
Не расслышав, как всхлипнула дверца,  
Протянул ладони к развилке,  
И согрелось бездомное сердце...

## Георгий Елин

\* \* \*

...Последний миг. Последний взгляд  
на заколоченную дачу.  
Притих наш опустевший сад.  
А бабушка тихонько плачет.  
Жизнь ею прожита до дна,  
а что не так — там бог рассудит.  
Быть может, чувствует она,  
что осени другой не будет.  
Как плачет бабушка — без слез,  
лишь вздрагивают губы в нитку...  
Прощай... Скулит соседский пес.  
И жизнь уходит сквозь калитку.

## Юрий Шавырин

\* \* \*

Все ли,  
Все ли сделано,  
Что душа просила?  
Посадил я дерево,  
Поднимаю сына.

Дерево ветвистое,  
Сын смышлен и тонок.  
Постигаю истину:  
Дерево,  
Ребенок.

Все переплетается:  
Детство,

Юность,  
Зрелость.  
Дети петь пытаются  
То, что нами пелось.

Помню, как под радугой,  
В небеса зовущей,  
Пели мы от радости:  
— Дождик, дождик, пуще!  
Радуга растаяла,  
Отзвенело детство.  
Песенку оставило  
Сыновьям в наследство.

## Георгий Гачев

### НАТУРФИЛОСОФСКИЙ РОМАНС НА СТИХИ ТЮТЧЕВА

(Из книги «Космос русской поэзии»)

Как композитор берет стихотворение поэта и музыкальными средствами реализует его содержание, так и мыслитель может, привлекая весь свой жизненный, культурный и эмоциональный опыт, подвергнуть стихотворение философской медитации, на этом языке стараясь передать то, что в либийски-пророческих строках содержится.

Наша задача тут — реконструировать возможную русскую космогонию, русский Олимп, и пантеон, набор основных «божеств», — образов-символов, «архетипов» в нем. Дело в том, что у других народов есть целостные космогонические поэмы, эпосы, по которым можно представить, что данный народ считает в бытии первостепенно важным, что — второстепенным, то

есть иерархию ценностей и ориентиров, с которой во глубине души сверяется здесь человек в своем поведении и мышлении, строя жизнь. У эллинов такие поэмы: «Теогония» Гесиода, натурфилософские поэмы Эмпедокла и Парменида; у итальянцев — «Комедия» Данте; у скандинавов — «Эдда»; у индусов — «Гимны Ригведы» и т. п. В русской словесности таких сводов и сборных словесных храмов, прямо трактующих о возникновении, составе и складе мира, нет ни в фольклоре, ни в литературе. Но совокупными трудами поэтов такая национальная космогония собирается и отстраивается: выявлены сущностные силы и стихии национального космоса, что дорого русскому уму и сердцу.

Во всей поэзии, однако, потонешь... И вот я взял том стихотворений Тютчева, наиболее натурфилософа из русских поэтов, на такой эксперимент: если рассмотреть это как цикл и космогоническую поэму типа Гесиодовой «Теогонии», какой в итоге прорисовывается пантеон, набор руководящих мифологем? И принялся вникать в стихотворение за стихотворением, читая каждое как своего рода «гомеровский гимн». И стала прорисовываться особая, русская картина мироздания. Для верности я каждый образ, помимо его использования Тютчевым, проверял его вариантами у других русских поэтов. Так что дальняя цель предпринятого исследования — выявить космос русской поэзии и описать русский образ мира. Слово «космос» берется здесь в эллинском смысле: как строй, порядок мира и всякой вещи, структура, единство из множества.

### Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,  
Когда весенний первый гром,  
Как бы резвяся и играя,  
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,  
Вот дождик брызнул, пыль летит,  
Повисли перлы дождевые,  
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,  
В лесу не молкнет птичий гам,  
И гам лесной, и шум нагорный —  
Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,  
Кормя Зевесова орла,  
Громокипящий кубок с неба,  
Смеясь, на землю пролила.

Гроза — это изливается с неба «громокипящий кубок» — светоносная огненная влага. Гром — перун, молния. Его символ — орел. Потому гроза — пицца Зевесова орла. И так, вода — обогнена.

Гроза нужна, чтобы проявить мир как ткань света: «Вот дождик брызнул, пыль летит, Повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит». Радостно исчезновение различий земли и неба, и люблю эту игру космоса со своими определениями (земля, небо, огонь, вода, звук) — нет ничего особенного, все смешалось: с горы — поток, в лесу — гам, и «все вторит весело громам». Значит, шум вод и гам птиц — земные заложники грома.

Но гром (звук) сам — предтеча света (хотя в воспринимаемом чувствами порядке природы молния предшествует грому). Главный герой вначале — гром: резвится, играет. Но он — как жаворонок, дитя солнца, светоносная птичка с лучиком в горле. И потом узнаем, что он лишь — посланец. Так и в позднейшем описании грозы «Неохотно и несмело» гроза, дребезжание бытия нужно, чтобы разродился свет. Сначала свет робок, просителен, не утвердителен, не знает еще своей силы: «Неохотно и несмело Солнце смотрит на поля. Чу, за тучей прогремело, Принахмурилась земля». Затем гроза, является молния — архангел света, но не само божество: «Вот пробилась из-за тучи Синея молнии струя (тоже светоч-источник. — Г. Г.) — Пламень белый и летучий Окаймил ее края». Снова воды, вихри, пылы и раскаты. И наконец: «Солнце раз еще взглянуло Исподлобья на поля, И в сиянье потонула Вся смятенная земля». Земля вернулась в лоно света. Свет здесь вместо исконных мифологических вод, океана. Земля рождается не из вод, а из света.

Слово о грозе совершается через «люблю» и «ты

скажешь» — то есть мысль диалогична, ориентирована на чужое слово. Я, любящий, — вижу, чувствую, описываю и называю вещи своими русскими именами — бесхитростно и немудряще. А ты, образованный(ая), уже «скажешь» по-ученому, суждение выскажешь, что это такое, то есть не мое это дело — выносить определение. Если хотите, я его дам, но не своими словами — мои для этого не приспособлены, — но с чужого голоса и как дело иного мышления. Определение грозе вынесено в космосе и языке античной мифологии: через Гебу, Зевеса, орла на Олимпе. Одно явление подано сразу и в уме сердца («люблю») и в уме ума («ты скажешь») — важнейшее для русской мысли различение! — и только так мысль и слово по-русски могут состояться: в диалоге того, кто любит, и того, кто понимает.

И еще очень важное для русской мысли слово здесь сказано: «вторит». Втора в русской песне — принцип эха. Сами перечисления в стихе — не случайное собрание, но даны так, что одно — втора (переволношение) другого: «Гремят раскаты молодые (звук — воздух), Вот дождик брызнул (=вода), пыль летит (=земля), Повисли перлы дождевые (=земля из воды), И солнце нити золотит» (=свет). Это все — перескакивание электрона на разные орбиты, но одно и то же трансформируется на разных уровнях. Это вариационный (а не разработочный) принцип развития в русской музыке.

Наконец, и своим числом — опять Двóица! — «втора» симптоматична. Втора, кстати, есть и между персонажами первой и второй частей стихотворения. Геба, например, — ветреная, что, смеясь, проливает Зевесов кубок, — вторит грому; который, младенец, «весенний первый», резвится, играет, дергает небо, опрокидывает грозу и заливают землю солнцем. Втора требует более тонкого слуха и есть более филигранная работа, чем пение запевалой: ибо запевала дает всць в плоти и крови, а втора — ее образ, идеал (тьнь?) вещи. Запевала — гром, а втора — молния.

В завершение сего краткого опыта объясниться о жанре и методе, чувствую, должен. Как читатель уже заметил, я все время снижаю поэзию до физики: за чистую монету и всерьез принимаю те слова, которые поэту дозволено употреблять в переносном смысле и бросать в легкомыслии пиятического восторга. Как если бы философ Эмпедокл или Сократ в разговоре с поэтом Ионом заставил бы его отдать отчет в словах, что он привык безответственно к их прямому смыслу бросать на ветер (имеется в виду, разумеется, не Тютчев, а некий стандарт поэта, «поэтической природы»). И субтильный мир поэта мы классифицируем по грубым физическим рубрикам четырех стихий.

Но ведь это же древний натурфилософский язык, чья морфология: «земля», «вода», «воздух», «огонь», понимаемые расширительно и символически, а синтаксис — Эрос (Любовь — Вражда Эмпедокловы, притяжение и отталкивание современно-научные)! На него переводимы, с одной стороны, образы поэзии, а с другой — понятия естествознания, так что он может послужить как метаязык и место встречи и взаимопонимания этих столь далеко разошедшихся ныне областей духа. Очень емким оказывается этот «метаязык»: на нем природу можно читать духовно, а духовные явления осмыслять в контексте природы. В свете обострения в нашем веке проблемы экологии работа таких уравнений имеет особо актуальное значение: расширяется этика человека — в ее диапазон включаются взаимоотношения с природными существами и стихиями, которые оказываются нашими соотечественниками по бытию и участи в космическом холоде Вселенной.

Но в работе такого толкования и перевода я чувствую не только научную, но и своего рода художественную ценность. Сам акт наложения древнего языка четырех стихий через головы двух-трех тысячелетий на современность (XIX век тут рядом), заарканывая и отождествляя концы и начала духовной истории человечества, есть фундаментальная метафора (=перенос) и образует метафорическое поле, с которого снимаются богатые урожаи образов и ассоциаций.

В конкретном же натурфилософском толковании поэтического текста вот что происходит. Если когда поэт говорит: «В крови горит огонь желанья», физической стихии «огня» учиняется перенос-метафора в Психею и отождествление ее с душевной акцией «желания», — то, когда мы в анализе разбираем это ставшее уже у поэтов стертым, общим местом сочетание и толкуем и ощущаем «желание» как натуральный огонь (что ведь жжется!), как элемент из стихии огня, —

то есть когда наивно и всерьез начинаем слышать-воспринимать тот метафорический клетот, которым ныне упиваются поэты, не серьезно, но игриво относясь к ввергаемым ими в свой хоровод чрез словосочетания реалиям, — мы вдруг чувствуем неожиданное освежение метафоры, снятие затверженных белым поэтических стандартов и клише: совершается вторичный перенос (=мета-фора) назад, — и это слышится не только как разоблачение образа, минус-образ, но как новый образ, плюс к образу, метафора в квадрате. Так что физика поэзии оказывается новым художественно-поэтическим делом: переносом переноса, при котором не только анализируются образы, но самим анализом создаются новые образы. Вот почему текст таких толкований не может сам не быть пропитан поэтической плазмой, и недаром мне эту затею пришлось пояснить как жанр «философических романсов».

## *Николай Панченко*

### БЕЛОЕ ДИВО, ИЛИ СОН НАД УГРОЙ-РЕКОЙ (1480—1980)

Когда река начала замерзать,  
Иван III решил отступить. В свою  
очередь и татарское войско стало  
отступать...

*Из свидетельства историка*

Над рекой Угрой летят низкие тучи,  
Они вытянулись как птицы, крыльями только не машут,  
Между тучами в небе мелькают звезды.  
Я стою над Угрой и не знаю, что лучше сделать:  
Проследить ли по звездам, куда это летят тучи,  
Расспросить ли у ветра — откуда они такие? —  
Эти птицы лиловые, эти чернильные кляксы,  
Сквозь которые в небе мелькают холодные звезды.

Я стою над Угрой и не знаю, что лучше сделать:  
Очень низко летят надо мной чернильные тучи.  
Вот еще постою — и вовсе они почернеют.  
И одни только звезды мелькать будут над головою  
Да шуршать на ветру неподвижные долгие крылья.

Повалилась ветла, полегли ивняки, как травы,  
Оттого что обрушилось с грохотом черное небо  
И по самой земле, опустившись, бешено скачет,  
И холодные звезды как искорки из-под копытец.

Я стою над Угрой и не знаю, что лучше сделать:  
По обрыву ль спуститься к реке, над которой тучи,  
Над которой лиловые гуси, чернильные кляксы и черные кони  
И в которой шипят, остывая, опавшие звезды.

Я стоял,  
И спускался,  
И плыл по воде лиловой,  
Под стремительным, низким, грохочущим, скачущим небом,  
Выходил на татарский, поросший кустарником берег  
И пытался, прищурясь, глядеть на Ивановы рати.

Очень гуси мешали глядеть на Ивановы рати.  
И тогда я смежал с наслаждением холодные веки.  
И в рыбацкой землянке, что вровень была с землею,  
На сыром кожухе засыпал под мурлыканье кошки.  
И ходили, я видел, по русскому берегу белые кони,  
И сидели над белою скатертью белые люди,  
И из белых шеломов тянули угорскую белую воду.  
А кругом были сплошь беспросветные черные дали.  
Только люди сидели и, видимо, ждали рассвета,  
Подпоясаны белым по белому, с белыми в ножнах мечами,  
И колчаны со стрелами белыми были у них за плечами.

— Что ж вы, белые люди, не рубите черные ризы?  
Не рассыплете белые стрелы, чтоб враз побелела округа?  
Ай коней пожалели — не топчете подлого мрака?  
Ай себя не жалеете: прочь не умчитесь отсюда?

Если время оседлано, можно сидеть наружно,  
А сердечно стоять себе в том заповедном месте,  
До которого скачет твое золотое время,  
Но которого нет еще в жизни, как ночью света.

Только если сидишь ты, а сам-то стоишь как свечка  
В ожидании, скажем, того ли, другого света —  
С той поры, как ты станешь, в тебе невзначай займется,  
Разгораясь в душе и наружно роняя лучик,  
Заповедное нечто, чего еще нету в жизни.

С той поры как ты станешь, ты станешь не просто правым,  
Но предвестником времени: вовремя будешь в каждом  
Проповеданном месте — в свое, не в чужое время.  
Потому что об этом до всякого бранного дела  
Было вовремя сказано верное, тихое слово.

Я вставал,  
И спускался,  
И плыл по воде лиловой,  
Под стремительным, низким, грохочущим, скачущим небом,  
Возвращался на русский с полеглими ивами берег  
И пытался оттуда глядеть на татарские рати.  
Только гуси мешали глядеть на татарские рати.  
И тогда я смежал, как и давеча, зябкие веки  
И у крайней избы, под ветлой, над Угрой-рекою,  
Засыпал на крыльце под зеленых сверчков перекличку.  
И пока засыпал или, может, когда просыпался,  
Не мешали мне гуси — эти лиловые кляксы,  
Но ходили лужком по татарскому берегу белые кони,  
И сидели над белою скатертью белые люди,  
И из белых шеломов тянули угорскую белую воду.

— Это что же случилось, — ворчал я, — что вдруг татарва побелела?  
Знать, стоят и они над Угрой в ожиданье рассвета?  
И от этого в каждом, поди, занялось и наружно  
Просочилось сквозь кожу сияние робкой надежды.

Впрочем, что же я знаю?  
С тех пор, если время не сбилось,  
Покатилось, воня бензином, шестое столетье.  
А уж пять, это точно, прошло.



И когда не соврал летописец,  
Было раннего снега, как ныне, не меньше чем по колено,  
И летели лиловые, голые лебеди неба,  
И мелькали сквозь них над водою промозглые звезды.

— Оттого-то, видать, — говорят, — побелели татарские рати.  
Просто снег — да и все тут! — и нет никакого чуда.  
Этак мы и француза и немца однажды — с морозцем! —  
Сам анчутка у нас — если снег да мороз! — побелеет, —  
И смеются всюю, причитая,  
Простые мои калужане:  
— Ай мы немцы какие, чтоб верить в твои привиденья?!

Посмеются они, посмеются и делом займутся —  
Ведь и то хорошо, что их предки не вовсе побиты,  
Что не вовсе погибла Россия зимой сорок первого года.  
А погода, известно, пным помогает погода.  
Только как же не видеть в таком совпадении дива?  
И нутром не учуять, что место весьма не для смеха?  
И когда летописец от Спаса поведал правдиво,  
Достоялись до чуда, до страха,  
До белого снега,  
На который не пролито было ни капельки крови:  
Достоялись до света, до мира,  
Расстались на слове.

И наверно, довольно того, что хотя бы от снега  
Побелел человек. Как под белою ризою — бело! —  
Все в глазах просияло. И даже не главное дело,  
Каково ему — худо ли? — вышло решению время.  
И проходит Иван, и берется рукою за стремя.  
И, взмахнув рукавами, как птица, в седелко садится.  
За рекою Угрой не под ханом ли ржет кобылица?

Достоялись до снега,  
на который не пролито крови,  
Достоялись до света, до мира,  
Расстались на слове.  
— Полно, — оба сказали, — в великом стоянье стоят, —  
И ушли, уводя за собою от гибели долгие рати.

## Юрий Голицын

### СЛАВЯНЕ СЛАВИЛИСЬ НЕ ТЕМ...

Славяне славились не тем,  
Что презирали дух Европы.  
Вовек славянские холопы  
Не строили китайских стен.

В Европу прорубить окно —  
Вот это в духе славянина! —  
И партизанская дубина,  
И битва под Бородино.

Славяне доблестью сплны,  
А не угрюмым, тухлым чванством.

Сильны возделанным пространством  
И совестью раскалены!

Нет, не поправки чужбин,  
Не инородцев осмеянье  
Диктуют гордые славяне  
Мне из-под пращурных рябин.

Никто мой козырь не побьет  
И не отнимет первородства!  
И мой славянский дух не пьет  
Из грязной лужи превосходства.

ПРИТЧА О СТАРИЦЕ

Хороша Алена,  
Строга, не гулена.  
Хвагу-арзамасцу,  
Лабазной роже,  
В руки не дастся —  
Серпом покорежит.  
Не черные вóроны  
Да не с поля брани —  
Ангелы хворого  
Мужа прибрали.  
Нешто прокормится  
Вдова-затворница  
Чужими корками,  
Слезами-то горькими?  
Молодая старица  
Честью гордится.  
В келье парится  
Святой водицей.  
Богу падчерица  
За стеной прячется.  
А сердце выжжено,  
Людьми разобижено.  
Завыть бы по-волчьи,  
Только молча.  
Лицами троица  
Лучится в простенке.  
А душа откроется  
Хмурому Стеньке.  
Не верит Алена  
Житию постному —  
Верит исступленно  
Рябому апостолу.  
Под его хоругвями  
Европа и Азия  
Цедят без ругани  
Цареву мальвазию.  
Каплями воска  
Заплакали свечи —  
Аленино войско  
Рвется в сечи.  
Недосуг старице  
Выступать павой —

\* \* \*

А покуда Стенька где-то молится  
Праведным иконам,  
Звероватая клокочет вольница  
Норовом исконным.

Не ковыльное струится марево,  
Не церковный дадан, —  
Наползают письма государевы  
Заволочью на Дон.

С мужичьем парится  
В бане кровавой.  
Топями зыбучими  
Стрельцов запутает —  
Казаком обученная,  
Хитростью обутая.  
А стрельнет из лука —  
Вечная разлука.  
Баба свистнула —  
Вавилы да Еремы  
Громят ненавистного  
Князя хоромы.  
По ее почину  
Еремы да Вавилы  
Упыря-купчину  
Сажают на вилы.  
А сердце выжжено,  
Навек разобижено.  
Завыть бы по-волчьи,  
Но в грозе Поволикье.  
А крючья каленые  
Строки приказной  
Чернят Алену,  
Пыхают казнями.  
Без окон ставится  
На бугре хижина.  
Дотла старица  
Будет выжжена.  
В смертные чертоги  
Войдет не горбясь,  
Плюнет на пороге  
Стенькина гордость.  
И пламя вскорости  
Затрещит на хворосте.  
Гудом ровным  
Полезет по бревнам.  
А больше ни звука —  
Вечная разлука.  
Но с нами старица  
Не сгорит — останется  
Грозной сказкой,  
Былью арзамасской.

Молодой казак домой воротится,  
Набежит орава,  
Против соловецкой богородицы —  
Зельная отрава.

Вышибает брага белопенная  
С маху дно бочонка.  
Просится наружу дума пленная,  
Бредит хмель о чем-то.

Мурава качается высокая  
На могиле Рази.  
А горчит налиivistыми соками  
Не от боли разве?

Батя верил тихой деве-матери,  
Чаял, оборона.  
Что же вихри поле раскосматили,  
Воют похоронно?

Что ж глядела, из оклада выставя  
Очи в слезных зернах,  
Если крымцы резали неистово  
Хуторян дозорных?

Курит Стенька белену царьградскую,  
Облаком завесясь.  
Не насмотрится, поди, злорадствуя,  
В окна полумесяц.

## Иван Бурсов

### БАЛЛАДА О НЕУДАЧНИКАХ

Мастер узел стянул неумело  
или взялся за труд сгоряча, —  
развязалась веревка,  
и тело  
соскользнуло к ногам палача.  
В мутном свете жестокого века  
задыхались в дыму небеса...  
Два испуганных человека  
посмотрели друг другу в глаза.  
С башен щерились медные жерла,  
пахло кровью, и слышался плач.  
Как трава, была счастлива жертва.

Словно ветер, был легок палач.  
Сколько времени так пролетело —  
может, вечность,  
а может быть, миг?  
Только знал свое нужное дело  
неудачник — один из двоих.  
И никто не промолвил ни слова,  
затянулась надежно петля...  
Вся в крови  
под ногами второго  
долго падала в бездну земля.

## Галина Теплова

### ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

18 МАРТА 1812 ГОДА

Как морщиниста карта российской земли,  
Словно лики крестьян, обожженные зноем,  
Словно в страдную пору приволье ржаное,  
По которому борозды четко легли.

Над немеренным полем небес благодать.  
Верстовые столбы подступают к порогу.  
Только дверь распахни и шагни на дорогу —  
Из России до бога рукою подать!

18 МАРТА 1944 ГОДА

Где стирается грань между светом и тьмой,  
где смыкаются наглухо небо с землей,  
у последней,  
у страшной,  
у смертной черты  
ты упал, подминая собою кусты.  
Что ты думал, что помнил, что видел окрест?  
Только черный, изрытый снарядами лес,  
белый снег вперемешку с сырою землей  
да осколок небес над родной стороной.

Фотографиям долгая жизнь суждена,  
им не ведать жестокого слова «война».

их не застит слезами, им гнев незнаком —  
неприметно-привычно висят над столом.  
До единой знакомы морщинки у глаз.  
И все дальше войною оборванный час,  
Тот стремительный час у Твоей Высоты,  
у последней,  
у страшной,  
у смертной черты,  
И решительный шаг через смерть напролом...  
Не стареет твой взгляд у меня над столом.

## Валентин Сидоров

### БОЛГАРСКИЙ ТРИПТИХ

#### КИРИЛЛИЦА

Так вот они — наши истоки.  
Плывут, в полумраке светясь,  
Торжественно-строгие строки,  
Литая славянская вязь.

Так вот где, так вот где впервые  
Обрел у подножия гор  
Под огненным знаком Софии  
Алмазную твердость глагол.

Великое таинство звука,  
Презревшее тленье и смерть,  
На синих днепровских излуках  
Качнуло недвижную твердь.

И Русь над водой многопенной,  
Открытая вольным ветрам,  
«Я есмь!» — заявила Вселенной,  
«Я есмь!» — заявила векам.

#### РЕРИХ В БОЛГАРИИ

Туманом недвижимым и плотным  
Безмолвье на город легло.  
Искрясь и мерцая, полотна  
Ушли далеко-далеко.

Ушли, насыщая пространство  
На стыке грядущих путей.  
Ушли. Но остался, остался  
Их ответ на лицах людей.

В ночном и холодном безмолвье,  
Как в некоем загадочном сне,  
Разряды неведомых молний  
Над Витошей чудятся мне.

На прежней и новой основе  
Почувствовать нынче дано:  
Не только мы братья по крови,  
Мы братья по духу давно.

Мы братья по духу. И значит,  
Мы звездные строим мосты,  
И именно нам предназначен  
Космический зов Красоты.

Незримое пламя пылает  
И нас вырывает из тьмы,  
И радостный ток Гималаев  
Вы чувствуете так же, как мы.

#### МОНУМЕНТ КОЛОКОЛОВ

Он, вознесенный над холмом уснувшим,  
Над невесомой и прозрачной мглой,  
Соединил грядущее с минувшим  
И небеса соединил с землей.

Да будет так, как раньше не бывало.  
Единый импульс всей планете дан.  
Пускай гудят над горным перевалом  
В урочный час колокола всех стран.

Над крышами сверкающей Софии  
Пускай плывут в пространстве голубом  
И голоса басовые России,  
И звук индийский первозданный: Ом.

Пусть перезвон торжественный наполнит  
Простор, преобразившийся вокруг.  
Пусть перезвон торжественный напомнит  
О том, чем жив наш устремленный дух, —

О вечности.

## Виктор Широков

\* \* \*

Ты старинное русское имя  
на сегодняшней карте найди  
и тотчас поезжай во Владимир,  
в Золотые Ворота войди.

И откроется чуткому взору  
красота заповедных затей:  
соболиные шапки соборов  
и могучие стрелы церквей.

Ветер Времени, мощный и резкий,  
колокольным ударит крылом,  
и отныне рублевские фрески  
не померкнут в сознание твоём.

Здесь — глазами владимирских зодчих,  
сотворивших высокий музей, —  
ты взглядишься острее и зорче  
в стены храмов и в лица друзей.

## Татьяна Смертина

\* \* \*

Край мой заболоченный!  
Липы в топь осели,  
Не дождавшись осени,  
Пожелтели.  
Гонит Вятка сплавы,  
О паром стучит,  
Лодочник корявый  
Как всегда, молчит.  
Сохнет отмель голая,  
Губит слабый куст.  
Вниз баржа тяжелая  
Тянет вечный груз.  
Прячет ельник бусый  
Села на высотах,  
Там народ все русский  
И всегда в работах.  
Лишь на праздник редкий  
Выйдут все на свет,  
И глядят соседки —  
Кто во что одет?

У ларьков нарядные  
В нейлоне мужики,  
На закуску славные  
С рыбой пироги.  
Бабы топотуху  
На лужке топочут,  
Пробуют сивуху  
И всю хохочут.  
Пересмех, трехрядка...  
Радость бела дня...  
Глиняная Вятка —  
Кровная земля!  
Все бы длилось дольше,  
Жизни сердце радо.  
Никому-то больше  
Ничего не надо.  
Лишь какой-то пьяный,  
Вдаль уставя взоры,  
Все поет печально  
Про златые горы...

### КАК МАРЬЯ ЛЕТАЛА

Хотела я лететь  
В дали медовые,  
Хотела я смотреть  
Земли новые.

Упала я на медные  
Осыпи песчаные —  
Крылья самодельные,  
Крылья деревянные.

Плакала, не плакала?  
Это не в счет.  
Ворона каркала:  
«Будешь ли еще?»

Буду или нет я?  
Что затею я?  
У меня про это  
Дума своя.

Вспомню ли о доме?  
Смастерю корыто?  
Всякой вороне  
Небось любопытно...

Улягусь-ко спать,  
Чугуны считать,  
Думать про Ивана,

Про корову Милку,  
Про большую стирку.

Но смеяться нечего  
Над такой затеей!  
Мое утро вечера  
Мудренее.

## Лев Озеров

\* \* \*

Среди прочих такая в народе примета:  
По холодной весне градобойное лето.

Белой дробью прибьет шелковистые травы,  
Шелковистые травы у речной переправы.

По березовым листьям ударит жестоко,  
И начнется такая в природе морока

И начнутся такие часы непокоя,  
Что сейчас уже загодя сильной рукою

Отвести это хочется, — не допускать бы  
Утешенья: пускай заживет, мол, до свадьбы...

Зеленя — изумруд, но в народе примета:  
По холодной весне — градобойное лето.

\* \* \*

У последней четверти века  
Есть своя особая вежа  
И особая мета есть.  
Появляется нота прощанья,  
Обобщенья и прорицанья,  
О грядущем смутная весть.

Появляется грозная нота  
Окончательного отсчета  
Или чувство других планет.  
Человек, я у звездной цели,  
Но трава земной колыбели  
По старинке — спасенье от бед.

## Людмила Новикова

### МАТЬ ЧИНГИСХАНА

Над колыбелью женщина запела,  
качая узкоглазого мальчика,  
и улыбнулась ласково, несмело:  
младенец был похож на мудреца.

Над колыбелью женщина склонилась,  
отпрянула от милого лица.  
Ей вспомнилась чудовищная милость  
оскалившего зубы храбреца.

Над колыбелью женщина рыдала:  
«Боялась волка глупая овца!  
Зачем тебя родить я пожелала?  
Я не любила твоего отца».

## Владимир Британишский

### УРОК ГЕОГРАФИИ. 1942

Учительница с глобусом в руках —  
как мать с младенцем, беженка, в  
бомбежку,  
безумная, схватила впопыхах,  
все щупает единственную ножку,  
а тельце остывает, а душа,  
как вспугнутая птичка, улетела...  
Так и застыла женщина, держа  
большой Земли бесчувственное тело.

### БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ В РИГЕ

Здесь, где за каменной оградой  
лежат латышские стрелки,  
где тяжелеет угловатый,  
каменный ямб моей строки,  
где снег на солнце золотистый,  
синие тени на снегу,  
и текст латышский — как латинский:  
сильюсь прочесть — и не могу,

здесь только имена и даты  
понятны мне и что солдаты  
двух войн, убитые, лежат,

а туп, будто кипарисы,  
торжественно, почти по-римски,  
бессмертье мертвых сторожат.

## Лариса Сушкова

### БЕССОННИЦА

Себя такой — не воротить,  
Когда, избраннику покорна,  
Души не чаяла:  
Служить  
Всю жизнь  
Ему —  
Хоть кровь из горла!

Какая роскошь — не успеть  
Поцеловать,  
Ждать возвращения.  
Теряя веру и терпенье,  
В заботах дома преуспеть.

Вращать податливым ключом  
И пребывать почти незрячей,

Не помышляя ни о чем.  
Наверное, нельзя иначе.

Когда естественен твой смех,  
И тонок, и уверен локоть.  
И мне такой себя не помнить:  
Они касаемы до всех —

Вопросы, кто же их просил?  
Я ничего не искупила.  
Единоборство разных сил  
Неслышно к делу приступило.

Мне — поклоненье бы принять,  
Пошевелив рукою слабой...  
Уснуть ревнивой нежной бабой —  
Какая все же благодать!

ССЫЛКА ГАННИБАЛА

Хорошо не оставлять друзей в не-  
щастии, а в щастии всяк будет друг...

*Из письма Ганнибала,  
писано в Томске 15 ноября 1727 г.*

Так раняща тишь неизвестности.  
Как тревожно думать о ней.  
Снеговые мелькают окрестности.  
Два смычка

полозьев саней.

И к деяньям Петра, с веком сам наравне,  
тяготел притяженьем взаимным  
и скакал вслед за ним на лихом скакуне,  
как под метеоритным ливнем.  
Виноват ли, что он, находясь при дворе  
в этом царстве дворцово-невольничьем,  
оказался в придворной притворной игре  
на поверку предельно беспомощен...  
А скрипичные сани сверлят полутьму  
и буксуют на грунте ломком.  
И, похоже, лыжня приведет к тому,  
кто привез его арапчонком.

И в объятья его заключит хлебосол,  
весельчак Владиславович Савва <sup>1</sup>.  
Но не в силах помочь ни почтенный посол,  
ни сама инженерная слава.  
Вряд ли кончится вся эпопея добром.  
Кто его невиновность оценит?  
Только Пушкин однажды гусиным пером  
для него все запреты отменит.

---

<sup>1</sup> Владиславович - Рагузинский  
Савва Лукич — русский посол в Китае.

Геннадий Касмынин

К КАРТИНЕ В. И. СУРИКОВА  
«УТРО СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗНИ»

Как по метели, метели, метели  
Ключья соломы с омета летели,  
Ключья соломы летели как перья...  
Страшное время,—  
Безвременье зверье!

У-у-у! — завываешь, когда, как солома,  
Бешено мчишься, оторван от дома,  
Сорванный с поля, а как же иначе?  
Ключья соломы взвиваются в плаче,

Ключья соломы на площади Красной —  
Спутанный волос и голос неясный,  
Лица, как птицы, чернеют на сини...

— Мама,  
Ты прежняя память о сыне,  
Где на уступы омета, изломы  
Не возвращаются  
Ключья  
Соломы.



## Николай Новиков

\* \* \*

Как скоро природа сметает следы человека!  
Из голого пня вырастает веселая ветка.

Обрежешь ее, оборвешь ее существование —  
Две новых растут, распускаются, не уставая.

Пока ты копаешься в дальнем углу огорода,  
Травую поспешно в другом зарастает работа.

И вишни и яблони чинно в шеренгах скучают,  
Пока опекаешь... Едва отвернешься — дичают.

Однажды проснешься — не сердце ли вдруг прихватило? —  
А кактус разросся и занял уже полквартиры,

И кошка твоя отвернулась, с тобою не знаясь,  
И в кухню пронесся откуда-то взявшийся заяц...

Вот так проиграешь с бессмертной природою спор свой...  
Так бодрствуй душою!

Ты тоже природа.

Упорствуй.

## Вячеслав Куприянов

\* \* \*

Вместе с тобой  
съели мы пуд соли,  
чтобы лить друг по другу  
соленые слезы  
врозь.

\* \* \*

В мое лицо  
я вобрал все лица  
моих любимых  
Кто мне скажет теперь  
что я  
некрасив.

## Зинаида Александрова

СНЕГ

Из ноябрьской лиловой тучи,  
У земли замедляя бег,  
Вырывается злой, колючий,  
Неуживчивый первый снег.

Все луга, огороды, папши —  
Вся округа белым-бела.  
Прикрывает он день вчерашний,  
Недоделанные дела.

А потом, становясь добрее,  
Опускается он паря,

Затвердевшую землю грея,  
Всех теплом своим одаря.

Только я не могу согреться,  
Своего не найду следа,  
И уже добралась до сердца  
Эта вечная мерзлота.

Заморозила. Ознобила.  
Ни огня, ни родной души...  
Отогрей мое сердце, милый,  
В нем проталинку продыши!

## Арсений Седугин

\* \* \*

Зимним утром  
Дети строят  
Снежные домики.  
Ночью в домиках  
Тихо живет

Лунный свет.  
Да разве  
Такой чудак, как я,  
Зайдет в гости  
К тишине.

\* \* \*

В добрый  
Морозный денек  
Целую  
Белую в ивее  
Морду лошади.

\* \* \*

Как славно гулять  
По заснеженному городу  
С теплым кроликом  
За пазухой.

## Венедим Симоненко

### ЦВЕТОК ОГУРЦА

В детстве  
Цветок огурца!  
Никогда не забуду,  
Как бежала по грядкам  
К мохнатому желтому, как цыпленок,  
Яркому-яркому,  
Нежному  
Хрупкому цветку,  
Чуть трогала  
Красиво изогнутые лепестки,  
Прислонялась к нему щекой,

Вдыхала кружащий голову свежестью  
Запах  
Простого цветка огурца...  
Любят цветы,  
О которых молва,—  
На которые мода,  
А рядом  
Простой и изысканный  
Несравненный  
Цветок огурца!

## Вадим Перельмутер

### СПУСТЯ ПОЛГОДА

Прикасаюсь невеленой теме  
Осторожно и не наугад.  
Это значит, что нынче не те мы,  
Что каких-то полгода назад.

Состояние, в общем, простое.  
Только я постигаю с трудом  
Абсолютную меру покоя,  
Этот путь ни пешком, ни бегом.

Лишь доносится из отдаленья  
Звук вполне отзвучавших речей.  
Этот опыт, достойный забвенья,  
Называется жизнью моей.

Он изрядно истаян, истончен  
И в тебе сознает свой предел,  
Но пока что еще не окончен  
И не полностью окаменел.

Не отвык ни от сна, ни от жажды  
И признает Оленьи пруды,  
Где случилось очнуться однажды  
У блескучей стоячей воды,

Где круженье как будто крушенье  
Над еще не начавшимся льдом,  
Где, быть может, пруда назначенье —  
Удвоенье всего, что кругом.

## Борис Пуцыло

### ОЗЕРО

После черной горькой непогоды  
Озеро заголубело вдруг,  
Словно изначальный свет природы  
Вырвался из сумрачных округ.

Тихое от края и до края  
Поманило и вошло в туман,  
Словно бы себе не доверяя  
И во всем предчувствуя обман.

День, другой то гасло, то сияло...  
Замерло, луной освещено,

На земле извечного начала  
Бед твоих и счастья заодно,

Полное неясного значенья,  
О котором не помылишь вслух!..  
И встает из темных вод свеченье —  
Ненароком позабытый дух.

И душа, в тоске необоримой,  
Замерла, заветный свет струя,  
Белый-белый и никем не зримый  
Самого, быть может, бытия.

## Владимир Приходько

\*\*\*

Хорошо, что жизнь необратима  
И что дважды в реку не войти.  
И летят седые клочья дыма  
Над хромой обочиной пути.

Я, наверно, умер бы от скуки,  
От тягучей муки, от тоски,  
Если б снова школьные науки  
Мне долбил учитель у доски.

Вдалеке оставленное детство  
Я уже не знаю, не сужу.  
Началось во мне иное действие  
И к иному тянет рубежу.

Хорошо, что, тихо хорошея,  
Ты сидишь со мною у стола.  
Эти плечи, волосы и шея...  
Хорошо, что молодость прошла.

Хорошо, что в голубином взоре  
Обаянья зрелого печать.  
Хорошо, что были боль и горе.  
Хорошо, что можно помолчать.

Жизнь — неутомительное бремя,  
Если жить, как в юности, любя.  
Хорошо, что не вернется время  
То, в котором не было тебя.

## Сергей Аверинцев

### НЕСКОЛЬКО НЕУМЕСТНЫХ РАССУЖДЕНИЙ

1

Куда пишем? Да в альманах.

Филолог — человек неисправимый; вспомнив краешком сознания об «альманашиках» пушкинских времен, он закрывает глаза, видит перед собой слово «альманах», самое слово, и несколько секунд не может думать ни о чем другом.

Слово это, как всякий помнит, старинное, арабское (или арабизированное, с какой-то невнятной византийской предысторией), и взято оно из лексикона астрологов, то есть людей, в предмет забот которых входило — ловить какие-то звездные вести и предупреждения вот на этот неповторимый год. Итак, год как строго определенная «конstellация» говорящих знаков, читаемых умом звездочета как своя собственная судьба, как особое состояние всех вещей, как реаль-

ность «физиогномическая». Запах, вкус и цвет года, но также его вес, его смысл — то, что будет измеряться много позднее, но что можно почуять только сейчас, — вот что стоит или должно бы стоять за словечком, позаимствованным литераторами у звездочетов.

(Кстати о звездочетах: в рождественском сюжете они оказались, как известно, неподалеку от пастухов, и хотя как раз по этому поводу тех и других принято противопоставлять друг другу, как воплощение умственности — воплощению наивности, мне кажется, что сходство не менее существенно, чем различие. Пасты стада звезд — занятие, конечно, более хитрое и более сомнительное, чем не спускать глаз с земных скотов, но в том и другом ремесле самое главное — сидеть тихо и смиренно, не суетиться и неусыпно смотреть, что де-

ляется. Хозяин гостиницы благополучно храпел, у выскочки из Идумеи была, наверное, нервическая, мутная бессонница, и только пастухи да звездочеты несли свою службу внимания.)

Мы не звездочеты. Альманах, однако, продолжает называться альманахом, и для него порядковый номер года — тысяча девятьсот восемьдесят — не просто часть «выходных данных», как для другой книги, а нечто куда более похожее на имя, или на геральдический знак, или на обозначение загадки, для которой альманах беретя предложить целый сборник разгадок — всего себя. Как же тому, кто пишет для альманаха, не страшиться древнего укора: «Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не умеете?» Уж за собой-то я никак не могу признать умения их различать.

При чем тут я? По роду моих каждодневных занятий я должен думать скорее о каком-нибудь триста восьмидесятом годе (как раз об этих временах мне и приходилось писать последние месяцы). Грешен, когда-то я написал несколько статей о вещах более близких, например о Гессе и Вячеславе Иванове, но едва ли когда-нибудь повторю это, потому что с годами все более жестоко чувствую ревность моей профессии. И вот среди таких трудов мне приходит на ум — к моему испугу — опрометчиво данное однажды обещание написать несколько слов для «Дня поэзии». Краснея, сознаюсь, что уже много лет подряд было недосуг хотя бы заглядывать в эти сборники. И все же — пусть я ничего, ровно ничего больше не знаю о литературном тысяча девятьсот восьмидесятом годе, одно я знаю: и в этом году, как в любом предыдущем и последующем, слово надо держать. Даже такое, которого лучше бы не давать.

Деваться некуда. Попробуем искать утешения хоть в мысли, что специалист по временам давно прошедшим, худо осведомленный о текущих литературских спорах, сыграет роль Простака из философской повести эпохи Просвещения — роль гротескную, но не вовсе бесполезную...

Но о чем ему говорить? О том, как выглядит предмет его попечений и сами эти попечения в 1980 году? Как будто это так просто. Вот дилетанту — ему легко рассуждать о древности «вообще» и современности «вообще» о том, «нужна» ли древность современности, «созвучна» ли, и если да, то в чем именно. Для него, дилетанта, это самое подходящее занятие. Но для профессионала оно трудно, и, по всей видимости, несообразно. Профессионал потому и профессионал, что в своем каждодневном труде он попросту не встречается с античностью «вообще», средневековьем или Возрождением «вообще». Для него существуют такие вещи, как конкретный текст, конкретный факт, конкретная проблема. Его путь как бы сам собою, подчиняясь собственной объективной логике (это в идеале — есть же еще и внешние обстоятельства), ведет от проблемы к проблеме, и он должен научиться забывать в этом пути самого себя; последовательность проблем, показывающихся друг из-за друга, словно деревья у края дороги, строго необходима. (А для чего вообще заниматься той или иной проблемой? Внутри науки как таковой этого вопроса не существует. Каждый факт, доступный изучению и проливающий свет на другие факты, сам по себе интересен.)

Такая установка — единственно здравая и деловая, единственно научная установка. Она ограждает гуманитарное знание от дилетантского утилитаризма и дилетантской сентиментальности, от дурной привычки рассматривать наследие мировой культуры как склад возможных объектов злободневного «использования» или навязчиво-эмоционального «вчувствования». Наконец, она предохраняет от беспредметности, к которой неизбежно ведет утрата ощущения границ. (Мы упо-

требляем слово «ограниченный» как вежливый синоним слова «глупый», но пифагорейцы судили иначе: для них предел был началом благим, отсутствие предела — злым.) Как сказано в «Кандиде», «надо возделывать свой сад». Сад можно возделывать лишь потому, что это огороженное место, имеющее свои пределы; нельзя возделывать беспредельность. Наука есть наука, и она возделывает свой огороженный, ограниченный, просматриваемый «сад». Она живет конкретностью факта и объективностью факта. Войдите в мое положение — я тоже специалист, хотя, наверное, дурной.

Но к сказанному нужны две оговорки, и для меня они значат очень много.

Первая оговорка относится к конкретности научного факта. Конкретность эта в наиболее бесспорных случаях обеспечивается единичным, частным характером факта — его, как выражались схоласты позднего средневековья, «вот-этой»: вот это явление вот в этих условиях вот этого исторического момента. Однако история знает не только понятие момента: она знает также понятие эпохи, более того, понятие преемства эпох. Историческое время не расслаивается на drobный пунктир точечных моментов (*hic et nunc*) («здесь и сейчас»), словно физическое время в парадоксах Зенона Элейского, — оно образует континуум. Вопрос о частном и конкретном, обо всем, что конкретно именно в силу своей частности, — конечно, не единственный род вопроса, возникающего перед человеческим умом. Вопрос об общем так же правомочен, а главное, так же неизбежен. От него некуда уйти. Мы имели случай заметить выше, что мысль специалиста хотя бы по античной культуре нормально направлена вовсе не на феномен античности «вообще», а на конкретные факты античной культуры в их обособленности друг от друга, противопоставленности друг другу. Однако поскольку он рассматривает изучаемые им факты как факты именно античной культуры, относящиеся к этой культуре, как часть к подразумеваемому целому, как «текст» к подразумеваемому контексту, или, скажем проще, поскольку он употребляет самое слово «античность» и не может без него обойтись, — очевидно, что в его голове существует некоторое общее понятие античности. Если он из (благородной, но в конечном счете ложной) осторожности воздерживается от размышлений над этим общим понятием, это же не значит, будто общее понятие куда-то исчезло; это значит, что оно осталось непроявленным. Оно как бы спрятано в темноту, но и в темноте оно продолжает существовать и действовать, подспудно определяя невыговоренные предпосылки всего мышления исследователя. Оставаясь по сути своей спорным, каким ему и пристало быть, оно изъято из ситуации спора — спора исследователя со своими коллегами, но прежде всего с самим же собой. Было бы опасной иллюзией полагать, будто выяснение общих понятий относится, так сказать, по ведомству популяризации, между тем как специалист по истории некоторой эпохи давным-давно оставил вопрос об общем характере этой эпохи позади себя и может вернуться к нему разве что из снисхождения к потребности профанов. Нет, вопросы такого рода не могут быть решены раз и навсегда. Перед каждым поколением они стоят иначе, чем перед всеми предыдущими поколениями, а почему это так — пояснит вторая оговорка.

Вторая оговорка относится к объективности факта. Конечно, факт не может не быть объективным; сказать это — все равно что сказать: «Факт не может не быть фактом». Объективность факта — голый трюизм. Однако гуманитарное исследование имеет дело с фактами особого рода: фактами-символами, фактами-поступками, фактами-жестами, объективное само по себе содержание которых выявляется как их выразительность,

а потому улавливается при неизбежном привлечении человеческого опыта истолкователя; но опыт, как известно, у каждого свой, и тем более различен опыт разных поколений. Сократ выпил яд цикуты по приговору афинского суда в 399 году до н. э.; эта дата как таковая столь же изъята из сферы субъективного, как, скажем, цифровые данные об удельном весе вещества. Однако факт смерти Сократа имеет совсем иную смысловую структуру. Содержание этого факта — человеческая позиция самого Сократа и осудивших его афинян, которая реализовалась в ряде актов выбора: беседы Сократа — донос Анита и Мелета — отказ Сократа от бегства и от прагматически целесообразного поведения на суде — наконец, решение каждого из подающих голос судей. Любой из этих поступков в отдельности и все они вместе нечто «означают» и «выражают». Многозначительность и выразительность смерти Сократа может быть как угодно усилена, превеличена или односторонне интерпретирована творцами сократовской легенды во главе с Платоном и Ксенофонтом, но, конечно, не создана ими из ничего; с другой же стороны, сократовская легенда сама есть факт, равноправный с фактом смерти Сократа, и оба факта сами по себе вполне объективны (хотя никакой выявленной границы между этими двумя разнородными фактами объективно не дано, что уже осложняет положение). Не к нашему субъективному восприятию этих фактов, но к их объективному бытию принадлежит их способность быть значащими и выразительными<sup>1</sup> — что сближает их бытие с бытием значащего и выразительного слова. Однако слово живет как слово и сохраняет свойства слова только внутри человеческого общения, внутри ситуации диалога, и нет иного способа получить опыт его смыслоносности и выразительности, кроме единственного: самому войти в ситуацию диалога, дать слову окликнуть себя. Так обстоит дело и с историческим фактом. Это вовсе не означает пресловутого «права на субъективность». Идеал, к которому интерпретатор обязан всемерно стремиться, но который всегда остается более или менее отдаленным пределом наших усилий, — это полное преодоление, «умирание» субъективности интерпретатора в акте интерпретации; но прежде субъективность интерпретатора должна войти в этот акт. Перед ней нельзя наперед закрыть двери, ибо это означало бы закрыть двери перед человеческим

<sup>1</sup> Всякий исторический факт, всякий предмет гуманитарного анализа по определению выразителен, хотя поколение за поколением может оставаться слепо к его выразительности (скажем, дневной рацион рабов Катона Старшего по-своему не менее выразителен, чем гибель спартанцев во главе с Леонидом, хотя целые эпохи судили иначе). Именно случаи подобной слепоты делают очевидным, что выразительность исторического факта, воспринимаемая с участием нашей субъективности, сама по себе объективна и от нашего восприятия не зависит. Она входит в состав фактичности факта. Приведем здравомысленное замечание человека, имевшего к истории интерес отнюдь не академический: «Есть три способа писать историю. Старомодный способ, обычный для книг нашего детства, был картинным и притом весьма отклонялся от истины. Позднейшее и более просвещенное обыкновение, усвоенное академическими авторитетами, позволяет и дальше отклоняться от истины, но велит строжайше избегать картинности. Эти люди полагают, что, если ложь станет невыразительной, она прозвучит как правда. Третий способ состоит в том, чтобы... растолковывать читателю, что на самом деле означал картинный инцидент, не оставляя его бессмысленным и не сообщая ему ложного смысла. Надо дать правдивую картину взамен лживой картины: но нет ни малейшего резона, почему бы это картине не быть картинной» (Честертон).

опытом и человеческой отзывчивостью интерпретатора, то есть отказаться от единственного шанса действительно что-либо понять. Интерпретация — всегда двусторонний диалог, в котором одна сторона выявляется через встречу с другой: не только интерпретируемое пояснено усилиями интерпретатора, но и сам интерпретатор невольно проговаривается о себе, обнаруживает себя, подчас прямо-таки разоблачает себя перед лицом интерпретируемого. Как сказал Шиллер, «история мира есть суд над миром», но к этому надо добавить, что историк выступает не только в безопасной роли судьи — суд вершится и над самим судьей. Ученый-интерпретатор осуществляет дело интерпретации прошлого от имени своего поколения и своего «круга», он стоит между прошлым и своими современниками, получая от последних многообразные импульсы (роль которых в науке бывает очень темной, но никогда не может быть только темной). А потому буду надеяться, что я именно как специалист емь современник всех своих современников (например, поэтов), и не потому, что предпринимаю какие-то специальные усилия «не отстать» и «быть на уровне», вообще не потому, что мне так хочется, а просто потому, что так есть и не может быть иначе. Или все-таки может быть — но тогда контакт с прошлым тоже становится иллюзией: перелицовывая старое изречение, спрошу себя — не любя современника своего, которого видишь, как можешь любить Плутарха, или Бозция, или Романа Сладкопевца, которых не видишь? (Конечно, любить своего современника — вовсе не значит не сердиться на него, быть в мире с его вкусами и т. п.; но этого нет нужды объяснять никому, кто любит и кого любят.) «Всех живущих прижизненный друг» — какой-то отблеск этого должен присутствовать не в эмоциях интерпретатора, не в его настроении, но в реальности его труда; в противном случае ему лучше заняться чем-нибудь другим. Я своего гуманитарного дела не бросаю — значит, пребываю в доброй надежде, что со мною в мои лучшие минуты все обстоит отчасти так, как нужно. А правда это или нет, я не знаю и знать не могу — никто себе не судья.

## 2

Еще раз: человеческий ум может истолковывать историю не только «вопреки» тому, но прежде всего благодаря тому, что обладатель этого ума сам вовлечен в историю и через это знает ее на опыте («на своей шкуре»); как говорили в старину, подобное познается подобным.

Должно быть, это докучнейший трюизм для того, кто отродясь хлопотал только о «связи с жизнью», не пережив и не перестрадав противоположной стороны истины — необходимости беречь опрятность научной атмосферы от посторонних воздействий и внушений, от некомпетентных требований, от поверхностной злобы дня, вообще от всего, что Френсис Бэкон назвал призраками рода, призраками пещеры, призраками рынка и призраками театра. Но если видеть и Сциллу и Харибду сразу — во-первых, императив интеллектуальной чистоты, который сам по себе грозит бесплодием, во-вторых, императив «творчества», который сам по себе грозит мутным пузырящимся кипением какого-то сомнительного варева, — тому не до шуток. (А если кто думает, что достаточно беречься «преувеличений» и «крайностей», делать «как все», то он, по-видимому, еще не имел дела с императивами. Скажут, что императивов не нужно «абсолютизировать»; так что же, релятивизировать их, что ли? Нужен не компромисс, а контрант — но как его достичь?)

...Я думаю, что неплохой знак для литературного тысячелетия девятнадцатого века — одна статья о вещах двухтысячелетней давности: вступительная

статья М. Л. Гаспарова к переизданию однотомника Вергилия, вышедшего как раз на пороге года. Это статья именно о Вергилии, не о неком фантоме, созданном на потребу злости дня. Но эта статья, очень существенно связанная с жизненным опытом «времени и часа», как сказано где-то у Вячеслава Иванова. Неподдельный привкус целомудрия и мужества в самом построении фраз, чудная суровость тона, изгоняющая все тепловатые, безответственные эмоции, изгнание пресловутой «раскованности», благородное соединение аскезы и свободы — все это я ощущаю очень нужным сейчас, именно сейчас. (Всякий, кто читал Гаспарова и читал меня, знает, что мы почти ни в чем не единомысленны и вовсе ни в чем не схожи, что теплой компании нам ни за что не составить и что радуюсь я его статье не потому, что сам написал бы ее примерно так.) Возможна ли была бы ранее столь трезвая и столь адекватная интерпретация Вергилиева взгляда на чувственную любовь — интерпретация, на которую ни «викторианская» идеализация влюбленности, ни «антивикторианская» апология чувственности не положила ни легкой тени? Или даже так: кто посмел бы перевести *improbus* в приложении к труду самым точным словом — «недобрый»? Выписываю это место, опуская, понятно, ссылки на текст «Буколик»:

«В строе природы человеку назначено свое место, и назначение это — именно в том, чтобы плыть против течения природы. Всю эту диалектику Вергилий вмещает в одно-единственное слово, ключевое для поэмы: «недобрый труд все победил». Труд — «недобрый» (*improbus*), потому что для человека он — тягость, а для природы он — насилит; но только он ведет их к общему их благу. Ближайшие участники этого блага — крестьяне (...), им посвящает Вергилий знаменитое словословие: «О, блаженные слишком — когда

бы свое счастье знали! — жители сел...» И опять в этой хвале — диалектический парадокс: как благодатный труд оказывается «недобрым», так благодатное счастье — «незнаемым»: счастье — в свободе от мнимых благ похоти, тщеславия и корысти, а люди не понимают этого и по-прежнему тоскуют по ним. Настоящее счастье — это отречение от счастья».

Здесь каждое слово относится к стоической концепции Вергилия, ни одно слово, боже избави, не сказано в назидание современникам. Но видение целого очень современно; оно по-своему так же необходимо сейчас, как великий миф «карнавализации» был неизбежен вчера.

А том Вергилия достать трудно, и мне хочется выписать еще один абзац — итоговый:

«А стоит ли рок славы? Стоит ли возрождение смерти? Не обманет ли будущее? Всем смыслом своего творчества Вергилий отвечал: стоит. Он был человеком, который пережил конец света и написал IV эклогу: он верил в будущее. Иное дело — его читатели: они относились к этому по-разному. Были эпохи, верившие в будущее и отрекавшиеся от прошлого, и для них героем «Энеиды» был Эней; были эпохи, предпочитавшие верить в настоящее и жалеть о прошлом, и для них героем «Энеиды» была Дидона, о которой сочинялись трогательные драмы и оперы. Вергилий тоже жалел свою Дидону, и жалел горячо, — но так, как зоркий жалеет близорукого. Его героем был не тот, кто утверждает свою личность, а тот, кто растворяет ее — в круговороте природы и в прямоте судьбы. О таких он мог сказать, как сказал о своих крестьянах: они счастливы, хоть и не знают своего счастья».

Вот с каким вдумчивым, строгим сочувствием можно услышать старый, поколениями не слышанный голос. По-моему, это не так мало.

Андрей Чернов

## НА ПОЛЯХ ПЕРЕВОДА

*Д. С. Лихачеву*

И снова гарью к потолку  
Алхимии алмаз.  
Рифмую «Слово о полку»  
В четырехзначный раз.

Но все молчат мои князья,  
Как перед толмачом.  
И отомкнуть их речь нельзя  
Ямбическим ключом.

«Ты — сам, мы — сами по себе,  
И твой язык — не наш!»  
И тает в грифельной гульбе,  
И брызжет карандаш.

\* \* \*

Все грядущие печали —  
На конце карандаша.  
Зрит неведомые дали  
Дальнорзкая душа.

И тревожимся до срока.  
И предчувствуем, когда

Нестройный этот хор один  
(впервые, может быть):  
«Что знаешь ты, простолоудин!  
Как смеешь ты судить!»

Хотя сдается, что не раз  
Все эти речи, все  
И тот, не названный сейчас,  
Слыхал — на колесе.

Что ж, в наших силах — до конца  
Продолжить разговор:  
«О князь, как звать того певца?»  
И князь ответит: «Вор».

Понемногу, издали  
Приближается беда.

А потом острим за чаем  
(Интуиция — вранье).  
И беды не ощущаем  
За мгновенье до нее.

## Юнна Мориц

### НАДЕЖДЫ — ВОТ ПРИЧИНА СЛЕЗ!

Надежды — вот причина слез!  
Подите прочь, сердца невежд!  
Поэт не плакал бы всерьез,  
Когда бы не было надежд!

Он — не чувствительный герой  
С прикрасой мокрых уст и вежд,  
Но он рождается порой,  
Когда полным-полно надежд!

Когда надежд полным-полно,  
Поэт рождается на свет,

И жить ему не суждено,  
Когда надежды больше нет!

Надежды свет — его глазам  
Доступен больше, чем другим.  
Москва, поверь его слезам,  
Хотя не веришь никаким!

Поверь слезам его, Москва!  
Сей рев — не от плохих одежд.  
Он плачет — значит, в нем жива  
Надежда жить не без надежд.

\* \* \*

Я вся содрогаюсь при мысли о том,  
Что дух мой прославиться может.  
Мне страшно, что вот я умру, а потом  
Любой меня хам потревожит.

Он в полночь поставит на стол без гвоздей  
Свечу и хрустальную вазу  
И блюдце раскрутит со сворой гостей,  
Чтоб реял мой дух по заказу.

О боже, как тошно сей мир посещать  
По зову кликуш всевозможных,  
Являться из вечности, чтоб отвечать  
На кучу вопросов ничтожных!

Нет, я приготовлю на тысячу лет  
Образчики вещей ответов:  
«У цели тебя ожидает брюнет!»  
«Купи лотерейных билетов!»

От пошлых вопросов зубами скрипя,  
Отвечу из гущей кофейных:

— У цели брюнет ожидает тебя!  
— Билетов купи лотерейных!

Подпрыгивай, блюдце! На каждый секрет  
Годится любой из ответов:  
— У цели тебя ожидает брюнет!  
— Купи лотерейных билетов!

Гадальщику волосы дыбом клубя,  
Две фразы шепну чародейных:  
— У цели брюнет ожидает тебя!  
— Билетов купи лотерейных!

Что блюдце?! Я стол крутану, табурет  
И взвою в манере поэтов:  
— У цели тебя ожидает брюнет!  
— Купи лотерейных билетов!

Но как возвращаться потом по верхам  
К объятиям вечности братским?..  
Пусть только посмеет мистический хам  
Будить меня зовом дурацким!

\* \* \*

Страшна не грязная волна,  
Не грозный атаман,  
А нечисть мелкая страшна  
И вековой дурман,  
В котором вьется мелкий бес,  
Швыряя люд в огонь,  
Чтоб вонь стояла до небес  
И жизнью стала вонь.  
Но жребий моря и зари,  
Снегов, дождей, ветров —

Прекрасен, что ни говори  
О лучшем из миров,  
Где омывает свет сквозной  
Всю землю по утрам,  
И продувает ветр морской  
Ее по вечерам,  
И чистый снег летит с высот,  
Отбеливая грязь,  
И наши слезы, кровь и пот  
Кругом цветут искрясь.

## Наталья Аришина

\* \* \*

По сухим большакам приазовским,  
мимо хат и соломенных скирд,  
неужели к поминкам отцовским  
этот пыльный автобус спешит?

В эту ночь я в дорогу пустилась,  
спотыкаясь, не видя ни зги.  
И мерещилась мне, а не снилась  
телеграмма в четыре строки.

Но воскресло под низкою крышей  
в приазовской сожженной степи

\* \* \*

У саманной приземистой хаты  
на плетне просыхают холсты,  
у печи отдыхают ухваты.  
И другие приметы просты.  
К обиходу я здесь непривычна,  
но сегодня и это не в счет:  
слышу — песня (девичья или птичья?)  
над вечерней станицей плывет.  
Как взята непокорная нота!  
Сколько лет я ловила ее...  
Мимолетное, смутное что-то,  
но уже не мое, не мое!

все, чем жил он. Все чище, все выше,  
память, образ отцовский лепи.

Выхожу и сажусь на ступени.  
Тихо, с бабкиным голосом в лад,  
неизвестные слабые тени  
окликают — и мимо сквозят.

От тамбовской крестьянки Арины  
да от вольницы южных степей —  
что мне дадено? Только кручина,  
только слово, рожденное в ней.

В рослых мальвах, в сухой повители  
по натруженной летней земле  
все брожу да брожу не при деле,  
позабывши тетрадь на столе.  
И признаюсь себе без утайки  
в самых горьких и жестких словах —  
из-за песни одной молодайки,  
той, что пела, как птица, впотьмах.  
Ах мотив, как он прост и неспешен!  
И, пока не забрезжит рассвет,  
в тонких ветках отцветших черешен  
охнет ветер — и эхо в ответ...

## Борис Воробьев

### КОСТЕР

Лишь догорит закат, и сыростью ночью  
Повеет от земли, и загустеет синь,  
Я разожгу костер над заводью речною,  
Спугнув с заветных мест русалок-берегинь.

И в круг огня войду. На мох прохладный сяду.  
И у границ костра, очерченных огнем,  
Сойдутся свет и тень. И вдруг возникнут рядом  
Химеры темноты, талящиеся днем.

И различу сквозь дым я чей-то взгляд горящий,  
Расслышу, как шипят рептилии в лесу,  
Как пугы тклет паук, как кто-то уходящий,  
Задев полночный куст, стряхнет с него росу.

Покроет топот все. И встанут за спиною  
Лесные существа, в затылок мне дыша.  
И кровь прильет к вискам горячею волною,  
И, словно в смертный час, возвысится душа...

Очнусь. Возьму топор. Подброшу на уголья  
Охапку сушняка. Махорку закурю.  
Достану хлеб и лук, тряпицу с крупной солью  
И, зачерпнув воды, брусничный чай сварю.

И будет длиться ночь. И будут до рассвета  
Витать над головой мохнатые сычи.  
И будут силы тьмы бороться с силой света  
Неяркого костра, горящего в ночи.



## Маргарита Ногтева

### ХРАМ МАЙДАРИ

Красный всадник застыл на скале...  
Ветер пьет медоносные травы...  
На скупой камнерыжей земле  
Правы древние мудрые храмы.

Прав их вещей могучий язык...  
Зло повержено. Лики умыты.  
И неспешно протянет старик  
Белопенные плоски кумыса...

Козья ножка торчит изо рта,  
А глаза — как зеницы косули...  
У народа — своя правота.  
Почему же она наказуема?

Неужели бесстрашный язык  
Глух и нем перед правдой жестокой  
И привычно уходит родник  
В жестяной желобок водостока?..

## Григорий Корин

\* \* \*

Я прожил безлюдно. И скудно  
Встает надо мною рассвет.  
И некого вспомнить, и трудно  
О тех вспоминать, кого нет.  
Почтовый свой ящик в подъезде  
Открою почти перед сном  
С газетой, торчащей из жести,  
И редким порою письмом.  
По краю конверта простого  
Я ногтем тогчас проведу,—

И чье бы то ни было слово,  
Я лучшего слова не жду.  
Юнец ли меня озадачит,  
Иль старый знакомый, вина,  
Я большей не знаю удачи,  
Чем голос, настигший меня.  
Леском вдоль глухого забора  
Пойду я, безлюдный жилец,  
И вспыхну внезапно от взора  
Пяти олимпийских колец.

## Алла Стройло

### ДОЧКИ-МАТЕРИ

Никакие клятвы не спасут,  
Никуда от этого не деться,  
Скоро, скоро дочки принесут  
Розовых спеленатых младенцев,  
Приведут, коль раньше не сбегут,  
Их отцов, усатых, волосатых,

В бородах и в куртках полосатых,  
И начнется в доме новый гуд,  
Новый год и новая эпоха,  
Ручейки в колясках зажурчат.  
Господи, да разве это плохо —  
В новый век я провожу внучат.

\* \* \*

Пойду я в лес за прошлогодним снегом  
И бабу прошлогоднюю слеплю,  
И баба вслед умчавшимся телегам  
Вдруг дико крикнет древнее:

«Люблю!»

Опомнись ты, дуреха ледяная,  
Кому он нужен, прошлогодний снег?  
А впрочем, я сама все это знаю:  
Услышь меня, мой снежный человек.



## Ольга Ермолаева

\* \* \*

...А я попросила бы тихо судьбу  
всего об одном одолженье...  
Не нажито золота, и серебру  
в кудрях не сыскать примененья;  
бесхитростен мой деревянный чертог,  
в нем нету посуды хрустальных,  
рабочее место мое — чурбачок  
пред печкою, где умывальник.  
Я многих детей не смогу народить —  
единственной род свой восполню,  
о многих краях не смогу говорить —  
я Дальний Восток слишком помню.  
Так вот... Я хотела бы... После... Потом,  
когда подойдут мои сроки,

за мной перевозчик пусть ладит паром,  
но только — на Дальнем Востоке!  
Уж чем — я не знаю — придется мне стать,  
а все же с родней и природой!..  
Там реченьке нашей вольно отражать  
речную сирень со смородой.  
И пусть водокачка качает всегда  
на школы и станцию воду...  
Перроном, где вечно стоят поезда,  
прошлое полдержавы народу.  
А там, за рекой, что болотищ и роц!  
Тайга подымается круто...  
Смотри, перевозчик, смотри, водогребщик,  
пожалуйста, не перепутай...

## Виктор Гончаров

### КОЛОДЕЦ

А у меня колодец под окном.  
Лет тридцать воду из него не брали.  
Весь скосбоченный, он думает о том,  
Что все венцы уже гнилыми стали.  
Что редко кто возьмет худым ведром  
Его воды, чтобы полить деревья.  
Колодец милый думает о том,  
Кому такой и для чего теперь я.  
И весь он как бы обращен во тьму,  
В которой очень трудно разобраться.  
Детишкам не дозволено к нему  
Ни в коем разе слишком приближаться.  
Внутри он весь припорошен трухой,  
Ветрами доску с крышки оторвало.  
Плохой он стал уже, совсем плохой,  
Но до него нам, людям, дела мало.  
И проживает в нем большой паук,  
Букашки разные и две прекрасных жабы.  
А по ночам какой-то странный звук  
В нем раздается, будто стонет слабый,  
Которому уже нельзя помочь,  
Который с этой жизнью расстается.  
Как от беды, готов бежать я прочь,  
Когда тот звук утробный раздается.  
С годами стал я слишком дурно спать.  
Кошмары разные.  
То падаешь, то тонешь.  
— Сыночек мой,—  
Сказала как-то мать,—  
Ты по ночам, что тот колодец, стонешь.

## Николай Флёров



Как же это мне соединить —  
Сердца боль и озера свеченье,  
Где заката солнечная нить  
Зажигает в гребнях излученье?

Как же примирить между собой  
Тяжесть лет и молодость порыва,  
Что счастливо или несчастливо  
Соединены с моей судьбой?

Как же уместить печаль, что гложет  
И что не прошла и не пройдет,

С радостью, что охватить не может,  
Но уже близости поет?

Не поспоришь с вечностью-громадой,  
Жизнью так заведено самой:  
Пой и плачь, пляши и навзничь падай,  
А потом опять и плачь и пой.

И не рвется этой жизни нить —  
Грусть и радость, ласка и немилость...  
Спрашиваешь: как соединить?  
А оно давно соединилось...

## Арсений Тарковский

### ТАЙНА ЕЕ ПОЭЗИИ

После смерти В. Я. Брюсова закончил свое существование и Литературный институт его имени. В 1925 году в Москве возник новый Литературный институт — теперь при Союзе поэтов. На старшие курсы перешли Брюсовцы. Наш первый курс новобразованного вуза разбился на семинары поэтов, прозаиков, драматургов, на тесные дружеские кружки. Мария Петровых и я оказались в одном из них. С тех пор до ее кончины в 1979 году, в течение пятидесяти четырех лет, наши дружеские отношения не прерывались, разве только на годы войны.

Подборку стихотворений Марии Петровых, предлагаемую вашему вниманию, можно было бы начать стихотворениями и более ранними — 1925-го, а может быть, и 1923 года. Есть вокалисты, у которых врожденный хорошо поставленный голос. Такой врожденный хорошо поставленный поэтический голос был у Марии Петровых. Конечно, ее поэзия совершенствовалась от года к году, углублялась, открывала для себя более широкие горизонты, но в своем развитии не отступала далеко от заданной в ранней юности дороги.

Стихи Марии Петровых свидетельствуют, что она любила жизнь, хоть и вглядывалась в нее не сквозь розовые очки. Баловнем жизни быть ей не довелось, многие ее стихи проникнуты душевной болью. В единственной книге Марии Петровых глубокий след оставила Отечественная война 1941—1945 годов. Жаль, что в этой подборке нет ни единого стихотворения из цикла тех лет. Даже любовь для Марии Петровых скорей несчастье, чем счастье:

В ту ночь подошло, чтоб ударить меня,  
Суровое, бронзоволикое счастье.

В другом стихотворении:

Увечья не излечит мгновение покоя,  
Но как тепло на солнце и как легко в тени.

Наедине со стихами ее душа, столь надежно вооруженная поэтическим дарованием и, казалось, столь безнадежно беззащитная, вела сама с собой постоянно возобновляющийся спор. В этом споре последнее слово оставалось за поэзией.

Почему при жизни Марии Петровых была издана только одна ее книга — далеко не полный сборник

оригинальных стихотворений и стихотворных переводов с армянского? Да и эта книга была собрана и опубликована без ее участия ее армянскими друзьями. Может быть, виновна в этом замкнутость ее души? Может быть, чрезмерная скромность? Пожалуй, втайне она знала себе цену, тем более что стихами ее восхищались такие авторитеты, как Пастернак, Мандельштам, Антокольский. По утверждению Ахматовой, одно из лучших лирических стихотворений написано Марией Петровых. Может быть, Мария Петровых предъявляла к себе непосильные требования? Нет, ее дарование было исполнено сил. Странно, не правда ли? Но не будем разгадывать загадок Марии Петровых.

Тайна ее поэзии не в этом.

Еще в ранней юности, никому не подражая, Мария Петровых заговорила взрослыми стихами. В ряду нашей большой поэзии ее стихи делают чудом глубина замыслов и способность к особому словосочетанию, свободному от чьих бы то ни было влияний. Подобно всем истинным поэтам, и у нее слова загораются одно от другого, и свету их нет конца. Тайна поэзии Марии Петровых — тайна сильной мысли и обогащенного слова.

Обратимся ради наглядности к «Евгению Онегину» Пушкина. Этот роман в стихах — дело рук высокой поэзии и потому полон чудес. Вот одно из них:

Татьяна то вздохнет, то охнет,  
Перо дрожит в ее руке,  
Облатка розовая сохнет  
На воспаленном языке.

Речь идет о самой обыкновенной облатке, такими заклеивали письма. Здесь она розовая, она сохнет на воспаленном языке. Если обойти стороной несложную метафору «Перо дрожит в ее руке», то в этом четверостишии никаких метафор, как их трактует поэтика, нет. Зато здесь каждое слово — метафорично, потому что оно слово обогащенное. Вдохновение Марии Петровых знает свой способ претворения, обогащения простого слова из разговорного языка. Ее тайна в том, что она подлинный большой поэт.

Читатель обнаружит в юношеских ее стихах черты экспрессивного стиля:

Даль недолетна. Лишь слышно от холода:  
Звезд голубые хрящи хрустят.

Позже эти черты сгладятся. Повзрослев, поэт доверчивой отнесется к идее стихотворения, к своему замыслу, к возможностям их словесного воплощения. Метафора утратит свою непрекаемую власть над стихом. Тогда счастливое чувство крылатой свободы полета передастся и нам, читателям.

Стихи Марии Петровых открывают перед нами ее замкнутую, смятенную душу и говорят о духовной сущности поэта больше, чем кто бы то ни было может сказать. А еще большего нам знать не надо. Разве не достаточно стихов, чтобы мы могли безошибочно понять духовную сущность поэта? Пусть литературоведы будущих времен гадают, кто адресат такого-то стихотворения, лучше обойтись без этого. Особенно когда у нас на слуху применимые к любому из нас, такие нелживые, такие открытые стихи.

Многое осталось за пределами этой заметки. Можно было бы рассказать, что Мария Петровых родом из Ярославля — древнего города, и в ее поэзии чувство истории играет не самую малую роль. Что она исчерпывающе и глубоко знала и понимала творчество Пушкина. Что она одна из лучших переводчиц иноязычной поэзии. Что она оставила преданных ее памяти учеников, бережно и внимательно воспитанных ею. Что ее преданность поэзии — подвиг. Пусть же он навсегда останется примером для всех нас, пишущих стихи! Трудно представить себе, что место ее опустело и теперь ее нет среди нас. Тема Марии Петровых слишком значительна для небольшой заметки.

Верю, что стихи Марии Петровых будут изданы во всей их полноте и доверены читателям, что ждать этого придется недолго. Уже давно ясно, что русская советская поэзия немислима без большой поэзии Марии Петровых.

*Мария Петровых*  
1908—1979

*Наши публикации*

\* \* \*

Полдневное солнце дрожа растеклось,  
И пламень был слизан голодной луною.  
Она, оголтелая, выползла вкось,  
До скул налакавшись зенитного зною.

Себя всенебесной владычицей мня,  
Она завывала багровою пастью...  
В ту ночь подошло, чтоб ударить меня,  
Суровое, бронзоволикое счастье.

1929

НОЧЬ

Ночь навпает стывущей, стонущей,  
Нáтуго кутая темнотой.  
Ласковый облик, в истоме тонущий,  
Манит, обманывая тобой.

Искрами злыми снега исколоты.  
Скрип и гуденье в себе таят.  
Даль недолетна. Лишь слышно от холода:  
Звезд голубые хрящи хрустят.

27/XI-27

\* \* \*

Стихов ты хочешь? Вот тебе —  
Прислушайся всерьез,  
Как шепелявит оттепель  
И как молчит мороз,

Как воробьи, чирикают,  
Кропят следками снег  
И как метель великая  
Храпит в сугробном сне.

Белы надбровья веточек,  
Как затвердевший свет...  
Февраль маячит светочем  
Предчувствий и примет.

Февраль! Скращенье частей,  
Каких разлук и встреч!  
Что б ни было — отмучайся,  
Но жизнь сумей сберечь,

Что б ни было — храни себя.  
Мы здесь, а там — ни зги.  
Моим зрачком пронизывай,  
Моим пыланьем жги,

Живи двойною силою,  
Безумствуй за двоих.  
Целуй другую милую  
Всем жаром губ моих.  
[1935]

\* \* \*

Ты отнял у меня и свет и воздух.  
И хочешь знать — где силы я беру,  
Чтобы дышать, чтоб видеть небо в  
звездах,  
Чтоб за работу браться поутру.  
Ну что же, я тебе отвечу, милый:  
Растоптанные заживо сердца  
Отчаянье вдруг наполняет силой,  
Отчаянье без края, без конца.

[50-е годы?]

## ПЛАЧ КИТЕЖАНКИ

Боже правый, ты видишь  
Эту злую невзгоду.  
Ненаглядный мой Китеж  
Погружается в воду.  
Затонул, златоглавый,  
От судьбы подневольной.  
Давней силой и славой —  
Дальный звон колокольный.

Затонул, белостенный,  
Лишь волна задрожала  
И жемчужная пена  
К берегам отбежала.  
Затонул, мой великий.  
Стало оглядь безмолвно,  
Только жаркие блики  
Набегают на волны...  
[Начало 60-х годов]

## ЗАВЕЩАНИЕ

(Отрывок)

...И вы уж мне поверьте,  
Что жизнь у нас одна,  
А слава после смерти  
Лишь сильным суждена.

Не та пустая слава  
Газетного листка,  
А сладостное право  
Опережать века.

...Не шум газетной оды,  
Журнальной болтовни,—

Лишь тишина свободы  
Прославит наши дни.

Не похвальбой лукавой,  
Когда кривит строка,  
Вы обретете право  
Не умолкать века.

Один лишь труд безвестный —  
За совесть, не за страх,  
Лишь подвиг безвозмездный  
Не обратится в прах...

Публикация Н. Н. Глен

В сборнике «День поэзии 1979» редколлегия представила читателям несколько молодых поэтов.

Прошел год. Что сделано ими за это время?

Поэты отвечают на этот вопрос новыми стихами.

## Евгений Юшин

\* \* \*

На холоде лютом у братской могилы стою,  
И каменный парень молчит, замахнувшись гранатой.  
Он так и остался стоять в том последнем бою.  
Давно уже стаял тот рыхлый снежок розоватый.

На холоде белом суровые рядом стоим,  
И зимние тучи тревожно с востока темнеют,  
И каменный парень с гранатой бросается к ним,  
И чувствую я, как ладони мои каменеют.

И руки и плечи мои застывают в гранит,  
И вьюга бушует над крышами тихих селений,  
И наша земля, словно камень, летит и летит  
По диким просторам холодной и мрачной Вселенной.

\* \* \*

Курила конопатая пацанка  
На прибайкальской станции Слюдянка.  
А он, Байкал, дымился, голубел.  
Тащили бабки теплую картошку,  
Редиску, лук (мы брали понемножку).  
И парень в куртке под гитару цел.

Он цел о глине, сопках и о БАМе.  
Гудели расфуфыренные бабы,  
И сосны в небо двигали стволы.  
Кого-то матерщинно обругали.  
Кедровые орехи предлагали  
И свежий омулек из-под полы.

А впереди нас ожидала стройка,  
Речушка Нюкжа и в общаге койка,  
Танцульки в клубе, и работы шум,  
И гордость очарованных скитальцев —  
На рельсах отпечатки наших пальцев,  
На стройке отпечаток наших дум.

И было столько солнечного рая,  
Что не манила нас судьба иная  
И мысль о доме не слезила глаз.  
Сиял Байкал — мы ехали к Амуру,  
С девчонками крутили шуры-муры,  
И, как хмельных, покачивало нас.

\* \* \*

Кем послана ты мне,  
Печаль, невеста?  
Целебной добротой.  
Березою свети.  
Оглянешься —  
И с места не сойти  
Россия — заколдованное место.









## Владимир Урусов

### ДОМ

Дверь на запад, окно на восток.  
Гул войны наплывал здесь негромко.  
Словно пуля вонзилась в висок —  
подкосила тебя похоронка.

Все равно тебя люди снесут,  
человечество печки растопит,

подадут на какой-нибудь суд  
или смоеет река да утопит.

Но в потоке стремительных дней  
я отмечу хорошую дату!  
В мире тайном печальных теней  
послужи дорогому солдату.

\* \* \*

Оркестр под гром большого барабана,  
как тигр бенгальский, тяжело вздохнул,  
взревел и в белом облаке тумана  
толпу студентов разом всколыхнул.

И отозвались два пенсионера  
на звуки беспокойные вдаль:  
— Проклятая космическая эра,  
потиху сделать громкость не могли...

Они, конечно, рассуждают здраво.  
Но, черт возьми, жизнь наша коротка!  
Угомонится юная орава,  
едва накрутит спутник три витка.

И скоро мимо них пройдет шарманщик,  
паяц в американских джинсах «Ли»,  
сквозь древний город мой, волшебный ящик,  
хранящий дух Владимирской земли.

\* \* \*

Как чист опьяняющий воздух.  
В нагую березу влюблен,  
в сентябрьских маршалских звездах  
блистает над озером клен.

И бездна угрюмая дышит  
и шепчет с безмолвной тоской  
о том, что никто не услышит  
в ее глубине колдовской.

Люблю я в такую погоду  
вдоль берега шляться весь день,

ловить сквозь прозрачную воду  
русалки невидимой тень.

Удаче, как женщине, веря,  
я знаю, что лжива она.  
И вздрогнут глухие деревья,  
и в берег забьется волна.

Рассеется эхо, взлетая,  
всплывет на воде чешуя —  
как будто листва золотая  
осыпалась с громом ружья.

\* \* \*

Девушка да шляпка меховая.  
Поскрипели тихо тормоза —  
навсегда уплыли из трамвая  
глухие прекрасные глаза.

И кому до нас какое дело.  
Я жевал билет счастливый свой,  
а она вздыхала и сидела,  
прислонясь к стоп-крану головой.

Вот и все, что было между нами.  
Но я был расстроен, как никто,  
уступая место старой даме  
в заграничном кожаном пальто.

И когда вагон умчится быстрый,  
молния ударит в провода,  
упадет на рельсы белой искрой —  
я тебя забуду навсегда.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ СТАНСЫ

Я подумал о родне:  
как живут они одне, два стареющих супруга,  
пара грустных москвичей, —  
полагаясь на врачей, уповая друг на друга?

Страх представить их досуг.  
Чтение книги, частый стук молотка, сученье пряжи,  
шлянье в четырех стенах,  
поздний завтрак (сыр-чанах, кружка теплой простокваши).

Хоть бы кто их навестил — пражским тортом угостил,  
приволок с базара елку, скрасил пару выходных —  
безысходных, шебутных,  
протекающих без толку.

Хоть бы кто-нибудь живой  
(хмурый пес сторожевой,  
птица в клетке, рыба в банке, дрессированный сурок)  
оттянул их сжатый срок, оберег от лихоманки.

Даже письма их несут на себе кошмарный зуд  
пенсионного режима.  
Мысли скачут вроде блох.  
Почерк — тот и вовсе плох: худосочный, без нажима...

Что касается меня, я живу, переменя  
на огромный деревенский неподвижный табурет  
стул восьмидесяти лет,  
городской, скрипучий, венский.

Каждый маленький пустяк  
здесь имеет свой костяк, положение и опору.  
Даже пар над чугуном  
и лопата, черенком прислоненная к забору.

Шифоньер, сундук, буфет, серый марлевый букет  
и паркет морковных грядок  
невозможно истребить,  
переделать, раздробить, привести в иной порядок.

Крепость, данная селу,  
сообщается всему, что лежит в его тарелке.  
Побуждает к рубке дров, содержанию коров  
и игре с детьми в горелки.

Жизнь — вполсилы, вполдуши.  
Ранний вечер — свет туши,  
полдень — прыгай очумело перед школьной доской  
с мягкой губкою морской и куском сырого мела...

Но такая форма дней  
переносится трудней и мучительнее втрое:  
мешковата, широка —  
что-то вроде пиджака довоенного покроя.

Этот драповый пиджак  
затормаживает шаг городской сумбурной речи,  
поминает о судьбе,  
натирает при ходьбе поясицу, грудь и плечи.

Он скорее по плечу пожилому москвичу —  
тот не глядя, по привычке отогнет воротничок,  
ворошиловский значок  
привернет к тугой петличке.

Выйдет с лейкой в огород.  
Будут ласточка и крот заниматься с ним в артели  
воспитанием плодов  
от апрельских холодов до сентябрьской метели.

Право, так куда умней:  
мне — вернуться в мир камней, сад железных насаждений,  
а родителям — свезти скарб в деревню и вести  
счет остатку дней рождений...

Только кто нам без труда поручится, что тогда  
мать с отцом отвыкнут разом  
ждать детей в пустом доме,  
до утра глядеть во тьму, напрягая бедный разум?

Где гарантия, что им —  
всеми брошенным, больным, в брызгах стариковских пятен,  
неустроенным, седым —  
этот желтый едкий дым  
будет сладок и приятен?

## *Геннадий Красников*

\* \* \*

В предчувствии пути с утра ребенок плачет,  
пока на сборы нам еще отпущен час,  
как будто малышу вдали уже маячит  
какой-то жуткий свет — невидимый для нас.

А в доме толкотня, и вспышки полуссоры,  
и взгляды на часы: минут пятнадцать есть...  
Но в комнате — вчера еще такой просторной —  
среди этой суеты вдруг стало негде сесть.

Вдруг вспомнили: опять не полита рассада!  
Вдруг — музыкой дите решили развлекать,  
но только громче плач. «Вот, господи, досада,—  
давно бы надо нам настройщика позвать...»

Ну, вот и все. Пора. И слезы подступают.  
Случайные слова. Руки незрячий взмах.  
Ну, вот и все. Уже ребенок засыпает,  
недетскую храня усмешку на губах.

## МОЯ ВЕРА

То ночь, то вокзал, то прощанья, то лица, то листья —  
медальоновидные,

то — электричек сигнал...

А в сумме последней — все это и будет столица:  
то листья, то лица, то ночь, то итог, то вокзал.

В других городах то же самое, в общем, но только —  
в других сочетаньях, другие количества — и  
там, может, листья беспощадней осенняя топка  
и, может, кому-то большее прощанья твои.

В других городах, как припомнится, может быть, позже —  
ты в детстве однажды шкатулку иль банку открыл —  
в ней от чемоданов был ключик, на крестик похожий,  
что дед твой безбожный на грязной веревке носил.

Ты выбрал дорог и вагонов веселую ересь.

От города,

от оренбургских метелей отвык,  
от дома того, где слезам твоим все еще верят,  
которым не верит, не верит Москва в этот миг.

## *Маргарита Редькина*

### КУВШИНКА

*Л. К. Татьянической*

На болоте, где стрекоз пушинки  
Затерялись в рощах тростника,  
Распустилась нежная кувшинка  
На верхушке самой стебелька.

Засыпала в розовом бутоне,  
Положив головку на листок.  
На воде глазастые тритоны  
Ей из ряски делали венки.

Но пришел волшебник как-то летом,  
На плече с ученою совой.  
Из цветов насобирал букеты  
И кувшинку он унес с собой.

У ручья, прозрачного как льдинка,  
Он цветок болотный посадил...  
Кто увидит белую кувшинку,  
Пусть напьется из нее воды.

Его след туманы заматали,  
Застилали небо облака.  
А кувшинка солнечным бокалом  
С этих пор стоит у родника.

# ТВОРЧЕСТВО

Пуд,  
как говорится,  
соли столовой  
съешь  
и сотней папирос клуби,  
чтобы  
добыть  
драгоценное слово  
из артезианских  
людских глубин.

*Владимир Маяковский*

Говорят, что поэты много пишут о стихах. Хорошо это или плохо? Разумеется, хорошо, если стихи хорошие, и плохо, если они плохие.

Но если говорить всерьез, то тема творчества — одна из самых важных, прямо связывающих поэта с жизнью. Осознание своего места и назначения в поэзии, осмысление роли художника в духовной жизни общества — это всегда волновало и будет волновать поэтов.

*Лев Ошанин*

\* \* \*

В годы первой пятилетки,  
Набирая мастерство,  
Про снотворные таблетки  
Мы не знали ничего.  
А теперь порой ночью,  
Чтобы снам я был бы мил,  
На столе передо мною  
Гость нередкий — барбамил.  
Чем похвастать, друг правдивый,  
Можешь ты, мое перо?  
Был президиум на диво,  
Было два бюро с активом  
И еще одно бюро.  
А потом весьма толково  
При тропической погоде  
(Хоть бы дождь или туман!)  
С Ярославом Смеляковым,  
С Солоухиным Володей  
Мы писали длинный план.  
План собраний и разборов,  
Мудрых поисков блохи,  
Не стихов, а разговоров  
Про поэмы и стихи.

...Я виновен, я неловок,  
Если кто-то на мели,

Если всем командировок  
Мы устроить не смогли.  
В том, что все имеют жажду  
На печать и на успех,  
Но пока еще не каждый  
Сочиняет лучше всех.  
Пусть, кто хочет, верховодит,  
Протокольчики ведет,  
День Поэзии проводит,  
Наши книжки издает.  
Я ж хочу из важных зданий,  
Где поэтов голоса,  
От дремучих заседаний  
В необжитые леса.  
Где зеленый шум сосновый,  
Ветки тянутся ко мне.  
Где обдумать можно слово,  
С ним побыть наедине.  
Я хочу на гребень шлюза  
В самый дальний край Союза.  
На строительство плотины,  
Где фонарики горят,  
Где серьезные мужчины  
О стихах не говорят.

\* \* \*

Суровый бог работы нашей,  
И как стерпеть меня ты смог?  
Не выставил за двери взащей,  
Взойти позволил на порог.

Мне было плохо, плохо, плохо,  
Не пожелать того врагу!  
В дурацкой шапке скомороха  
Плясал я босый на снегу.

И так я горло драл охлипло,  
Так пучил весело глаза —  
Аж навсегда к скуле прилипла  
Окаменевшая слеза.

Немилосердный бог работы,  
Прости, что не к тебе спешил.  
На черствых сухарях заботы  
Я зубы смолоду крошил.

Я горе знал, но кто-то рядом  
Погорше мыкал, в три ручья!  
Об жизни пел с таким напеском —  
Уж не слышал бы лучше я!

Работы нашей бог всеильный,  
Благодарю за свой удел!  
Достанет мне до тьмы могильной,  
Что на свету я углядел.

Нет, не прошу я подаянья.  
Богаче всякого кушца,  
Хотя бы мелочь состраданья  
Раздать мне с твоего крыльца.

\* \* \*

Можно быть реалистом конкретного ясного толка.  
День за днем в тишине кабинета писать и писать.  
Все равно как в стогу невзначай затерялась иголка —  
Сено разворошить, но ее непременно сыскать!

Можно быть фантазером наивной базарной закваски.  
Малевать на клеенке небрежно, у всех на виду:  
Пышногрудая Ева какой-то зеленой раскраски  
С древа синее яблоко рвет в красном райском саду.

Этот целую жизнь отразил в многотомном романе,  
С олимпийских высот прозорливо оглядывал мир.  
Тот ушел под хмельком и прославился, как Пиромани.  
А всего-то украсил картинкой случайный трактир.



Николай Глазков был поэтом удивительно своеобразным, наделенным большой человеческой добротой и редким даром, который проявлялся во всех его лучших стихах, — даже в самых лиричных из них присутствовала ирония, а чаще всего — самоирония, как, скажем, в стихотворении «За мою гениальность!»: «Я собою воспет, хоть дела мои плохи».

Даже будучи тяжелобольным, он постоянно работал, оставался на редкость общительным и приветливым.

Часто он приглашал к себе и меня, особенно настоятельно в конце прошлого года, когда ему принесли экземпляр его книги «Избранные стихи», вышедшей в издательстве «Художественная литература». В предисловии к этому изданию я писал о том, что, на мой взгляд, «о поэтах надо судить по высшим их достижениям». И он немедленно откликнулся на это грустными и сердечными стихами, в которых звучал в мой адрес упрек за то, что я давно его не навещал. Стихи эти я получил за два дня до смерти поэта:

Быть снисходительным решил я  
Ко всяким благам:  
Сужу о друге по вершинам,  
Не по оврагам!  
Когда меня ты забываешь,  
В том горя нету,  
А у меня когда бываешь,  
Я помню это!

Стихотворения, публикуемые в этом выпуске «Дня поэзии», посвящены литературным темам, хотя в них бьется и сама жизнь, которую поэт всегда ставил выше стихов. Одно из этих стихотворений мы, его друзья, близкие и поклонники, знали еще с военных пор. Знали мы и то, что эти «Шуточные стихи, написанные под столом» действительно были написаны под столиком, поскольку поэт проиграл спор и наказан был именно таким образом. Время было очень трудное, и не удивительно, что в стихах этих были, как выразился сам поэт, «мысли, удивительно нелепые». Но были в них проявлены и блистательный ум, и детская наивность, и удивительная доброта, и грустная самоирония...

Николай Старшинов

\* \* \*

Кем больше быть хочу, — спросили  
Меня товарищи-коллеги, —  
Талантливым поэтом или  
Хорошим человеком?

Хорошим человеком больше  
Желаю быть, — я им ответил.

Я три десятилетия после  
Старался быть и тем и этим.

До объективности дорос,  
Итоги подвести осталось:  
Поэтом стать мне удалось,  
Быть человеком — удавалось!

\* \* \*

И плотнику, и штукатуру  
Хвала и честь на стройках мира,  
А я творю литературу,  
Как подобает ювелиру.

Стихи слагаю уникально,  
Взяв первозданность за основу,  
И, повторяя твердость камня,  
Приобретаю точность слова.

## ШУТОЧНЫЕ СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ПОД СТОЛОМ

Ощущаю мир во всем величии,  
Обобщаю даже пустяки.  
Как поэты, полон безразличия  
Ко всему тому, что не стихи.

Лез всю жизнь в богатыри да в гении,  
Для веселия планета пусть стара.  
Я без бочки Диогена диогеннее —  
И увидел мир из-под стола.

Знаю я, что ничего нет должного.  
Что стихи? В стихах одни слова.

Мне бы кисть великого художника, —  
Карточки тогда бы рисовал...

Продовольственные или хлебные,  
Р-4 или литер Б.  
Мысли удивительно нелепые  
Так и лезут в голову теперь.

И на все взираю из-под столика.  
Век XX — век необычайный.  
Чем столетье лучше для историка,  
Тем для современника печальней.

*Публикация Р. М. Глазковой*

## *Вадим Рабинович*

### ТВОРЧЕСТВО

Меня посетила священная лень.  
Сказала: «Я к вам из Алжира.  
Я вам привезла полуденную тень,  
Одиннадцать ягод инжира,  
Серебрянолунного лотоса цвет,  
Которому петь у окошка,  
Крылатого змея, что втиснут в браслет,  
Худую мемфисскую кошку.

Вот все вам для лени. Ленийтесь себе.  
Сандал воскурите лилово.  
А кошку погладьте по длинной спине  
И ждите пришествия Слова —  
Единственного, как единственен свет  
Кромешных фаумских сумбуров...  
Ах, чуть не забыла: прислал вам привет  
Священный лентяй Винокуров».

## *Олег Дмитриев*

### ЛИТЕРАТУРА

Литературные журналы —  
К чему?  
К чему потоки книг,  
Коль есть истории анналы,  
Где почерк вечности велик?

К чему романчик новый, нервный  
Читать и стиль ругать ворча,  
Коль есть Шекспир  
И свет полдневный  
Бьет из Кастальского ключа?

К чему к поэме приникаешь  
Сомнительного мастерства,  
Коль Пушкина, ей-богу, знаешь  
На часть десятую едва?

И все-таки литература  
Не может жить  
Лишь в днях былых,  
И надо, усмехаясь хмуро,  
Знать современников своих.

Сейчас их слабости виднее  
На твой пристрастный четкий взгляд,  
Но, может быть, как в «Одиссее»,  
Потомки их не разглядят.

Ах современников натура —  
Тому, что рядом,  
Грош цена!  
Но, видит бог,  
Литература —  
Сиюминутна и вечна.

## ПРИЗНАНИЕ

Любя, а чаще не любя, —  
С усмешкой сатаны  
Я научился на себя  
Смотреть со стороны.  
Холодным взглядом,  
Отстранясь,  
Из дымки голубой,  
С самим собой теряя связь,  
Слежу я за собой.  
На то, как хвастаюсь, хитрю,  
Слоняюсь сам не свой,  
Неодобрительно смотрю,  
Качая головой.  
Дает оценку строгий взор  
Хмельному куражу,  
И, как завзятый резонер,  
Я сам себя сужу:

«Вновь дни проводишь в суете,  
Пустое существо,  
Бог знает с кем,  
Бог знает где,  
Бог знает для чего!»  
Нисколько этому не рад,  
Я думаю, сердит:  
Все чаще пристальный тот взгляд  
За мной тайком следит!  
Но если так,  
Пора пришла,  
Шальная голова,  
Серьезней взвешивать дела,  
Поступки и слова:  
Пускай доволен будет тот,  
Кто, голову склоня,  
Взирает с эдаких высот  
На грешного меня!

*Владимир Леонович*

### БАРАТЫНСКИЙ. СЛОВО МИЛОСТИ

Читает, пишет. Взаперти, один.  
Что означает это заточенье?  
Свобода — добровольный рабелли,  
а дарование — есть порученье.

В Муранове себя замуровал.  
Зачем: Мураново, Каймары, Мара?  
Созвучий круг — прибежище кошмара,  
и Пушкин звукам воли не давал.

Тоскует. Пьет. Да кто его ссылал?  
Да на свободе — мало воли, что ли?  
А он ушел от этой самой воли —  
он этой воли сам не пожелал.

Судьба — усилье гордого ума.  
А чем венчаются его усилья?  
Иронией. Ты спасена, Россия:  
мы — сами по себе, и ты — сама...

Невидимый незрячий мелкий дождь.  
Накопится — и в бочку капля капнет.  
Терпи за сорок лет, российский Гамлет:  
и самого себя ведь не убьешь.

Накопится — и капнет. И молчок,  
и эту паузу заполнить нечем.

А дождь по имени мусеничок —  
вот если этим овладеть наречьем...

Другое бытие! Другой словарь.  
И так ясна и так невинна Сумерь,  
и жив мужик, покуда он не умер,  
как всякая живая божья тварь.

Тут, Родус, прыгни! Тут, моя душа.  
Пускай в Европе вольность шевелится:  
свобода и сподволь и хороша.  
Какая речь звучит! Какие лица!

Он прав, мой гений: втайне и вчерне,  
и тем милей, что вовсе беззаботна.  
Что — мысль моя? Ужель она свободна,  
коль так мертвит и давит сердце мне?

Пусть выбирает форму — материал.  
На то и опыт мой и очи зорки,  
чтоб вещий смысл народной поговорки  
надменную премудрость поверял.

Он вышел. Тихо. Влажно. И со щек  
щекотного дождя не вытирает.  
Российский мученик, он повторяет  
как слово милости: мусеничок...

## Елена Аксельрод

\* \* \*

Слово толкнулось и замерло,  
Будто под сердцем дитя.  
Я его переупрямила,  
Жизнь подарила шутя.

Знала ли я, каково оно  
Будет, явившись на свет?  
Туго спеленато, сковано,  
Чувства угасшего след.

Смех прозвенел и в смущении  
К речке умчался стремглав.  
Снова молю о прощении,  
Силою губы разжав.

## Петр Вегин

\* \* \*

Целую руки твои,  
Русская Речь,  
на которых ты качала своих поэтов.  
Не твоя вина,  
что не всех сумела сберечь,—  
так бывает у матерей многодетных.

Молюсь,  
чтобы ясными оставались твои глаза.  
Целую подол  
твоего свободного платья.  
Только б во имя твое  
продолжали творить чудеса  
младшие братья!

Тки свое полотно,  
одевай века.  
У тебя Время истине учится.  
Молодѣ не по возрасту,  
и работа тебе легка.  
Ты, наверное, Треручица!

Ни венца на тебе дорогого,  
ни золотом шитых риз.  
Мало шара земного для твоего пьедестала!  
На тебя я потрачу  
всю мою золотую жизнь,  
лишь бы ты  
мертвый лоб мой  
поцеловала...

## Александр Челноков

\* \* \*

Проникло в сердце озаренье,  
И я признаться вам готов:  
Живет мое стихотворенье,  
Хотя нет замысла и слов.

Оно живет дыханьем листьев  
Цветущей липы вековой  
И откровеньем вечных истин,  
К себе влекущих синевой.

Оно живет, оно запало  
В меня не просто так... Оно  
От раскаленного металла  
Движеньем света рождено.

ОСТАЛАСЬ В СТИХАХ

Я знала ее, нет, не с детства, а с рождения, и не ребенком, а младенцем. Я помню юную девушку, скорей, пожалуй, закрытую постороннему взгляду, глубоко и остро переживающую начало жизни со всеми его дилеммами и проблемами, где-то в своей сокровенной глубине, втайне от нас, своими силами. Вдали от нас, тайно от нас искала она важнейшие жизненные решения: свой путь, свое призвание, свою судьбу. Нам очень хотелось ей помочь и очень хотелось, чтобы решения ее были разумными и правильными, и мы надеялись, что так и будет, что все будет хорошо, и просто, и благополучно. А она, очевидно, маялась, металась, сомневалась, искала и не находила и не умела объяснить людям, даже самым близким, в чем природа ее метаний, чего она ищет и чего хочет. А мы не давали себе труда поглубже вникнуть в ее мир, допустить, что в чем-то она правее нас и нужно довериться ее ощущениям, ее желаниям. Обойдется, образуется, думали мы, от души желая ей добра, но, может быть, в силу естественного стремления освободить себя от сложных задач, облегчить задачу себе, невольно упростили смысл того, что есть добро для нее, то добро, о котором мечтала она, к которому стремилась она, которого следовало желать ей. И если мы в конце концов на свой взгляд оказались правы и одержали верх над ней, можно ли считать это победой? Знаем ли мы, ценой каких потерь восторжествовала наша правота?

Все и впрямь наладилось и образовалось. Девочка закончила университет, стала искусствоведем, опубликовала несколько интересных работ о современном искусстве Америки, еще весьма мало известном нам. Стала аспирантом Института истории искусств. Спокойно и убежденно защитила кандидатскую диссертацию. Уехала в Штаты в научную командировку, с задачей собрать обширный материал для книги об американской живописи. Провела в командировке пять месяцев увлеченной и напряженной работы, собрала огромный и бесценный материал и, полная новых знаний и ярких впечатлений, вернулась в Москву писать книгу, работать, жить. И в самом расцвете сил, лет, творческих возможностей и намерений рухнула, сгорела от страшной неизлечимой болезни. И осталась в безмерной любви близких, в живой их памяти, в маленьком сыне, в нескольких серьезных искусствоведческих работах и вот в этих стихах.

Стихи она писала всегда, они были необходимы ей, они были потребностью ее души. Она не сочиняла стихи, а жила стихами и в стихах. Не была озабочена проблемой печатанья стихов, а когда, поддавшись уговорам окружающих, попыталась и эта попытка закончилась неудачей, не возвела эту неудачу в степень переживания и трагедии, а просто решила, что не будет писать иначе, чем пишется, чем думается и дышится. Теперь вот оказалось, что стихи эти можно и нужно печатать, что они будут интересны людям. Жаль, она об этом не узнает. Постараемся же порадоваться за нее и пожелаем ее стихам доброго пути к сердцам человеческим. Они удивительно объемно дополняют и обогащают ее образ, эти стихи, полные глубокой думы о людях, о жизни, о мире и его судьбе, полной грозных тревог и противоречий.

Маргарита Алигер

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Сынок, не раздави жука и муравья и не прерви существованья крапчатой коровки, чтоб чьим-нибудь движением неловким не оборвалась так же жизнь твоя.

Представь: однажды летом, поутру другой, тебе неведомый мальчишка, соскучившись весь день сидеть над книжкой, иную ищет для себя игру.

Теперь попробуй разгляди ребенка, взгляни-ка вверх да придержи кепчонку: за облаками скрылась голова,

громоподобны детские слова... Он более на месте быть не может. И там уже примяты деревья, где след пролегал от пятилетних ножек.

Смотри, сейчас он на поляну выйдет. Шагнул и не взглянул (а взглянет — не увидит). Одно движение, и среди бела дня нет ни тебя, ни дома, ни меня...

Сынок, шагай да выбирай тропинку, не мни цветок и не ломай травинку и резвость бега умеряй слегка, чтоб обогнуть ползущего жука.

\* \* \*

Есть мастера, в лицо самих стихий  
Глядящие бестрепетно и смело.  
Им кисть мала,— им нужен мастихин,  
Им тесен холст,— им нужен свод капеллы.

Какая боль их души опалила,  
Какое знание жжет сознание их.  
Но, вдаль вперяясь, очи исполинов  
Не замечают мелочей земных.

...Рука тонка, и осторожны пальцы,  
Былинке каждой — место и почет,—  
Как бережлив и как подробен Палех,  
Как скрупулезен мелочей подсчет.

Дрожит стекло. И, сотрясая стены,  
Как колокол гудит могучий бас.  
Но нежно ноты вышивает тенор  
И тихим счастьем наполняет нас.

Звучит оркестр торжественно и мощно,  
И полнзвучен и велик рояль.

Но и пастушьей дудочкою можно  
Заставить слезы светлые ронять.

И для объятья бытия мирского,  
И для понятия времени глубин  
Не меньше дальнозорких телескопов  
Согбенный микроскоп необходим.

И открывают малые предметы,  
Которые не значат ничего,  
Важнейшие законы и приметы  
Устройства мира, жизни существо.

И длится миг, и застывает время.  
И дремлет космос, и цветут поля.  
И в твари открывается творенье,  
И в капле отражается земля.

Миры погибли. Яблоки созрели.  
Одновременность эта неспроста.  
О, дай мне в дар такую зоркость зренья,  
Чтоб рассмотреть строение листа!

---

*Сергей Бобков*

#### ФАНТАЗИЯ О СКУЛЬПТОРЕ

На площади в сердце города —  
памятник Минотавру

работы Н. Н.  
У памятника Минотавру  
встречаю Н. Н.

Он говорит:  
— Музейную клюкву не делаю.

Вот работа моя.—  
Я добавляю: — Вот Минотавр.—  
Н. улыбается острой,  
как жизни безумная жажда,  
улыбкой:

— Так полюбил!..

Скажи,  
а зачем

самовитое слово бывает?..—

Вокруг и под нами,  
знай себе переливаясь,

площадь звучит.  
Сквозь звуковую завесу голуби сыто плывут.  
Над головой

распласталось  
усталое облако  
в бронзовых смога затеках,  
звериного неба причудливое существо.  
...выборкот площади.

...цокот копыт Диониса.

...уйма звучаний:

как прутья торчат арматуры

в пору строительства мифа;  
 или — как волосы дыбом,  
                                 когда Минотавр, оживая,  
                                 жуёт золотые века  
                                 на глазах у толпы из других временных окоемов;  
 или — желанней всего! —  
                                 как ребенок любовно рисует  
                                 траву и сияние солнца.  
 Сияние солнца!..  
                                 А посолонь  
                                 даже во тьме казематов Вселенной  
 и у безвестного даже, у имярека —  
 лишь Имя души самовито.  
 И в мире.  
                                 И в граде.  
 И только простым как мычание словом  
 проступит в сегодняшнем дне.  
 Втянется,  
                                 как в зазеркалье,  
                                 корнями глубокими в память  
 о той,  
 Маяковской  
 античности юного рока.

\* \* \*

Не запредельной вольницы копыта  
 Дырявили пространный небосклон,—  
 Всеядной темноте  
                                 тьма тем открыта  
 Исхода и стремления времен:  
 Одним широким помыслом повиты  
 Серебряного века хрупкий звон  
 И лихолетий смутные орбиты...  
 А время Оно хлещет испокон  
 В резервуар эпохи неизбытой,  
 И над крестом всех четырех сторон  
 Глазницами земного алфавита —  
 Зодиакальные Весы и Скорпион.

## *Марк Лисянский*

### ТАК ВСЕГДА БЫВАЛО

В общем, тут не подведешь итога,  
 Так всегда, по-моему, бывало:  
 Много стихотворцев... Очень много.  
 А поэтов мало. Очень мало.

Может статься, так оно и надо...  
 Слово — светлый камень мирозданья,  
 Самая высокая награда,  
 Самое большое наказание.

Трудно быть желанным и гонимым,  
 Чьим-то утешеньем — не утехой,

Трудно быть как хлеб необходимым  
 И непостижимым, словно эхо.

Трудно быть и музыкой и светом,  
 С небом и землею побрататься,  
 И родиться следует поэтом,  
 И поэтом следует остаться.

Нищим быть и быть богаче бога,  
 Не перо — тут надобно кресало.  
 Много стихотворцев... Очень много.  
 А поэтов мало. Очень мало.

## Владимир Соколов

### ТАКОВ ЛИРИЧЕСКИЙ ПОЭТ

\* \* \*

Поэт обязан предложить обществу новое лицо и новый характер.

Меня часто смущала мысль: какое я, собственно, имею право на особую привилегию среди остальных. Почему, собственно, события моей жизни, изложенные в стихах, должны обнародоваться и претендовать на общее внимание. Чем я лучше других, стихи не пишу-щих.

Эта мысль, это чувство иногда отрешали меня от пера и бумаги.

Говорят о таланте. Ну и что же? Повезло. Так я думал.

Повзрослев, начал понимать, что это во мне говорила моя любовь к поэзии, к стихотворению.

Мне казалось, что все хотят быть поэтами. А на деле все иначе. Очень немногие.

Иногда диву даешься, как человек, лишенный поэтических способностей, лезет из кожи вон, только бы стать поэтом. И не всегда из попутных соображений. Просто он очень любит стихи, до того, что душу свою кладет на заклание. Оскорбить такого может только жестокий.

Думаю, что талант обязывает. Особенно лирический, от первого лица. Самый вездливый. Случайное сравнение: как единственный говорящий в семье немых обязан не ошибиться, отстаивая их права или сообщая их благодарность, — так не имеет права лирик отстаивать только себя, бубнить о своих невзгодах или удачках.

Конечно же «я» это «я». Конечно же талант сопровождает своеобразный человеческий характер.

Но —

чем зреее и шире этот характер, тем больше человеческих задач вбирает он в себя, тем больше сознает ответственность за человека. Все здесь зависит от самого поэта, от его ума и честности. Ссылка на бога — труслива. «Я не Пушкин» — постыдно. Талантом не удивишь умного. А удивишь — не сможешь. А надо помочь. Выручить. Поддержать. Порадовать или обидеть во благо.

Мало ли было когда-то блистательных фра-

зеров-адвокатов. Кому помогли? Как правило, они беспринципны. Значит, предатели правды. Потому что, как правило же, стояли на стороне сильного. И сильного не правотой, а властью: деньгами, благами и т. п.

Талантливый фразер мутил воду и помогал хозяину вытянуть жирную рыбу: знал, что и ему перепадет.

Талантом нечего хвастаться, то есть трясти, как говорил Блок, мощной перед лицом немущего.

Надо быть человеком.

Когда поэт чувствует себя облеченным полнотой власти, а облакает его время и люди, и чаще всего через его личную судьбу — мучительную оттого, что она и единственная жизнь его и *материал*, — тогда поэту нечего стесняться тем, что события его жизни претендуют на общее внимание. Только так и должно быть.

По моим наблюдениям, достойно выдержать эту должность способны немногие.

Конечно же «я» — это «я».

Конечно же лирический поэт обязан представить обществу новое лицо и новый характер.

Владимир Маяковский был, конечно, развитем, борцом, горланом-главарем. Но он еще и написанный им Владимир Маяковский. Он для нас как Евгений Онегин, Пьер Безухов... — он действующее лицо. Мы о нем много знаем.

И он не врал. Не выдумывал себя. Он себя обострял и смягчал — он себя воспитывал. И образом своим воспитывал нас.

Таков лирический поэт.

\* \* \*

Я думаю, что шуточные стихи, посланья, эпиграммы, писавшиеся Пушкиным в таком количестве, помогали ему, глубочайшему призванному Поэту, соблюдать чувство меры в области тона, эмоции других его, весьма нешуточных работ.

Он всегда стоял на страже интонации. Пересерьезничать, перепафосничать — значит оказаться смешным в самый неподходящий момент, подвести истинную скорбь или истинный восторг.

Вся эта постоянная речка острот и шуток — отличный регулятор тона в речи о серьезном, неоглядно драматическом.



Ирония и шутка могут и не присутствовать в трагедии (стихи, поэма) — однако они воспитали в авторе *чувство меры*, витийствуя на стороне, то есть присутствуют в самом его художественном чувстве.

Вот момент в «Медном всаднике». Повесть, полная драматизма. И вдруг:

Торгаш отважный,  
Не унывая, открывал  
Невой ограбленный подвал,  
Сбираясь свой убыток важный  
На ближнем выместить. С дворов  
Свозили лодки.

Граф Хвостов,  
Поэт, любимый небесами,  
Уж пел бессмертными стихами  
Несчастье невских берегов.

Пушкин дал разрядку. Он заставил наше слишком напряженное чувство на миг ослабиться. Мы с ним вместе сыронизировали над торгашом и посмеялись над Хвостовым. Но!

Бедный, бедный мой Евгений...  
Увы, его смятенный ум  
Против ужасных потрясений  
Не устоял...

Ирония и эпиграмма вошли в сгущенную атмосферу драмы, дали ей минутную разрядку. И сопроводили нас в дальнейшее нарастание личной трагедии Евгения, ненавязчиво, но неумолимо переходящей в трагедию общую.

\* \* \*

Один из секретов «Медного всадника», может быть, в том, что о наводнении и прочем Пушкин рассказывает тем голосом, с тем трагическим волнением и историзмом, как если бы он рассказывал о Декабре и его «прочем». *Тот* пафос.

\* \* \*

Я в то время писал не мало,  
Но из творчества моего  
Заколдованные журналы  
Не печатали ничего.

\* \* \*

Говорят, Петрарка всю жизнь писал гигантскую поэму «Африка» (я этого не проверял), а между делом — несерьезные сонеты Лауре.

Интересно, сколько человек прочитали эту «Африку»?

\* \* \*

Уж снегом веяло в лицо,  
Но в час, когда смеркалось,  
Я вдруг переступил кольцо,  
Которое смыкалось.

А в общем-то, смотрю я на эти строчки, и не хочется мне продолжать их ни вверх, ни вниз.

\* \* \*

Увидел старую поговорку: «Осень — пустое гнездо», и мучительно захотелось написать стихотворение, где это было первой строчкой. А потом подумал: куда уж дальше-то?

\* \* \*

Ужасно, когда из служащих превращаются в слугащих.

\* \* \*

Мне сегодня приснился Лицей, и я проснулся с грустью.

\* \* \*

Никак не могу понять, что мне тут сделать вокруг двух четверостиший, написанных в неожиданной больнице. Написать сверху четверостишие или снизу — а может быть, и сверху, и снизу? Вот эти строчки:

Когда земля из-под земли  
Взлетала в лад лопатам,  
Я от погоста невдали  
Стоял перед закатом.

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

*Александр Иванов*

## НАХЛЕБНИКИ

Утаить едва ли  
(здесь секрет нелеп),  
многие жевали  
Хлебникова хлеб.

*Петр Вегин*

До чего же гадки  
лирики подчас!  
До чужого падки  
многие из нас.

Как мы низко пали,  
измельчали как!  
Уткина щипали,  
рвали пастернак.

Рдея кумачово  
(эх, пути судьбы!)<sub>х</sub>  
ели Грибачева  
острые грибы.

Жалкая картина  
(ясно мне давно):

пили даже Вино-  
курова вино.

А в конце недели  
(тут не до поста)  
зайцы Зайца ели,  
съели до хвоста.

Чтоб точней и тверже  
строчки рифмовать,  
Коржикова коржи  
начали жевать.

Что ж от голодранцев  
можно ожидать...  
ВЕГИНтарианцев,  
жалко, не видать.

## В ПЛЕНУ АССОЦИАЦИЙ

Я видел раз в простом кафе нарпита,  
как человек корпел над холодцом,  
трагическую маску Эврипида  
напоминая сумрачным лицом.

*Евгений Винокуров*

Я видел, как под ливнем кошка мокла,  
хотел поймать ее, но не поймал...  
Она напоминала мне Софокла,  
но почему его — не понимал.

И видел, как из зарослей укропа  
навстречу мне однажды вылез крот,  
разительно напомнивший Эзопа  
и древний, как Гомер и Геродот.

А раз видал, как с кружкой Эсмарха  
старушка из аптеки шла к метро,  
она напоминала мне Плутарха,  
Вольтера, Острового и Дидро.

Я мог бы продолжать. Но почему-то  
не захотел... Я шницель уминал,  
сообразив — но поздно! — что кому-то  
кого-то же и я напоминал!

## ЛИРИКА С ИЗЮМИНКОЙ

Я слышу, как под кофточкой иглятся  
соски твои — брусничники мои,  
ты властна надо мною и не властна,  
и вновь сухи раскосинки твои...

*Владимир Цыбин*

Ты вся была с какой-то чертовщинкой,  
с пленительной смешинкой на губах,  
с доверчивкой до всхлипинки, с хитринкой,  
с призывной загогулилкой в ногах.  
Ты вся с такой изюминкой, с грустинкой,  
с лукавинкой в раскосинках сухих,  
что сам собою нежный стих с лиринкой  
слагаться стал в извилинках моих.

Особинкой твоей я любовался,  
вникал во все изгибинки твои,  
когда же до брусничников добрался,  
взыграли враз все чувствинки мои.

Писал я с безрассудинкой поэта,  
возникла опасенка уж потом —  
вдруг скажут мне: не клюквинка ли это  
с изрядною развесинкой притом?..

## *Виктор Завадский*

### ЧТО Я ЗА ПТИЦА

Я не ломилась, не ломилась  
...Синицей тихою прибилась.

В твои запретные края  
синицей прилетаю.

Бегу. И все-таки попала  
в твои силки.

*Дина Терещенко*

Другим, возможно, ночью снится,  
мне — наяву, что я синица:  
пернато думаю, дышу,  
летаю, чувствую, пишу.  
Пусть за свою дворовый кочет  
признать меня никак не хочет,  
и пусть индюк, хороший гусь,  
меня не уважает — пусть!  
Зато меня, я знаю, ищет —  
не им чета — орел степной!

Не верю слухам, что как хищник  
интересуется он мной.  
Собратьям по перу на зависть  
орла для дома завести!  
Но, на худой конец, и аист  
мне счастье может принести.  
...Я в клетке. Как могло случиться?!  
Соображаю. Тру виски.  
Поэт! Скрывай, что ты синица,  
иначе попадешь в силки!

### ФОРЕЛИ ОФОНАРЕЛИ

*Игорь Шкляревский*

В Пропойске — май! Жует коза  
Афишу, выпучив глаза,  
Рогами голосуя за  
Поняття главные: селедка,  
Форель, макрель, красотка, лодка  
И неразбавленная водка!

Живешь. Не ешь, не пьешь. И вдруг  
Открытье: каждый третий — друг!

Вот вам из жизни акварели.  
В Пропойске — пир! Мы пьем кварели,  
И так, пропойцы, захмелели,  
Что позабыли о форели! —  
Ее глаза на нас глядели  
С обидой: мы ее не ели,  
Как будто на нее имели  
Какое зло. На самом деле  
Мы просто были еле-еле.

Но скоро показалось дно.  
Мороз был крепче, чем вино.  
Январь. Высокий, звонкий холод!  
Ударись в конское дерьмо —  
Оно звенит: еще ты молод!  
И значит, есть прекрасный повод

### КАЖЕТСЯ, ПОМНИТСЯ...

Мне кажется, что я помню  
Жизни моей начало,  
Вихрь голубых снежинок,  
Мелькающих за окном.

Я был когда-то ротным запевалой.

Все цветешь ты, ванька-мокрый,  
Ненаглядный наш цветок.

*Николай Старшинов*

Мне кажется, что мне помнится  
День моего рожденья:  
Мелькал за окном роддома,  
Как я догадался, снег.  
Себя обнаружив, я начал  
Вести за собой наблюденье  
И понял, что вышел из мамы  
Талантливый человек!

Ни ростом, ни весом, ни голосом  
На ротного я запевалу,  
Тем более на полкового,  
Похоже, и не был похож.

Открыть бутылку! Из горла  
Рвануть за славные дела,  
И пусть кадык как поршень ходит,  
Пока бутылку горна вроде  
Ты наклоняешь: не забыть  
С рассветом «Зорьку» протрубить!

А смахивал я на цыгана,  
Грача и подпаска журнала,  
На рыбу живую, на черта,  
А больше на что — не поймешь.

Мать, кажется, я игнорировал:  
Главное — дух, а не сытость!  
Мечтал о встречах с прекрасным —  
Со щукой, лещом, судаком,  
И, мокрого-ваньку валяя,  
Свою проявлял деловитость:  
Крупнейшим среди поэтов  
Готовился стать  
Рыбаком!

## *Александр Николаев*

### ТЕНЬ ПОЭЗИИ

*По страницам «День поэзии. 1979»*

#### СТИХИ О МУЗЕ

*Николай Тряпкин*

Давно я мечтал, чтоб как к члену Союза  
пошла бы ко мне в домработницы муза,  
чтоб, мокрых стихов постигая природу,  
из них отжимала бы тряпкою воду.  
Но в срочном порядке <sup>спаcать</sup>  
кукурузу  
гоню я свою безответную музу.  
Потом голова заболела, нет спасу,  
я музу гоню за бутылкою квасу.

То в лес по грибы, то в ларек, то  
на ниву  
я музу и в хвост погоняю и в гриву.  
Живу словно в сказке старик со  
старушкой,  
а музу я сделал своей побегушкой.  
В жибель погрузилось родное селенье,  
вот тут бы и сесть мне за стихотворенье.  
Стихи «День поэзии» ждет от поэта,  
а муза поэта все бегаеr где-то.

## РАЗРОЗНЕННЫЕ МЫСЛИ

*Валентин Катаев*

Пародия — это то, что необходимо присутствует во всех видах литературного творчества. Или, вернее, необходимо должно присутствовать, потому что без пародии литература уже не литература, а лишь пародия на пародию.

Лучший вид пародии — это когда автор в состоянии творческого сомнамбулизма, подчиняясь таинственным, непознаваемым законам воображения, думает, что пишет серьезные стихи, а сочиняет самопародию. Это самообслуживание. Стихи без поэзии — это магазин без продавца.

Все лучшие разделы сборника «День поэзии» пронизаны такими самопародиями.

Толстой назвал Чехова Пушкиным в прозе. Значит, «Дубровский», «Капитанская дочка», «Старосветские помещики» — вот что такое Чехов. Хотя «Старосветские помещики» — это не Чехов, а Гогсль. А «Герой нашего времени» — тоже не Чехов, а Лермонтов. Зато «Белеет парус одинокий...» Ах, да, это правда; это точно Лермонтова; а есть другой «Белеет парус одинокий», так тот уж мой.

Я бы, конечно, мог развить эти отрывочные

мысли, придать им более стройности и убедительности. Но для чего? Для истинного поэта мои мысли должны быть совершенно ясны. А версификатор, пародист их все равно если и поймет, то сделает вид, что не понимает.

А писать надо александрийским стихом, как Александр Пушкин, Александр Блок, Александр Горов. Это не значит, что все могут так писать. Совсем иное дело, или две большие разницы, как говорят у нас на Дерибасовской, — Александр Архангельский, Александр Иванов, Александр Николаев. Пародия? Не смешно!

Так что не плюй в святой колодез, пригодится воды напиться. А то и он зарастет травой забвения.

И еще одна разрозненная мысль — о редакторе. Стихи надо править. Я, правда, не помню, редактировал ли когда-нибудь «День поэзии» дядя Пушкина. Но недаром же Сергей Львович воспет великим поэтом: «Мой дядя самых честных правил...»

А как он правил нечестных! Представляете себе?

## СЛОВО БАРДА С СЕН-ГОТАРДА

*Леонард Лавлинский*

Меру сил моих назначить не с кем.  
А на бред накинешь ли узду?  
Я на Невском с Александром  
Невским  
хаживал, как по чудскому льду.

Если спросит кто из маловеров,  
я могу сказать им, что почти  
тридцать тысяч лишь одних курьеров  
разослал, чтоб Невского найти.

А старик язвительный — Суворов,  
чей язык острее алебард,  
мне сказал без лишних разговоров:  
— Пшел ты, Леонард, на Сен-Готард!

## ДЕНЬ И НОЧЬ ПОЭЗИИ

Лев Аннинский

Не подумайте, что этюд для сборника «День поэзии» я назвал «Ночь поэзии» из желания скаламбурить. Или что под словом «ночь» имеется в виду что-то мрачное. Я вообще не понимаю этой иерархии оценок: день — хорошо, а ночь — плохо. Ночь ничем не провинилась перед днем, чтобы валить в нее все дурное. В ночи есть своя красота. Недаром ночь так воспета поэтами. Вот автор-первой книги, сибиряк:

Тихо-тихо.  
Лишь легкие вздохи  
полуночного ветра-чудилы...

Опытный поэт пишет о том же (издано в Кишиневе):

...то и тогда — в тетрадки и тайком,  
встав среди ночи, черкаешь для памяти  
о самом сокровенном, дорогом,  
о том, о чем вы тосковать устанете...

Плохо ли это? Возможно. Но искренне! Настроение есть. Душа высказана... Вот она, ночь поэзии. Ночное бормотание души. Искреннее, глубокое. Неразборчивое. Почти без адреса. Себе и миру вообще. Ночному миру, слитному, большому, неохватному...

Так и хочется воскликнуть: «Дышала ночь восторгом сладострастия...»

Вспоминается Фет: «Сияла ночь. Луной был полон сад...»

Пушкин: «Ночной эфир струит зефир, бежит, шумит Гвадалквивир».

Он же: «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»

Казин: «Тебе не ночь ли косы заплетала...»

Бунин: «Звезды ночью весенней нежнее...»

Заклинание — Римма Казакова: «Приснись мне! А то я уже забываю...»

Ответ — Лариса Васильева: «Я тебе снилась однажды...»

Я не ругаю ночную поэтическую ситуацию, а если и ругаю, то, пожалуй, по соображениям принципиальным. Доняли почтальоны: чуть не каждый день — пакет со стихами. Вот еще почему ночь лучше: почтальоны не ходят по ночам!

Как я могу переварить «урожай» стихов? Мне одного тютчевского томика на полжизни хватает. Если бы у Тютчева вышел двухтомник, мне бы его хватило на всю жизнь.

Скажете: а, это все графоманы.

Отнюдь! Утешу злорадствующих: сам я считаю себя несомненным и безусловным графоманом. Но кому повем печаль свою?

Не сослуживцам же в буфете! Не толпе прохожих на эскалаторе! За сумасшедшего сочтут.

Святая жажда... Но что же с этим делать?

Оказывается, есть, есть и сегодня место, где можно высказать это таинственное, волнующее тебя, неясное чувство. Это — сборник «День поэзии».

А если не нравится, как я назвал этюд, не в названии дело. Название можно изменить. Прочитируем еще поэтессу и назовем его не «Ночь поэзии», а «Дочь поэзии».

## В СБОРНИКЕ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1980» УЧАСТВУЮТ:

Аверинцев С. (стр. 202), Авсарагов Б. (159), Аксельрод Е. (227), Алигер М. (228), Александрова Э. (200), Алиханов С. (128), Аннинский Л. (85), Антошкин Е. (172), Аришина Н. (207), Аронов А. (185), Астафьева Н. (56), Ахмадулина Б. (155);

Баева А. (148), Балин А. (31), Бек Т. (174), Бекетова А. (21), Бекетова Е. (22), Белаш Ю. (69), Белинский Я. (143), Беличенко Ю. (63), Белый А. (138), Беляев М. (110), Берггольц М. (162), Берггольц О. (162), Блок А. (16), Бобков С. (229), Бобров А. (147), Богданов В. (165), Богданов П. (78), Боков В. (44), Бородаевский В. (23), Бояринов В. (166), Брагин А. (157), Бригантинский В. (198), Бурсов И. (194), Бутенко В. (78), Бухараев Р. (112), Бэлза С. (125);

Валиков Г. (74), Ваншенкин К. (50), Васильев Я. (149), Василькова И. (4), Вегин П. (227), Ведякин В. (12), Велихова Э. (186), Визбор Ю. (209), Викулов С. (52), Винокуров Е. (113), Винонен Р. (83), Владимиров А. (183), Вознесенский А. (177), Волгин И. (121), Волобуева И. (124), Воробьев Б. (207);

Гаврилин В. (147), Гачев Г. (188), Глазков Н. (224), Глушкова Т. (75), Говоров А. (164), Голицин Ю. (192), Гончаров В. (210), Гордиенко Ю. (68), Городецкий С. (137), Гсфман В. (170), Григорьева Л. (149), Грудев И. (107);

Дагуров В. (209), Дементьев А. (106), Дмитриев Ник. (100), Дмитриев Олег (225), Дремов И. (99), Друнина Ю. (82);

Евсичев В. (6), Евтушенко Е. (96), Елин Г. (188), Енишерлов В. (21), Еремеев Г. (172), Еременко А. (9), Ермолаева О. (210), Еспнов В. (169);

Жданов Иван (7), Железнов П. (102), Жигулин А. (34);

Завадский В. (234), Завальнюк Л. (75), Злотников Н. (177), Зобин Г. (11), Золотцев С. (104), Зульфикаров Т. (151);

Иванов Александр (233), Иванов Геннадий (76), Ивнев Р. (118), Исаковский М. (132);

Казанцев В. (43), Карпек В. (67), Капралов В. (172), Касмынин Г. (199), Кафанов А. (223), Качалова М. (24), Кашежева И. (167), Квятковский А. (152), Киуру И. (186), Ключев Н. (27), Кобзев И. (77), Коваль-Волков А. (111), Ковальджи К. (106), Ковышев Б. (102), Козловский Я. (150), Кондакова Н. (174), Коренев А. (69), Корин Г. (208), Королев А. (124), Коркия В. (148), Константинов В. (167), Костров В. (84), Кочетков В. (79), Кочетков О. (187), Кошель П. (176), Кошечкин С. (98), Красников Г. (220), Красноперов П. (217), Кузнецов Вал. (31), Кузнецов Ю. (46), Кузнецова С. (53), Кузовлева Т. (127), Кунина Е. (125), Кунаев С. (109), Куприянов В. (200), Кучуков П. (161);

Лавлинский Л. (193), Лазарев В. (145), Лазарев Л. (134), Латынин Л. (126), Левитанский Ю. (91), Леонович В. (226), Лесневский С. (15), Ливанов А. (105), Лисянский М. (230), Львов М. (62, 159), Ляпин И. (182);

Марков А. (122), Марков С. (57), Мартьянов Л. (32), Матвеева Н. (60), Матусовская Е. (228), Межиров А. (95), Мелехин П. (61), Мельников Ю. (78), Мнацаканян С. (170), Мориц Ю. (206), Морозов М. (125), Москвитин А. (175);

Наппельбаум Л. (187), Наровчатов С. (64), Нежданов В. (171), Нежданов Н. (29), Николаев А. (235), Николаевская Е. (169), Новиков Н. (200), Новикова Л. (197), Ногтева М. (208);

Озеров Л. (197), Ойслендер А. (71), Ошанин Л. (222);

Павлинов В. (49), Панченко Н. (190), Паркаев Ю. (77), Парпара А. (103), Пастернак Б. (179), Паттерсон Д. (199), Перельмутер В. (201), Петренко С. (126), Петровых М. (212), Поделков С. (89), Поздняев М. (219), Полторацкий В. (62), Поликарпов С. (101), Поляков Ю. (9), Поперечный А. (150), Попов М. (14), Поройков Ю. (123), Преловский А. (111), Примеров Б. (80), Приходько В. (202), Пуцыло Б. (202);

Рабинович В. (225), Рахманин Б. (173), Реброва Т. (215), Редькина М. (221), Ржавский И. (69), Романова Р. (128), Рудяков Г. (72), Румарчук Л. (175), Русаков Г. (48), Ряшенцев Ю. (151);

Савельев В. (104), Савельев И. (93), Самойлов Д. (36), Самченко Е. (146), Седугин А. (201), Селезнев И. (209), Семакин В. (94), Сидоренко Н. (144), Сидоров В. (195), Сикорский В. (182), Симоненко В. (201), Симонов К. (133), Синельников М. (149), Слепнев И. (159), Слуцкий Б. (55), Смертина Т. (196), Смольников А. (71), Соболев М. (72), Соколов Владимир (120, 231), Соловьев С. (26), Соловьева Н. (26), Солоухин Владимир (63), Сорокин В. (184), Старшинов Н. (224), Стройло А. (208), Сухарев Д. (83), Сушкова Л. (198), Сырыщева Т. (171);

Тараканова Л. (147), Тарасова М. (186), Тарковский А. (211), Татьяничева Л. (117), Твардовский А. (130), Твардовская М. (131), Теплова Г. (194), Терентьева М. (183), Терещенко В. (128), Терещенко Д. (176), Терёхин Л. (127), Тихомиров А. (158), Тихонов Н. (51), Топоров В. (129), Тряпкин Н. (142);

Урусов В. (218), Устинов В. (119), Ушаков Н. (141);

Федоров Вас. (38), Федорова Л. (123), Федотов В. (70), Флёров Н. (211), Флоров Г. (123);

Хаткина Н. (13), Хелемский Я. (146), Храмов Е. (73), Хренков Д. (51);

Цветаева М. (139), Цетлин М. (171), Цыбин В. (39, 144);

Челноков А. (227), Чернов А. (205), Чугай О. (176), Чуев Ф. (173), Чупаленков С. (129), Чухно О. (75);

Шавырин Ю. (188), Шевелева Е. (165), Шестинский О. (106), Шеханова Т. (170), Широков В. (196), Шитиков А. (73), Шкляревский И. (99);

Шипахина Л. (187), Шипачев С. (168);

Эскович Н. (175);

Юдахин А. (105), Юшин Е. (214);

Яшин А. (135), Яшина Э. (136).



## **ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1980**

М., «Советский писатель», 1980, 240 стр.  
План выпуска 1980 г. № 162

Редактор **В. С. Фовельсон**

Худож. редактор **Н. С. Лаврентьев**

Техн. редактор **Р. Я. Соколова**

Корректоры **Л. И. Жиронкина, С. И. Крягина**  
и **Т. В. Малышева**

ИБ № 1997

Сдано в набор 21.05.80. Подписано к печати 12.08.80. А03472.  
Формат 84×108<sup>1/16</sup>. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура.  
Высокая печать. Усл. печ. л. 26,88. Уч. изд. л. 24,59.  
Тираж 75 000 экз. Заказ № 1617. Цена 2 р. 50 к.  
Издательство «Советский писатель»,  
121069, Москва, ул. Воровского 11.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного  
Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова  
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по  
делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва,  
М-54, Валовая, 28.



Александр Блок. Фотография с дарственной надписью Сергею Городецкому. 1907 год.  
Воспроизводится впервые.



Александр Блок с матерью, А. А. Бекетовой, в Шахматово. 1894 год.  
*Снимок публикуется впервые.*



Александра Андреевна Бекетова.  
1879 год.

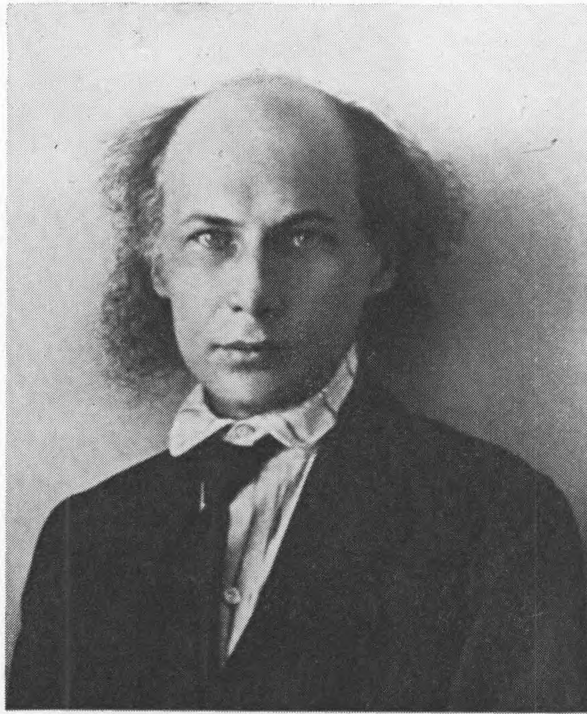


Екатерина Андреевна Бекетова.  
1890-е годы.  
*Снимок публикуется впервые.*

Такой была Москва в годы юности Блока...



Александр Блок на похоронах Врубеля. 1910 год. Петербург.

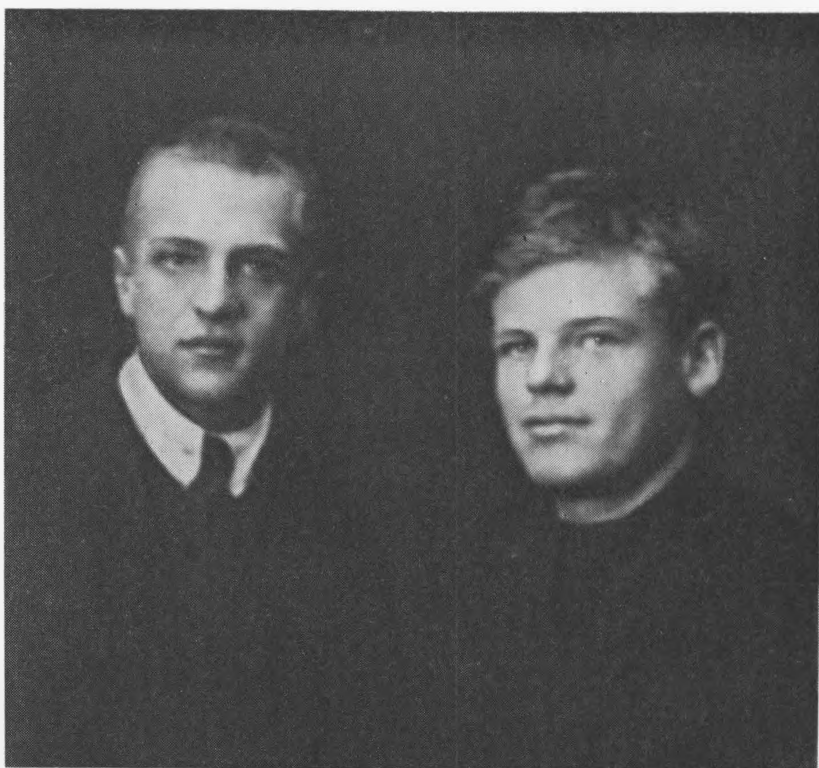


**Андрей Белый. 1919 год. К столетию со дня рождения.**



**Анна Ахматова и Мария Петровых. 60-е годы.**

*Снимки публикуются впервые.*



**Сергей Марков и Леонид Мартынов.  
20-е годы.**



**Сергей Марков. Послевоенные годы.**

*Снимки публикуются впервые.*



**Людмила Татьяничева. 30-е годы.**

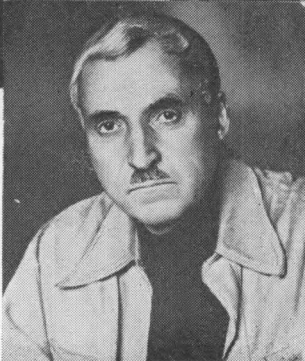
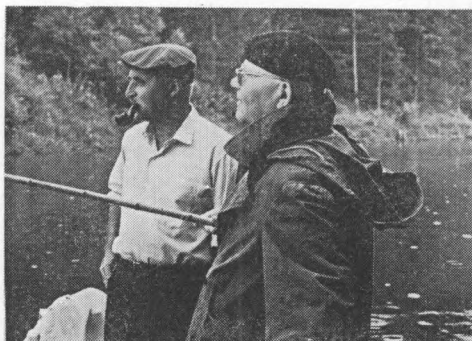


**Николай Глазков и Борис Слуцкий. Начало 70-х годов.**



**Николай Глазков и Василий Федоров. 50-е годы.**

*Снимки публикуются впервые.*



Константин\*Симонов. Фотографии разных лет.



«ДОЛГИХ ЧЕТЫРЕ ГОДА...»

К 35-летию Победы.



Юрий Белаш. 1945 год.



Виктор Гончаров.  
Весна 1943 года.  
Закавказский фронт.



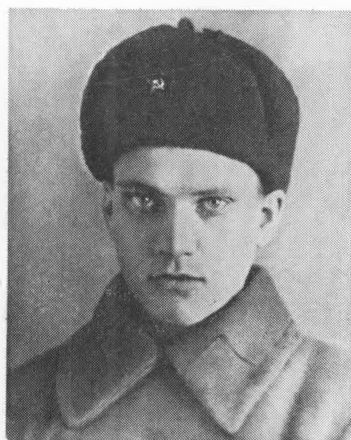
Владимир Карпеко. 1945 год.



Александр Коренев. 1945 год.



Григорий Корин. 1943 год.  
Новороссийск.



Виктор Кочетков.  
Январь 1943 года.  
Воронежский фронт.



Юрий Мельников.  
Апрель 1945 года.  
Кенигсберг.



Виктор Федотов.  
Лето 1943 года.  
Ленинградский фронт.

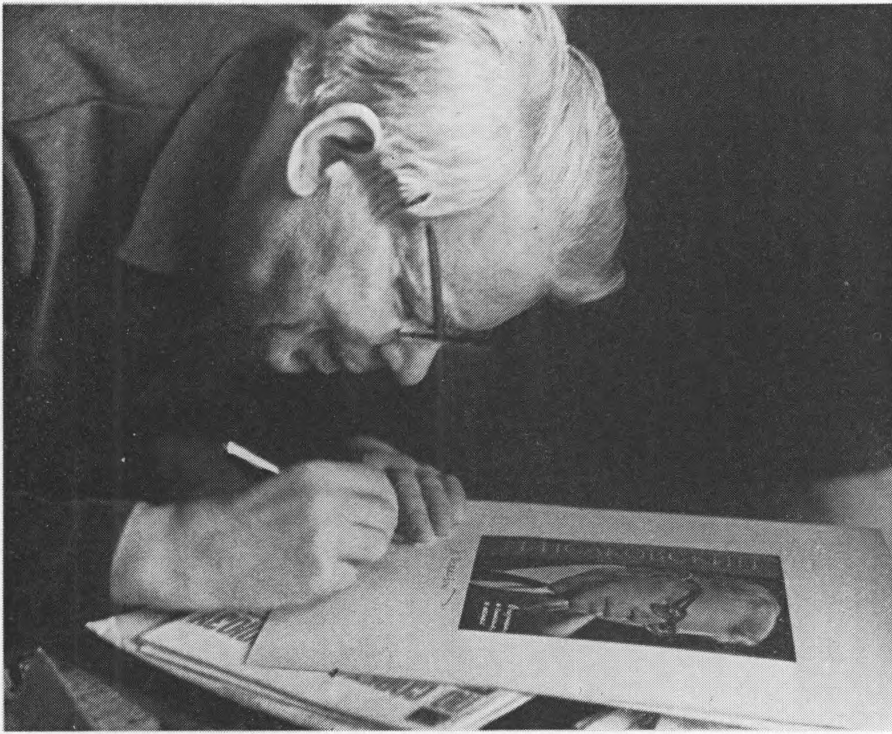
*Серия портретов мастеров советской поэзии выполнена фотохудожником Николаем Лаврентьевым. Снимки публикуются впервые.*



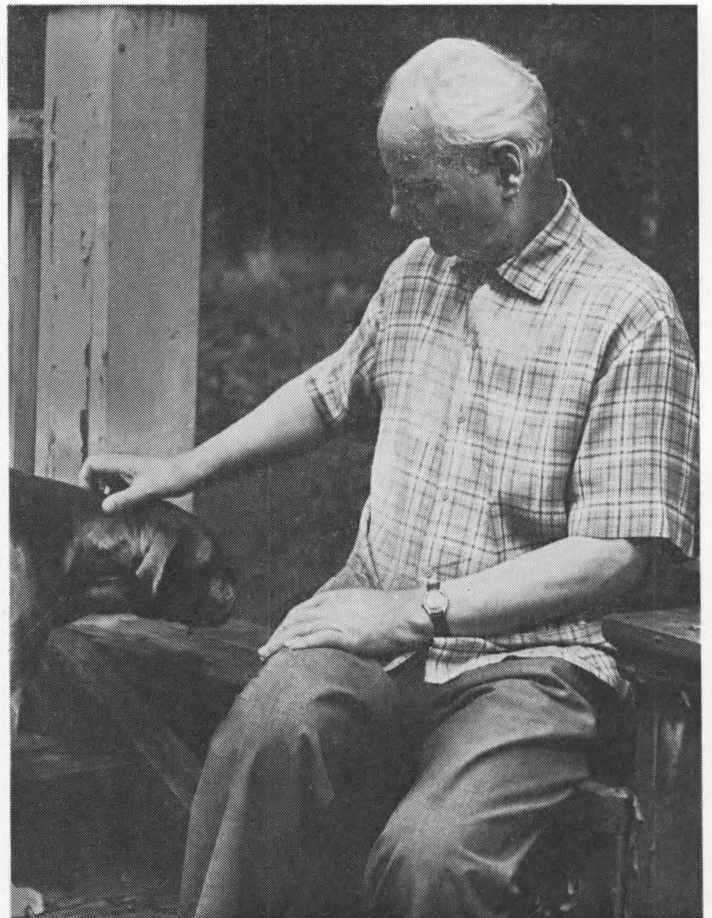
Александр Твардовский. 1969 год.

Александр Яшин. 1966 год.





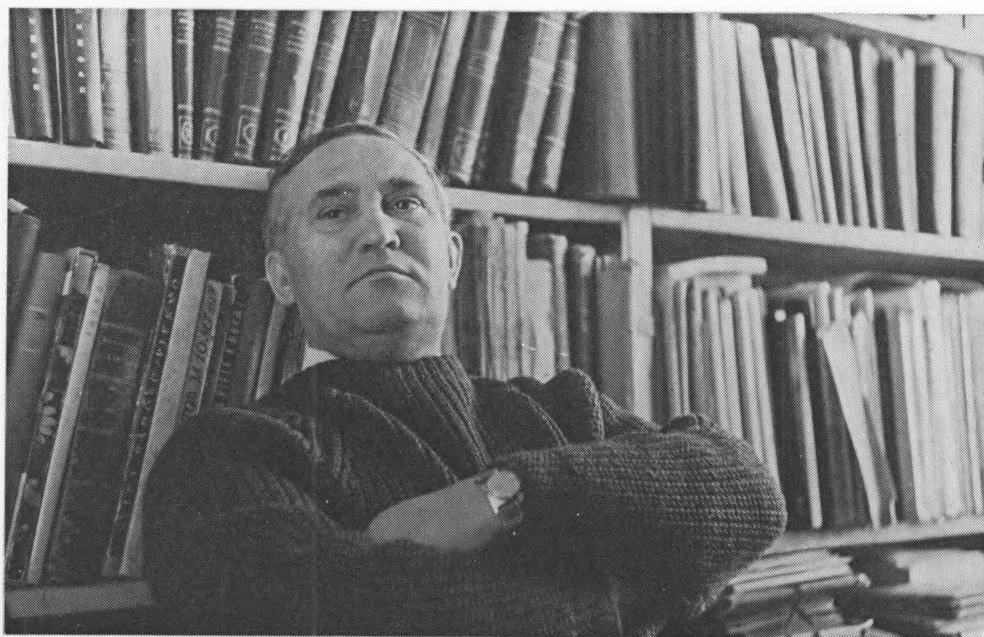
Михаил Исаковский. 1968 год.



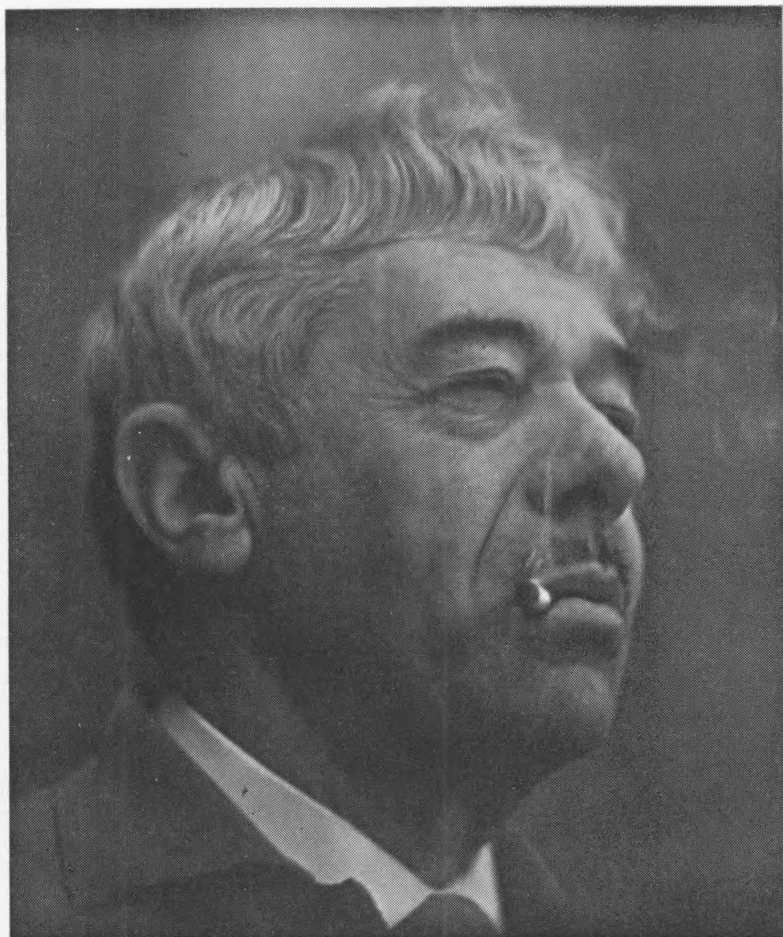
Степан Шпачев. 1966 год.



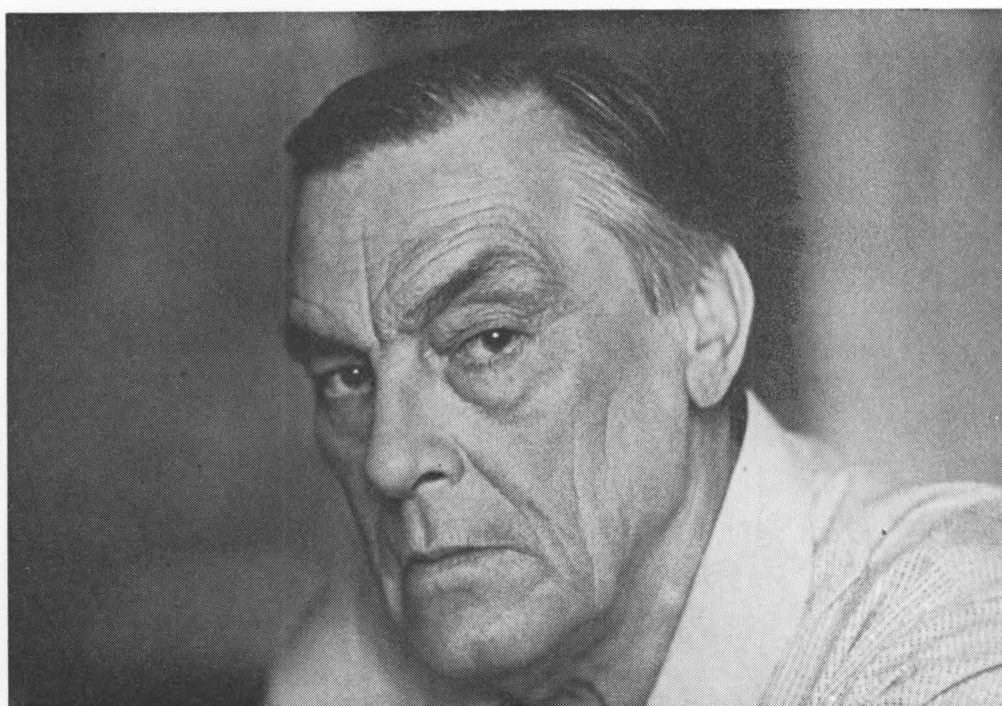
Ярослав Смеляков. 1966 год.



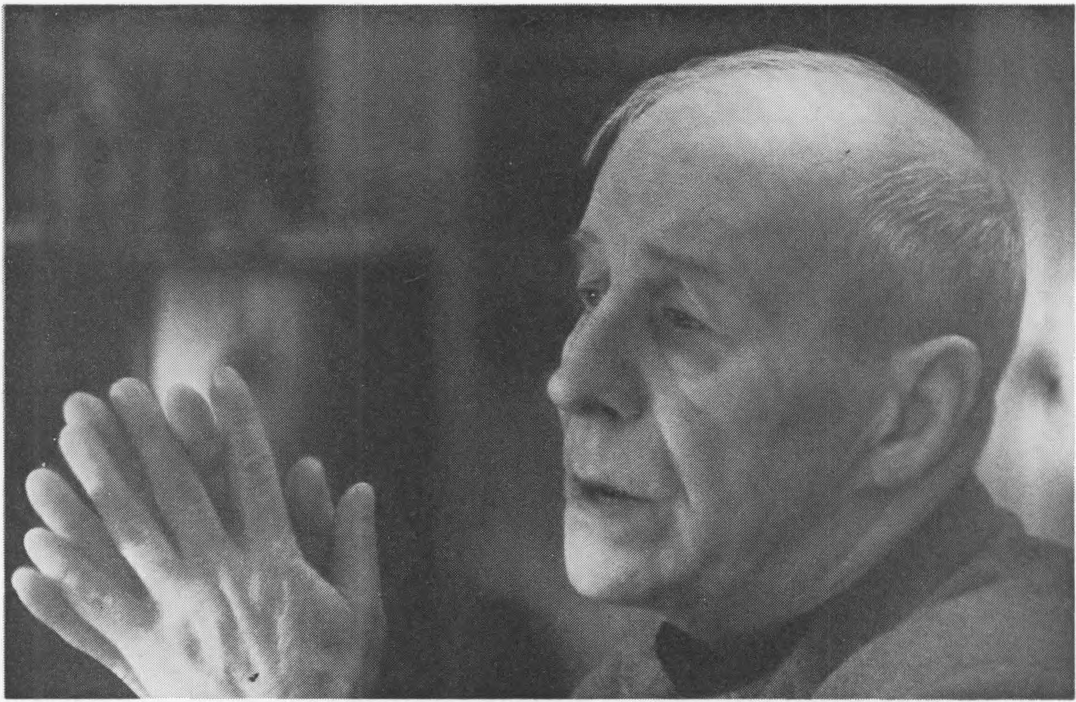
Михаил Луконин. 1968 год.



Семен Кирсанов. 1966 год.



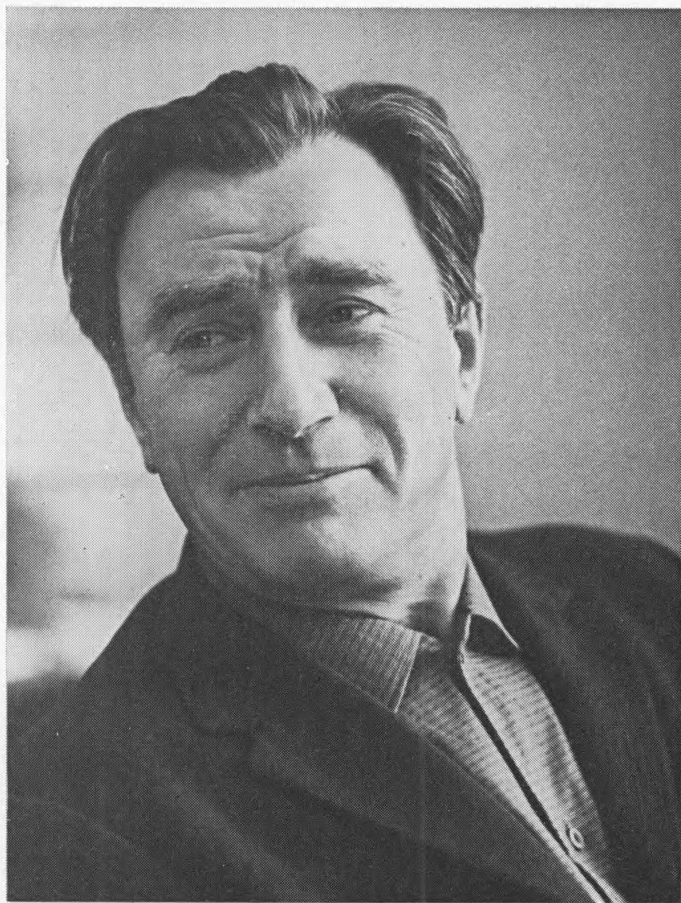
Арсений Тарковский. 1973 год.



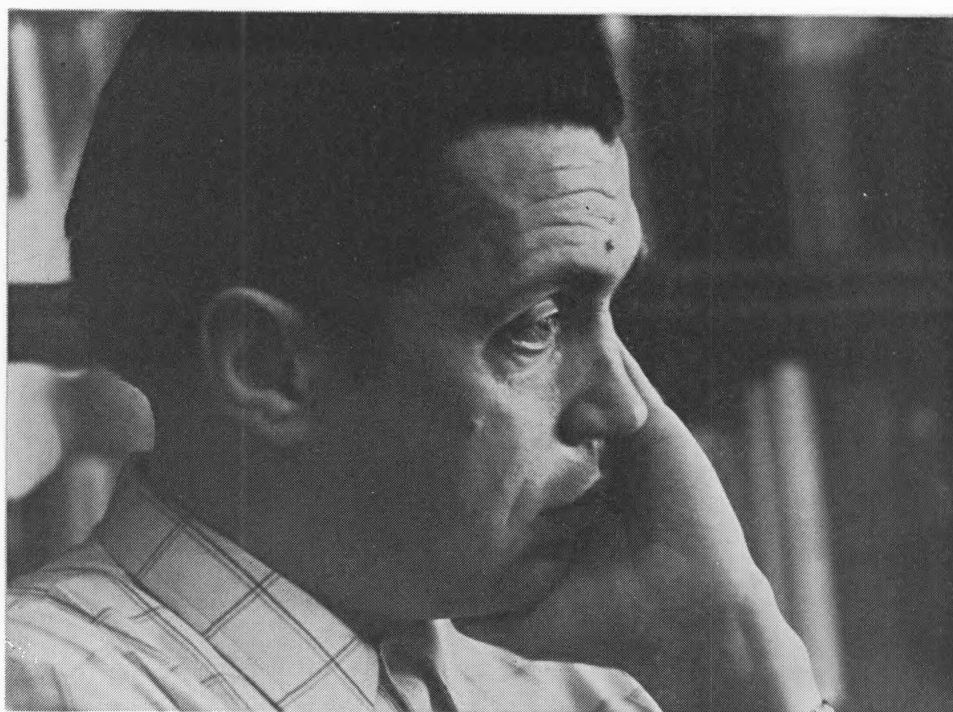
Николай Асеев. 1961 год.



Сергей Наровчатов. 1964 год.

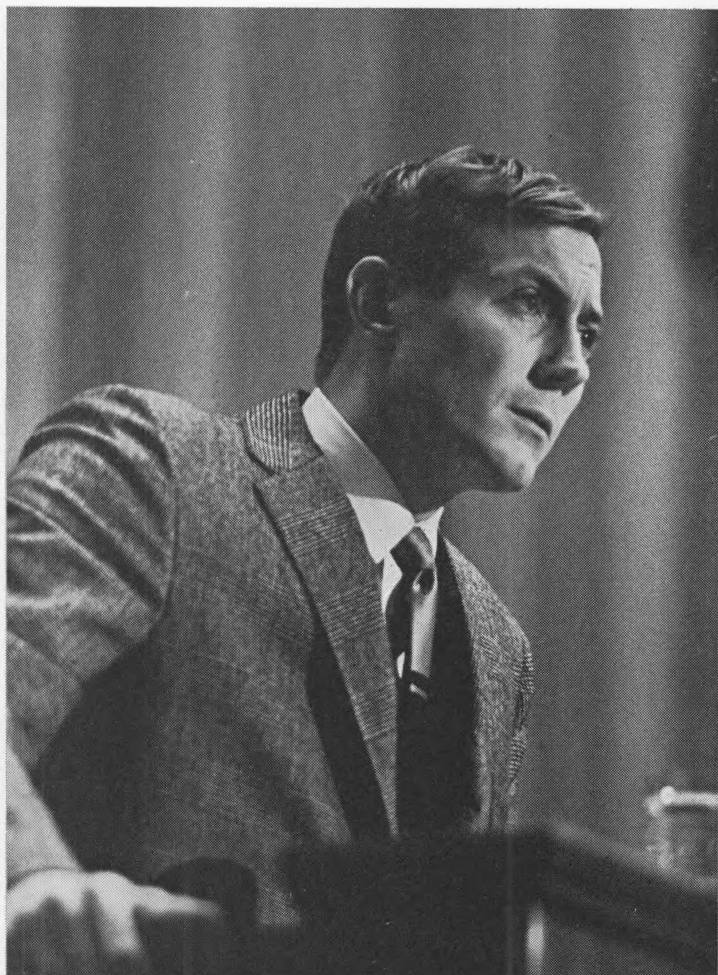
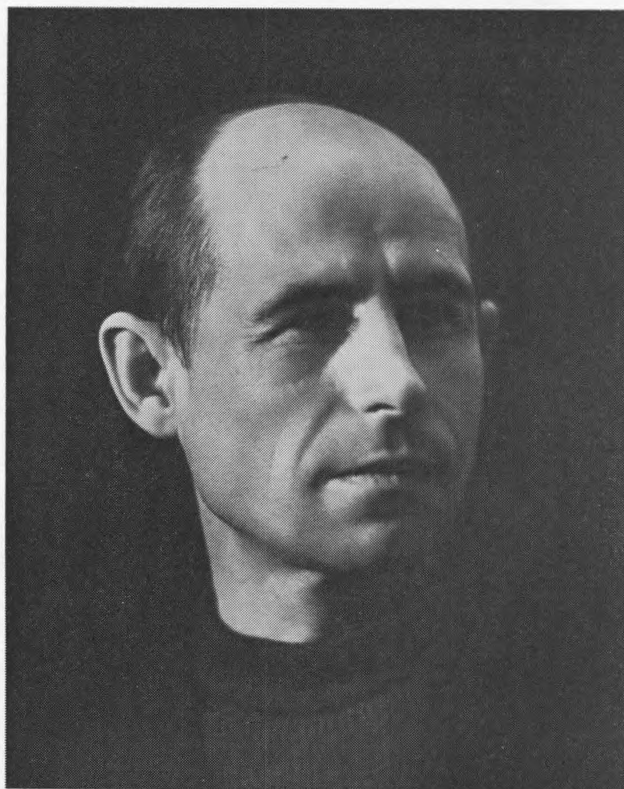


**Егор Исаев. 1970 год.**



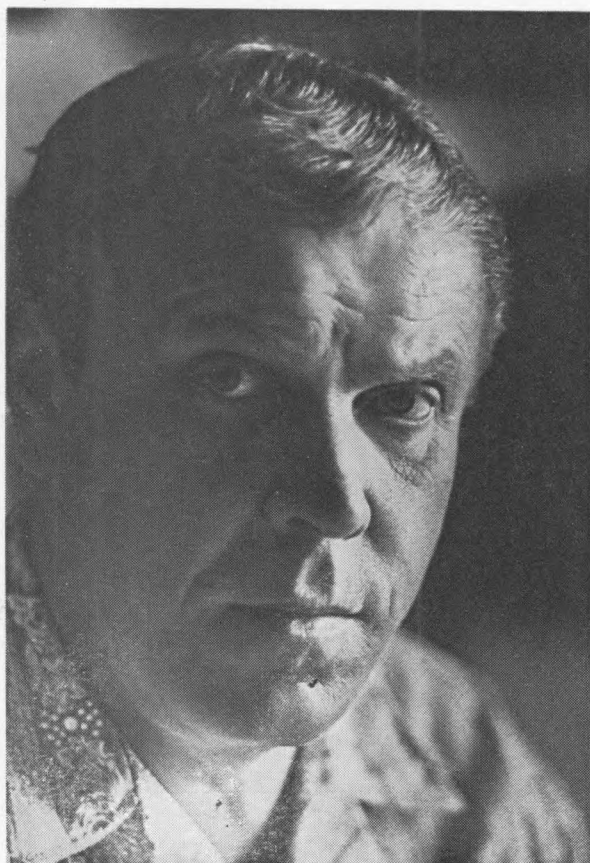
**Роберт Рождественский. 1972 год.**

Николай Рубцов. 1970 год.



Евгений Евтушенко. 1967 год.





**Владимир Солоухин. 1973 год.**



**Андрей Вознесенский. 1966 год.**

2р. 50к.

ГТ